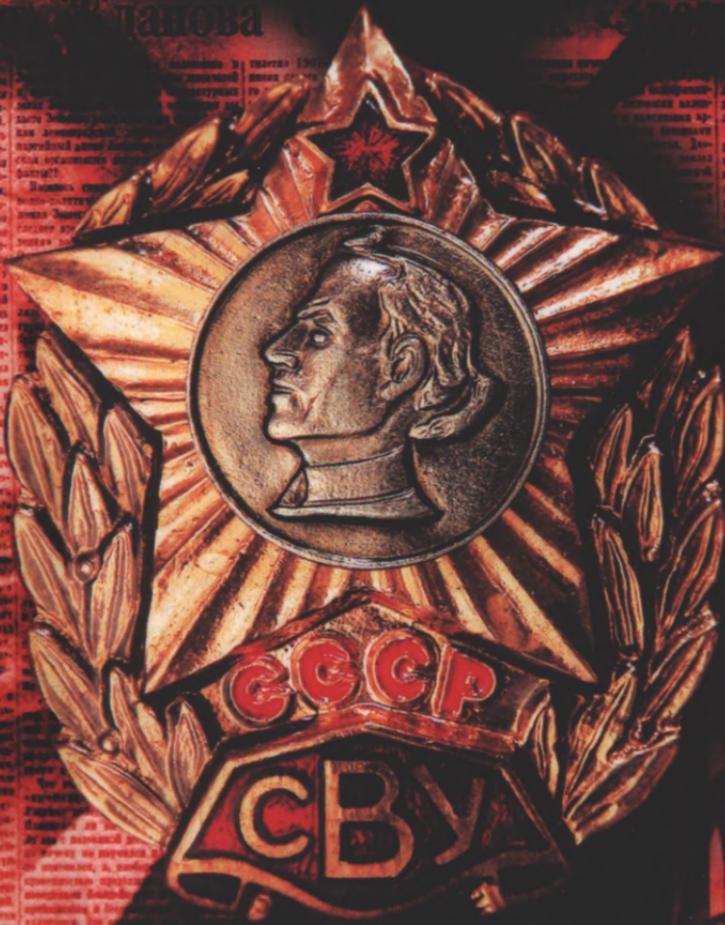


Георгий Владимов ДОЛОГ ПУТЬ ДО ТИППЕРЭРИ

Классическая проза
М. М. Володина



...и в этот момент в воздухе
уже был слышен шум, так
далеко и неожиданно.
И вдруг на 20-м этаже
раздался выстрел: выскочил
человек, выскочил человек из
и валился вперед, и тут же
ушел вниз. Нога Александра
продвинулась вперед, и он
и в то же время выскочил из
поднялся выскочил выскочил
выскочил.

...и в этот момент в воздухе
уже был слышен шум, так
далеко и неожиданно.
И вдруг на 20-м этаже
раздался выстрел: выскочил
человек, выскочил человек из
и валился вперед, и тут же
ушел вниз. Нога Александра
продвинулась вперед, и он
и в то же время выскочил из
поднялся выскочил выскочил
выскочил.



J. Braden

Георгий Владимов
**ДОЛОГ ПУТЬ
ДО ТИППЕРЭРИ**

роман

«Вагриус»
Москва 2005

Художник Андрей Рыбаков

Владимов Г. Н.

В 57 Долог путь до Типперэри : роман / Георгий Владимов; Послесл. Л. Аннинского. — М. : Вагриус, 2005. — 320 с.

ISBN 5-9697-0113-0

В пятую книгу сочинений Георгия Владимова вошел его последний, неоконченный роман «Долог путь до Типперэри», который задумывался как автобиографическая трилогия, охватывающая исторический период с августа 1946 по август 1991 года.

События, происходившие в перестроечной России, подвигли писателя-изгнанника начать работу над этой книгой. Но судьба распорядилась иначе — жизнь Владимова оборвалась, и нам, увы, не суждено узнать мысли, которые долгие годы изгнания мучили писателя.

К счастью, сохранилась переписка последних лет Георгия Владимова и известного литературного критика Льва Аннинского — она включена в этот том наряду с послесловием, которое, впрочем, можно рассматривать как самостоятельное произведение, помогающее читателям лучше узнать и понять Владимова-писателя, Владимова-человека, Владимова — «обреченного рыцаря».

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0113-0

© Владимов Г. Н., 2005
© Аннинский Л. А., послесловие, 2005
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

Долог путь до Типшерэри

Роман

ПРЕСТУПЛЕНИЕ



1

Германское телевидение показывало, как это делается. Соединенным усилием — требующим, надо полагать, изрядной слаженности крановщиков — два могучих изделия фирмы «Крупп», с желтыми стрелами, привздернули истукана в ночное небо и понесли над ликующей, беснующейся толпой. Сквозь тернии — к звездам...

Перед этим коренастый малый, с рыжими спутанными волосами, в синих штанах, а выше пояса голый, взобравшись ему на плечи и держась за бронзовый вихор, сноровисто прилаживал вокруг его шеи стальную петлю. Согласно ли новейшей инструкции или все же из уважения к заслугам прообраза еще один трос был запасован под мышкой — а то бы походило на повешение. Летом 1958 года на другой московской площади, в таком же прожекторном свете и при стечении толпы, ставили Маяковско-го — именно и только за шею. При этом еще укутали ему голову мешком — из лучших, конечно же, побуждений: чтоб не оставить борозды на шее «агитатора, горлана, главаря».

Наш Первочекист, благодаря принятым мерам, не крутился в петле и вообще сохранял некое последнее достоинство. Уходя с этого праздника жизни, он был не сме-

шон и не жалок, он с гордым и строгим лицом принимал все совершаемое над ним, как если бы знал, что еще сюда вернется. И только при особенно размашистом покачивании вышел конфуз: стало видно, что он — безногий. Была кавалерийская шинель до пят, но вместо оных двух торчали равномерно по подолу шинельной юбки четыре фитинга — технологические железяки для приваривания, коими этот Антей и держался за свой пьедестал. А между фитингами зияла черная дыра, точно разинутая клыкастая пасть или лаз в берлогу. Не помешало бы общей картине, если б оттуда выпорхнула парочка нетопырей. Нутро диктатуры оказалось чистым надувательством.

Впрочем, как еще прикажете отливать статуи? Сплошную — не потянули бы и четыре «Круппа», и никакой бронзы — металла стратегического — не хватило бы на всех Ильичей, Кировых-с-нами и Матерей-Родин с мечами. Если угодно вам, чтобы у Сергея Мироновича, к примеру, хорошо получились сапоги, можно его сварить из двух половинок — разумеется, полых, — но чрезвычайно желательна поперечная складка, маскирующая разъем: поясной ремень, скажем. А здесь-то весь фокус был, чтоб шинель имела одну сплошную вертикаль, романтически-жертвенный запах от груди донизу, и ничто не должно было эту вертикаль прерывать. И значит, отливать следовало — штукой. Да еще же вставить песчаный стержень, образующий полость, да потом этот стержень как-то выбить. Откуда и взялась эта дыра между фитингами.

Когда-нибудь откопают пытливые умы, откуда сама эта шинель взялась — кавалерийского покроя у председателя ВЧК, никогда в седле не сидевшего; может оказаться, ее подарил ему тоже не из седла выпрыгнувший Троцкий, притом со своего плеча. Тогда именно так дарилось, по обычаю ненавистного самодержавия, тот же Феликс Эдмундович лежавшего во гробе Ильича наградил орденом Красного Знамени со своей груди. Одно несомненно: шинель эта была главной в дерзновенном замысле

скульптора. Это и не был памятник человеку, но памятник — шинели. При голове, слабо различимой издали, да притом снизу, при подползании из Охотного Ряда, она одна господствовала над всей площадью, а в некотором смысле и над всей Москвой — шинель.

И когда в толпе кто-то крикнул злорадно: «А шинель отдай народу!», — то и смеха особенного шутка не вызвала. Это бы значило все отдать, из чего состоял он, само естество и жизнь. Но разве он — не отдал? А понял ли кто во всей толпе, что он и сейчас, перед тем как улечься вниз лицом на грузовую платформу тягача, на подстилку из мешков с песком, сослужил последнюю службу: своим телом, теперь уже бронзовым, загородил архивы, к которым и должна была ринуться вся толпа — спасать от сожжения, сокрытия. Сколько бы мы там нашли! Дела, дела «вечного хранения». А в них доносы, доносы — наших врагов и наших друзей, а может быть, и свои собственные. А может быть, даже — на самих себя, отнюдь не исключено. Двумя годами раньше преподали нам урок предусмотрительные немцы: сначала — бумаги «Штази», памятники подождут. Впрочем, и с памятником они успели — с Берлинской стеной. Да не про нас эти уроки, наша Августовская революция была, и впрямь, «с лицом Ростроповича»: великий маэстро, взобравшись на цоколь, по-детски захлебываясь, потешал обступившую толпу рассказом о том, как ловко он в Шереметьеве обошел бдительность пограничного контроля, — а может быть, в эти самые минуты, в сотне шагов отсюда, шелестели в подвалах бумагорезательные машинки, сдвигались стальные двери и створки сейфов, защелкивались электронные кодовые замки, стягивалась охрана. Почему никакой провидец не просветит нас — с чего начинать?

Впрочем, это сейчас я такой умный, по прошествии времени и многих разочарований, а тогда — жарко, до пота на лице, завидовал этой толпе и ощущал как одну из самых больших потерь моей жизни, что не оказался в те дни

в Москве, не выходил останавливать танки маршала Язова, просовывая меж гусеницами и катками арматурные прутки, не прожил счастливейшую ночь на баррикадах у Белого дома. Всегдашняя моя удачливость, умение влипнуть во что-нибудь историческое — на этот раз, во дни крушения нашего «Тысячелетнего рейха», меня покинули. Если и было что событийное в наше унылое и постылое время — «Новый мир» с Твардовским, диссидентство, Сахаров, протесты афганской войне, — волею судеб я оказывался если не в эпицентре, так около. И на первый «Конгресс соотечественников», как раз открывавшийся 19-го августа, я мог бы поехать, был зван, но проглядел список приглашенных — и отказался: из гадливого опасения, что окажусь в одном поезде либо в самолете, в одной гостинице с кем-нибудь из «второй волны» эмиграции, особенно из Народно-Трудового союза, а там этой шелупони довольно было натолкано. К тому же пригласили одного, без жены, точно бы она не была соотечественницей и, в отличие от многих прочих, правозащитницей.

Однако ж событие столь замечательное, как Август, достигает и тех, кто далече, пронизывает их своим излучением, бомбит пучками таинственных квантов или флюидов и что-то меняет в них самих или вокруг. Поэтому и я, в своей срединно-европейской Тмутаракани, в заштатном Нидернхаузене, оказался не вовсе обездоленным, но вдруг был мне подан явный знак, без которого, может статься, и не было бы повода к этому повествованию.

В те дни неуклюжего русского пронунциаменто, названного коротко и неточно «путчем», и на всю последующую победно-траурную неделю мы многие превратились в юлиев цезарей, вынужденных делать по три дела сразу. Воткнув глаза в телевизор, а ухом внимая «Свободе», я ждал десятичасовую «Tagesschau», где свержение Железного Феликса покажут и подробнее, и с других ракурсов, а тем временем ухом внимал «Свободе», а в паузах между новостями еще почитывал постороннее, успокои-

тельное — голубенький номер «Невы», для совпадения — тоже августовский, но только года 1989-го, сложными путями ко мне залетевший, из тех, что моя жена имела терпение где-то добывать и хранить годами. Какой бес — или ангел? — сподобил ее положить мне на стол именно в эти часы журнал двухлетней давности, не берусь объяснить и готов отнести к сфере мистической. И может статься, когда б не «путч» и томительная эта пауза, я бы не заглянул в него, много было другого, «планового» чтения. А еще так сошлось, что в эти же часы «Свобода» транслировала беседу с бывшим нашим разведчиком, переметнувшимся на Запад, очередным Олегом. Кадровики славных компетентных органов уже бы должны стервенеть при этом имени, русее и патриотичнее которого не припомнишь, за ним, вроде бы, ни еврей не укроется, ни даже осьмушка еврея, — да вот, поди ж ты, непременно что-нибудь скандальное свяжется с этим именем: Олег Пеньковский, Олег Туманов, Олег Битов, Олег Калугин, Олег Лялин, Олег Царев... Данный Олег среди одноименцев своих отличался для меня тем, что я знал его отца, тоже чекиста, и весьма правоверного, однако не из кровопийц, этого про него не сказать. Сын окончил школу разведки, служил под крышей нашего посольства в Лондоне, там был перевербован Secret Intelligence Service, с ее помощью перебежал, а теперь толково разъяснял, как это Горбачев сподобился довериться шефу госбезопасности Крючкову и отчего Крючков не мог его не предать. Заканчивал Олег на «светлой ноте», высказал надежду, что теперь все переменится к лучшему, и, значит, к нему в Англию должны выпустить жену и дочь, а сверх того заверил слушателей, что в департаменте нашенской «Штази» процентов тридцать — глубоко порядочные люди, которые не меньше своих сограждан были угнетены «застоем» и мечтали о перестройке. Я готов согласиться, что там и побольше порядочных, только трудно бывает их отличить. Среди тех восьми, что пришли ко мне с обыском в февральское утро

1982 года, один затесался явный мутант, он украл мой пояс для джинсов, очень красивый, купленный за сертификаты в «Березке», и еще прихватил перчатки на меху, которые вовсе не мои были, а капитана Жмячкина из группы обыска. Тайный любитель кожгалантереи составлял, таким образом, всего 12,5 процента, остальные 87,5 — глубоко порядочно и порядочно глубоко рылись в моем столе, изымая частную переписку, «самиздат» и «тамиздат», а в женином шкафчике перебирали — ну, может быть, с несколько угнетенными лицами — колготки и лифчики. Из дорогой косметики, свидетельствовала жена, ничего не пропало — на этом участке, наверно, шмонали мечтавшие о перестройке.

В голубеньком номере «Невы», оказавшемся в руках у меня, были главы из книги Вениамина Каверина «Эпилог», его последней книги, в которой он решил распрямиться наконец и высказать все, о чем дотоле вынужденно умалчивалось. Это мучительная, это даже, пожалуй, страшная книга. Пишет старик, которому вот уже скоро умирать — и ему «не хочется прощаться с жизнью, прихватив с собою все, о чем не успел или не сумел рассказать». Пережив многих друзей, он сознает, что не такая уж это удача: ему одному выпало и всех осудить, обличить, укорить, не исключая себя, и за каждого произнести хоть краткое защитительное слово, поведать, какое было время и каково «господствующее ощущение — прочно устоявшийся страх, как бы гордившийся своей стабильностью, сжимавший в своей огромной лапе любую новую мысль, любую, даже робкую попытку что-либо изменить».

О, как неровно дыхание, как тяжело идет рука, ведя со скрипом обычно такое легкое перо! Как трудно оказалось говорить о друзьях, о ком только в молодости думаешь, что волен их поменять на других, а с годами все яснее знаешь, что они тебе свыше назначены в спутники и других современников у тебя не будет. Вот Федин — «истас-

канная компромиссами душа», вот Тихонов — «сложный пример психологической деформации», вот «сложный, запутавшийся, уже глядевший в лицо смерти своими набухшими, несчастными, искусственно-веселыми глазами Фадеев». О Викторе Шкловском — с чувством двойственным: с восхищением его храбростью, флибустьерским уходом от чекистской погони, когда все другие ждали ареста обреченно, превратясь в кроликов и ягнят, но и с горестным укором — как об авторе «трагической книги, в которой он попытался доказать, что нам не нужна свобода искусства», как о раскаявшемся блудном сыне, который, сбежав, умолял позволить ему вернуться и произнес — не за себя одного, но за всех «напуганных необратимо»: «Я поднимаю руки и сдаюсь». Кажется, только двое не согласились на несвободу, не опорочили своей вольнолюбивой юности, но один из двоих, Юрий Тынянов, от мученической жизни попытался избавиться с помощью бельевой веревки, а другой, Михаил Зощенко, «годами отбивался от призрака незаслуженного бесчестья» и был этим «призраком» раздавлен, никогда уже не поднялся...

О себе — особенно подробно и с незажившими обидами: о страхе, под которым прожиты годы и годы, о том, как спасли от ареста и, может быть, от гибели «Два капитана», Сталинская премия за этот удачный роман, и о том, как в блокадном Ленинграде вербовали в стукачи — и не достало духа сказать ловцам душ, что это значило бы для попавшего в сети: «...все кончено, жизнь не сможет продолжаться», — а удалось отвертеться всем напряжением ума. И вот что удивительно: написавший это не увидел разительного сходства между премией и вербовкой. Обе они суть награды, но от которых нельзя отказаться. Если от вербовки все-таки можно, то уж от премии — смертельно опасно, по крайней мере, никто не отважился. Да ведь и после кончины дарителя ни один не выразил желаний возвратить дар, а только чтоб эта премия иначе называлась: не Сталинская, а — Государственная. А швырнуть

тирану и палачу — пускай усопшему — знак его благосклонности? О нет, еще какая обида гложет — вот на этих, на предсмертных страницах, — что полвека назад обошли орденом: «был уязвлен, расстроен, огорчен... казалось, что я несправедливо, жестоко, незаслуженно обижен», пребывал «в душевном упадке», не мог понять, почему выказали «государственную немилость», ведь сделал «больше, чем те, кого наградили!». И даже теперь, на краю могилы, невдомек, что тем именно и не пострадал, что сделал больше, а особенно тем, что лучше...

Я не вчитывался, только просматривал эти главы «по диагонали» из начала в конец и обратно, ожидая, когда еще раз покажут свержение Феликса в «Tagesschau», как вдруг — в главке про Зошенко — был остановлен вот какими строчками:

«Вдруг он рассказал почти весело, с добрым лицом, как вскоре после доклада Жданова к нему пришли три суворовца с одной девочкой шестнадцати-семнадцати лет — пришли, чтобы «отдать дань уважения» (так было сказано), — и он поспешил вежливо выпроводить их из квартиры.

— Хорошие мальчики, — тепло улыбнувшись, сказал он. — Фуражки держали по форме — на локте левой руки. Я за них испугался.

Он недаром испугался за мальчиков. По приказу Главного штаба специальная комиссия приехала в Ленинград для разбора этого дела. Суворовцы были исключены из училища вопреки тому, что один из них, по отзывам преподавателей, обещал стать выдающимся стратегом».

Строчки эти были рукою жены отчеркнуты; она всегда отмечала, читая прежде меня, на что обратить внимание, теперь вот — на этот немудрящий рассказик.

Он содержит все признаки легенды, и сдается мне, они видны даже и не носившему никогда военной формы. «Приказ Главного штаба», «специальная комиссия», задатки «выдающегося стратега»... Что-то слишком роскошно, чтоб быть правдой. И как много вопросов задает

обычный на вид, достаточно приблизительный текст для мало-мальски знающего предмет.

Главный штаб у нас уже почти два века зовется Генеральным — ошибка, характерная для питерцев, которые держат в памяти здание с прославленной фильмами аркой, полукружьем замыкающее Дворцовую площадь и подыгрывающее своей тяжеловесной аскетичностью пышной красоте Зимнего. Выдающиеся стратеги выявляются все же не на учебном ящике с песком — высота «Боб», высота «Огурец», роща «Овальная», речка «Безымянная» — и не в таком же возрасте, даже если возьмем Карла XII Шведского или новгородского князя Александра Ярославича, будущего Невского. «Специальная комиссия» приезжала в Ленинград, но в те годы еще не было суворовского училища в Ленинграде, было в Новом Петергофе — и не общеармейское, а войск МВД, погоны не красные, а голубые, и мальчики эти были — будущие пограничники, стратегов из них не растили. Что же до приказа Главного штаба, с верховной стратегической колокольни, по поводу трех мальчишек — тут даже возражать неловко.

Вот что любопытно: рассказик этот приходит к читателю из вторых рук, от кого же из двоих эти неточности? Наверно, следовало бы учесть, что один из рассказчиков, Зоценко, был в молодости офицером, второй же, Каверин, всю жизнь штатским. В другом месте своего «Эпилога» он так подтверждает боевые способности друга: «...был трижды ранен и неоднократно награжден. В 22 года он был уже штабс-капитан». Но это звание в русской армии было не выше, а ниже капитанского, по-нынешнему — старший лейтенант, в 22 года не такая уж невидаль, даже и без фронтовых заслуг. Между тем, вот эта подробность — фуражки на согнутой левой руке — едва ли от Каверина. С ними отчасти напутано: мальчишки так могли их держать в помещении при выносе знамени или при исполнении гимна, на церемонии похорон, в кабинете у начальства, но никогда — перед штатским, как бы его ни

уважали. И, однако же, эта неточность — скорее от Зошенко: должно быть, такими он их увидел, тех мальчиков, себя самого представив не в куртке, или в халате, или в пиджаке, а так стояли бы юнкера или кадеты перед брэнчащим наградами боевым офицером.

Надо учесть и другие возможности накладок, искажений памяти. Зошенко это рассказывает летом 1952 года, спустя шесть лет после события, переломившего ему хребет; надо думать, не чересчур много было к нему депутатий с «данью уважения», ни о какой другой он не рассказал Каверину — стало быть, особенно дорожил этой и едва ли был небрежен в подробностях. Каверин передает рассказанное еще через 36 лет, но, наверное, все же не по памяти, а тогда же и записал, великого профессионала Каверина в неаккуратности не упрекнешь. Но, могло случиться, что-то исказилось в его памяти за те часы, что они прогуливались по Невскому до Садовой, а потом он провожал Зошенко до дому, возвращался в гостиницу, поздним вечером (или наутро) доставал записную книжку.

Ведь после рассказика о суворовцах и девочке был еще один рассказик, также потребовавший записи, и даже еще настоящей. Услышав предложение прогуляться по городу, Зошенко удивился: «А ты не боишься?» — то есть не боится ли старый друг с ним появляться на людях! О времена, о нравы! И, конечно, не мог не вспомнить, как, завидя его, перебежал на другую сторону улицы Михаил Слонимский, некогда самый близкий ему из «Серапионовых братьев»:

«И с вдруг вспыхнувшим раздражением он рассказал, как Вера Федоровна Панова на днях пригласила его к себе, он встретился на лестнице со Слонимским, и тот, смутившись, поздоровался с ним, а потом, в передней, постарался объяснить Вере Федоровне и ее гостям, что они не пришли вместе, а встретились на лестнице случайно».

Хвала летописцу, запечатлевшему для нас вместе и низкий, и благородный облик эпохи. Даже не столько за

Слонимского мы должны быть ему благодарны, сколько за Веру Панову, ту самую, трижды венчанную Сталинскими премиями, которая в октябре 1958-го приезжала в Москву клеймить и изгонять из Союза писателей обожаемого ею Пастернака, — пусть же зачтется ей, что в годы куда более страшные она открыто приглашала в свой дом всеми покинутого Зошенко. Но, разумеется, в памяти Каверина, тоже старого «серапиона», за рассказиком о предательстве бывшего собрата могли и поблекнуть те мальчики со своей девочкой, если не наполовину стерлись.

В апреле 1983 года, перед моим отъездом в Чужеземие, старейший наш поэт Семен Липкин повез меня на такси в Переделкино — попрощаться с Кавериным, заодно вышло — и познакомиться. Такой установился тогда обряд у «отъезжантов» и у тех, кто имел смелость их принимать у себя. Истекал срок, отпущенный мне следователем КГБ подполковником Губинским для выбора — Запад или Восток; Александр Георгиевич по-дружески меня предупредил (так и сказал: «по-дружески»), что, если не выкачусь до июня, мне предстоит переселение в Лефортово. А дел предотъездных было невпроворот, поэтому я смог пробыть на даче Кавериных часа полтора, не больше, и за все время как-то не случилось повода вспомнить о Зошенко, да и речи не шло об этих мемуарах Вениамина Александровича. Иначе бы я кое о чем спросил его. Например — о девочке. Михаил Михайлович испугался за мальчиков, а девочка что же, ее из школы не исключили? Или она это легче перенесла? Как-то не похоже на Зошенко, любимца женщин и джентльмена, чтобы ее участь совсем была ему безразлична. Впрочем, тут все заслонил громоздкий «Главный штаб» со зловещей «специальной комиссией». Ну, тогда бы я спросил, откуда взялся третий суворовец и зачем он понадобился легенде? Мне тоже эту легенду рассказывали, но, помнится, суворовцев там было двое, и писательский глаз непременно бы это удержал. Ведь это бы соответствовало старинному литературному

сюжету, вечному треугольнику, в котором бы два мальчика были заметно влюблены в свою девочку, и всякий писатель, да просто мужчина, не мог не задаться вопросом, чья же она из них двоих. Для чего было Зошенко этот сюжет переиначивать? Чтобы добавить еще одну человеко-единицу? Или она сама прибавилась у Каверина за те часы, что протекли между рассказом и записью его?

«До сюжетов ли было М.М., — мог бы спросить В.А., — и время ли считать гостей? Он за них испугался, поспешил выпроводить, мог и ошибиться в числе. Бывает, в таких обстоятельствах кажется, что людей больше». Но я, в свой черед, спросил бы В.А., верит ли он, что кого-то мог выпроводить на лестницу, пусть вежливо, «бедный Мишенька, никогда никого не обидевший»? Тем более — мальчиков и девочку, постучавшихся в его дверь, чтоб «отдать дань уважения», когда все газеты выражали всенародное презрение «пошляку» и «подонку литературы»?

И еще вопрос. Я тоже слышал об исключении тех мальчиков из училища, равно и о задатках «выдающегося стратега» у 17-летнего отрока, обо всем этом ходили тогда слухи по Ленинграду, по многим писательским квартирам, а сведения точные откуда же М.М. мог получить? Но сам-то он — неужто считал судьбу тех суворовцев так безнадежно поломанной, что повредить им еще больше ничто уже б не могло, — скажем, его упоминание, что они его посетили после доклада Жданова? Ведь разгласи тогда В.А. такую подробность — в последний год жизни Сталина, в год его кровавого безумия, — и тех мальчиков из-под земли бы достали. А могли же они эту подробность утаить, могли же отговориться, что были до, — и избежать исключения, и служить офицерами на каких-нибудь Богом забытых заставах либо командовать пограничными катерами?

Да ни о чем никого уже было не спросить. Еще прежде, чем в «Tagesschau» опять показали крушение нашего «Тысячелетнего рейха», снятое подробнее и с других то-

чек, я прочел в той же «Неве» примечание редакции: «В ночь на 2 мая 1989 г. Вениамин Александрович Каверин умер. «Эпилог» стал его литературным завещанием». По нынешним временам последняя фраза почти смешна: десятки голосов твердят упоенно, что русская литература миновала; кому же адресовано это завещание, кто станет его выполнять? Но, может быть, по крайней мере в эту историю, не лишенную занятости, мог бы я внести поправки, если знаю о ней что-то иное. Ведь это мои коллеги, все поголовно, вышли из гоголевской «Шинели», а я — из шинели Дзержинского. И мог бы из нее выпорхнуть нетопырем. В том, что не случилось этого, вина не только моя.

2

Пассажиры в электричках, спешащие к петергофским фонтанам, уже заранее вертят головами направо, в сторону привокзальной площади с автобусными стоянками. Если б они вертели налево, они бы увидели наше училище. Как раз при начале торможения, шагов за 500—600 до платформы, вдруг вырастает среди поля приземистый городок, распланированный немудряще и строго, мелькают пересечения улиц и переулков, мрачные строения тюремного темно-вишневого кирпича: в два этажа — офицерские коммуналки, именовавшиеся тогда «коттеджами», в три этажа — казармы, и только учебный корпус, он же главный, четырехэтажен и выкрашен в колер светло-салатный. Из электрички он виден краешком, его заслоняет клуб, поднятый из руин уже после моего выпуска, но я отчетливо вижу посыпанный желтым песком плац перед широким парадным крыльцом, небольшой, для построения одной роты; там мы, прощаясь с училищем, подходили друг за дружкой к наклоненному знамени и, опустившись на одно колено, целовали обшитый золотой тесьмой угол кумача; вижу в середине плаца огромный валун крас-

ного гранита и на нем бетонный четырехгранный обелиск — надпись на чугунной плите сообщает, кем и кому этот памятник поставлен: «Каспийцы — товарищам, павшим в войну 1904—1905 годов», — стало быть, в японскую, с Цусимой и «Варягом», — но кто были эти «каспийцы», мы никогда не узнали, никто нам не смог рассказать. На верхушке обелиска сохранились черные когти — не иначе, от двуглавого орла, сшибленного красногвардейским прикладом в 1917-м. А весь этот городок, с его улицами, переулками, казармами, «коттеджами», складами и гаражами, спланировал и построил, гласит предание, не кто иной, как маршал Маннергейм — в бытность свою генерал-лейтенантом на русской службе, — тот самый Карл Густав Эмиль Маннергейм, главнокомандующий финской армией, который еще построил на Карельском перешейке оборонительную «линию Маннергейма», взятую дважды нашими войсками в обмен на немыслимое количество жизней, и в двух войнах сражался против нас так упорно и толково, что своим народом выбран был в президенты, а от нас, посрамленных, удостоился военного ордена. Последнее, между прочим, говорит за то, что всякое сопротивление в принципе бесполезно и что Вождь народов не так уныло-догматично относился к завету великого пролетарского гуманиста уничтожать врага, который не сдается. Бывает, его за это приходится награждать.

В мое время городок был весь огорожен колючей проволокой, со стороны поездов замаскированной густым кустарником; со стороны же, обращенной к Ленинграду, неподалеку от угла, стояли проволочные ворота, то есть дощатые рамы, скрепленные диагональными укосинами и оплетенные колючкой. У нас они звались — «Комсомольские ворота», и через них мы уходили в «самоволку». Никогда я не видел эти ворота открытыми и чтобы в них что-нибудь въезжало, но не зарастала к ним суворовская тропа, и не зарастала дыра в проволочных сплетениях, как

ее ни заделывали дядьки-сержанты из комендантского взвода по указаниям усатого капитана Григорьева.

Еле проглядывались из электричек главный плац — для общеучилищных построений и строевой подготовки — и огромный, бугристый, с вытоптанной травой пустырь, на котором разместились качели, «гигантские шаги» и стоял немецкий танк Т-IV, на миг промелькивавший между кустов своим серо-зеленым корпусом и длинной, отвернутой в сторону пушкой. Лишенный хода, он еще войдет в это повествование, а пока вспоминаю, как верно он служил нашим неисправимым курильщикам. Они могли втроем-вчетвером укрыться в его корпусе и в башне, а дым выдыхать через пушку — из дульного среза он вытекал едва заметно. Капитан Григорьев, который все замечал, не мог, однако ж, подкрасться к «курцам» и застичь врасплох, на то был круговой обзор из верхней смотровой башенки-турели. Так продолжалось года полтора, а кончилось плохо. Кадет из младшей роты развел на броне костерок из бумаги и щепок, в него положил запал от немецкой ручной гранаты и, покуривая, ждал, что из этого выйдет. Взрыва что-то долго не было, а кадетик был нетерпелив, решил проверить — не погас ли там костерок, может, еще подложить щепочек. Запал только того и ждал, когда его рука высунется из люка. Без трех пальцев испытателя отчислили из училища, а танк откатали тягачами в конюшенный склад, и там он стоял в темной глубине, заваленный прессованными тюками сена. Очередного пойманного «курца» капитан Григорьев водил туда на экскурсию и напоминал, «что бывает, когда нарушают». Так же без дополнения обходился у него и глагол противоположный — «сполнять». Хороший суворовец — который «сполняет», плохой — «нарушает». Один из первых моих учителей изящной словесности, он делом доказывал, что наша речь вполне бы могла обходиться без многих излишеств, не переставая быть понятной, — разве непонятно одесское «Керосина нет и неизвестно»?

Этот капитан, ретивейший служака из украинцев, невзирая на русскую фамилию, был грозой нашей и вечным неприятелем; нашивки за два фронтовых ранения и контузию не помешали ему сделаться адресатом кровожадной частушки:

*Смерть немецким оккупантам
И усатым комендантам!*

Дерзкий этот призыв непокоренных украшал стены карцеров снаружи и галюонов — изнутри. В карцерах капитан Григорьев содержал нас в режиме строжайшем, а галюоны заставлял драить до зеркального блеска, ставя порою задачу невыполнимую и даже малопонятную: «Чтоб вы в очко себя увидали!». И всерьез обсуждались замыслы: не ограничась частушкой, подорвать усатого коменданта каким-нибудь боеприпасом — опять же немецким, каких довольно тогда поваливалось в окрестных лесах, к примеру — трассирующим снарядиком от малой зенитки. Однажды какая-то фиговина выкатилась ему под ноги, крутясь и шипя, в облачке молочно-зеленого дыма, но остановилась и смолкла, что-то в ней не сработало. Все же капитану Григорьеву пришлось показать нам, как быстро залегают фронтовики.

Но вот, например, как было, когда моя бабка, 82 лет, парализованная из-за поломки шейки бедра и впавшая в маразм, отошла наконец в мир иной: покойник в доме, притом же в июльскую жару, — это всегдашняя ожидаемая неожиданность и растерянность пред бездною навалившихся обязанностей. «Чего вы беспокоитесь? — сказали соседи. — Обратитесь к капитану Григорьеву». Так я впервые заявился в его тесную комнатку, где он помещался с женой и недоразвитой дочкой, и впервые увидел его одетым не по форме. Капитан Григорьев сидел за столом в галифе со спущенными подтяжками и в голубой майке, обтягивавшей брюшко, и наслаждался чаепитием, держа

блюдец в растопыренных пальцах. Я уже был штафирка, студент, и он с неудовольствием и сожалением оглядел мои брюки и курточку. «Когда хотите хоронить?» — только и спросил он. И, звучно прихлебнув, заверил: «Идите спокойно». Через двадцать минут явился седой ефрейтор-плотник снять мерку для гроба, а в должный час подкатил автобус везти нас на кладбище в Старый Петергоф, где два солдата, воткнув саперные лопаты в насыпь, покуривали у вырытой могилы. Вот как, бывало, «сполнял» усатый комендант, которому мы желали смерти.

...Ах, все и так сбылось. И нет теперь ни «Комсомольских ворот», ни всей колючей ограды, ни карцеров — где бы я, пожалуй, теперь не отказался и посидеть с полсутки, — как ничего военного не осталось во всем городке после расформирования училища. Какое-то время здесь помещался детский приют с фабрично-заводским обучением, попозже — сельскохозяйственный техникум, сейчас — не знаю что. Я посетил городок за две недели до эмиграции, бродил по всей территории, пытался, никого не спрашивая, определить, какое учреждение и вообще человеческое устройство здесь обосновалось, но так этого и не понял. Лишь на одном угловом строении обнаружил синюю табличку с белой надписью: «Переулок Суворовцев». Именно так, с прописной. Единственное, что осталось от нас. А была целая страна, ограниченная квадратом наподобие римского лагеря и канувшая в небытие, как Атлантида на дно океана, — с той разницей, что дома-то остались, только душа исчезла, — невозвратимая страна Кадетия...

В этой стране закончились мои странствия военных лет, начавшиеся на Южном вокзале родного Харькова за месяц до оккупации и пролегли через тысячи верст, с недолгими остановками — в киргизском селе Чалдовар, в Саратове и напоследок в Кутаиси, где поздней осенью 1943 года 12-летний мальчик надел черную униформу с голубыми погонами и повторил в общем строю за начальником училища полковником Гурьевым воинскую

присягу, фрагментами и доселе памятную: «...и торжественно клянусь: быть храбрым, стойким, дисциплинированным бойцом... не щадя крови и самой жизни... Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». За годы войны он потерял отца, сгинувшего в немецком концлагере близ города Шнайдемюль, вытянулся в росте и, помимо всей школьной премудрости, обучился многим полезным вещам, которые, правда, еще ни разу ему негодились: окапываться лежа, стрелять из боевой винтовки и пистолета «ТТ» и протыкать соломенного «фрица» штыковыми уколами — длинным, средним и коротким. За оставшиеся до выпуска два года ему предстояло еще научиться седлать коня, скакать на нем рысью и «аллюром три креста» и рубить лозу по верхушкам, не отсекая при этом лошадиное ухо. Впрочем, эти подробности мало что прибавляют повествованию и, может быть, даже мешают должным образом оценить главное достижение мальчика: из своих странствий он возвратился с девочкой.

Это буквально так: мы приехали вместе в одном вагоне воинского эшелона и потом в одном кузове «студебеккера», когда передислоцировались офицерские семьи из солнечной Грузии в сыростный Новый Петергоф, только что, после победы над немцами, ставший Петродворцом. По соображениям высших сил, для меня и сейчас неясным, наше училище из-под опеки Берии переходило под жесткую руку Абакумова, в связи с чем утрачивало название «Кутаисское» и становилось «Ленинградским». Передислокация происходила в июле, когда мои однокашники разъехались на каникулы, из кадет в эшелоне оказался я один, поскольку был сыном преподавательницы русского языка и литературы, мамы-офицера с капитанскими погонами. Девочка там оказалась по сходной причине.

Но, может быть, лучше начать со слухов, распространившихся еще там, в Кутаиси, прокатившихся по учили-

щу с неубывающим грохотом от старших рот к младшим и всколыхнувших наш, не сказать унылый, но приевшийся замкнутый мир: слухов о том, что появилась «дочка англичанки». Так суждено ей было врезаться в мое воображение, под этим прозвищем, что уже заочно ей подарило и признание несомненной красоты, и заведомую симпатию. Как было бы, окажись она «дочкою немки», то есть преподавательницы немецкого, даже и думать не хочется, чтоб не спугнуть тогдашнее неизъяснимое очарование этих слов: «дочка англичанки». От самого имени наших союзников исходило теплое сияние, даже большее, нежели от американцев. У тех союзничество выражалось сугубо материально: в наших «виллисах», «фордах» и «студебеккерах», в мясной тушенке, в диагональном сукне наших гимнастеров; от англичан же исходило обаяние, пусть бестелесное, но волнующее, ему сопутствовали песенки «Ла-Манш в ночном тумане спит, горят огни в порту», или «Когда раскрылись тучи и света луч проник, мы видим наш могучий разбитый бурей бриг», или старинная, времен Первой мировой войны, «It's a long way to Tirreaga», и, когда под эти мотивы они в кинохрониках так сноровисто карабкались на утесы Нормандии — с засученными рукавами, в своих легкомысленных неглубоких касках, — сердце томилось от зависти, от гордости и тревоги за прекрасных, ловких и храбрых «томми». И облако симпатии, окутывавшее их, переносилось и окутывало, почти уже любовно, и «дочку англичанки», и саму «англичанку», — как выяснилось позднее, отроду не видавших ни Ла-Манша, ни Типперэри, ни пяди таинственных суровых берегов Британии.

Еще было у *дочки* и другое прозвище, сильнее интригующее юные души, готовящие себя к увлекательной охоте на людей: «дочка шпионки». Возникло и прокатилось от всегда-все-раньше-всех-знающих, что ее мать («тоже красуля, хотя старушка, тридцать семь уже») была очень крупной нашей агенткой, потому-то и английский

знает, как бог. Вскоре, как водится, она и кличку получила — Спру. Но было и некоторое замешательство: где же она шпионила, у немцев? Так немецкого же она не знает. Нет, у англичан, но еще до войны, когда они не были нашими союзниками. В 15 лет легко верится, что против союзников не шпионят, и новые сведения еще прибавили дочке роковой прелести. Может быть, думалось, и она выполняла какое-нибудь задание в этой Британии, вместе с матерью. Нет, донеслось из самой старшей, выпускной роты, от кадет, удостоившихся общения, английского она не знает — ни слова. Но и мы, помладше, были не лыком шиты: чтобы дочка «англичанки» — и не знала! Зачем-то скрывает...

Все нанизывалось, все способствовало, чтоб именно о ней, еще мало кем виденной, пели наезжавшие к нам эстрадники:

*Пятой роте сегодня ты ночью приснилась,
А четвертая рота заснуть не могла...*

И однажды мы все ее увидели. Она вошла в наш маленький кинозал перед самым сеансом — то ли «Воздушного извозчика», то ли «Небесного тихохода», а может быть, даже скорее, то была «Сестра его дворецкого» с Динной Дурбин, — кем-то заслоняемая, стремительно, почти за мгновение перед тем как погас свет, и опустилась где-то в середине на охраняемое для нее место. Из дальнего моего ряда я не успел ее рассмотреть, только меж чьими-то головами промелькнули темные волосы и что-то на них красное — бант или надетый набекрень беретик. Этого «Небесного извозчика» или Дину Дурбин я уже смотрел без особенного интереса, с волнением дожидаясь конца, но, когда зажегся свет, ничего было не рассмотреть, так плотно ее обступили.

Но вот, по прошествии недели, в последних днях мая, когда уже начались экзамены, я ее увидел вблизи — и сра-

зу узнал, понял, что это она и есть, о которой столько говорилось. Под высокими окнами бывшего кутаисского губернского суда, где размещалось теперь наше училище, по неровным расползшимся плитам тротуара из светлого бежевого камня она шла прямо мне навстречу, глядя слегка насмешливо и надменно, сопровождаемая пятью-шестью старшими кадетами, завтрашними выпускниками.

За все десять лет, что мы что-то значили друг для друга, она лишь трижды, на границе детства и юности, покрыла голову чем-то красным, и это было во второй раз, и я опять не разглядел, это бант или беретик, и то, что так ярко-ало полыхнуло мне в глаза от ее темно-русых волос, я готов отнести к области ослепления, посчитать за солнечный удар, — что было бы и неудивительно в жаркий полдень грузинского позднего мая. Но в таком случае — как бы я смог с такой пронзительной, режущей четкостью воспринять и запомнить каждую из тех секунд, откуда мы сближались?

Я и сегодня так же отчетливо вижу ее идущей по бежевым ноздреватым, неровно улегшимся плитам, далеко не доставая своим красным бантом или беретиком до подоконников огромных зеркальных окон кутаисского губернского суда, нависшего над Риони, — наверное, лучшего здания во всем городе, которое шеф наш и покровитель Лаврентий Павлович Берия самолично отвел для «своих волчат», — и что-то уныло сжимается во мне, я вновь ощущаю тот, может быть, первый в жизни укол в сердце — от сознания ее недосыгаемости, от того, что не ко мне она идет, а лишь случайно направляется в мою сторону, едва ли вбирая в свой насмешливо-надменный взор то, что вдруг возникло у нее на пути. Ее глазами я вижу нескладного узкоплечего подростка, малость лопухого, что еще усугублялось стрижкой «под ноль», да притом в затрапезной хлопчатобумажной гимнастерке цвета хаки и таких же брюках, пузырящихся на коленях и не достигающих верха ботинок. Черт сподобил меня впервые пред-

стать перед нею в рабочей робе, предназначенной для полевых учений, всяких там переползаний и окапываний, а еще для отбывания нарядов на кухне и по чистке нужников. В город нас в таком виде не выпускали, и в день воскресный так мог быть одет наказанный, лишенный увольнения, чего на самом деле не было, просто в этом изжелта-зеленом «хэбэ» удобнее было валяться на травке, готовясь к экзаменам. Но кто же бы это ей объяснил, если б она спросила? А впрочем, она так занята была собою, так вся поглощена своим 15-летним могуществом, что едва ли и спутникам своим уделяла должное внимание, из которых каждый был на голову меня выше, отрастил уже порядочную прическу, разрешенную в предвыпускной год, и всем видом являл шедевр кадетского шика.

У меня не будет лучшего случая объяснить, каким же таким особенным шиком мог отличаться кто-то из нас, когда мы были в одинаковой униформе и не могли от нее отступить, хотя бы две пуговицы на вороте расстегнуть, чтоб не нарваться на замечание. О, возможности тут были безграничные! Начать с фуражки, в которой можно удовольствоваться плоским эбонитовым обручем, распиравшим тулью, а можно заправить туда стальную проволоку, отчего края тульи приобретали остроту режущего предмета. Белый подворотничок подшивали — кто сатиновый, а кто из жесткой гуттаперчи, который не нужно было стирать, однако пижоны истинные предпочитали из блестящего жемчужного парашютного шелка и выпускали едва не на полдюйма, наподобие флотского офицерского шарфика — эти себя готовили в моряки. А разве же с погонями ничего не придумать? Вставить, к примеру, целлулоидные пластинки, чтоб они не топорщились и при пожатии плечами изгибались дужками; литеры «Кт», означавшие попросту «Кутаиси», наносились краской — поначалу золотистой, но со временем приобретали цвет баклажанной икры или еще того неприличней, — а могли быть вырезаны из латунной жести и надраены до солнечного сия-

ния — начальству это нравилось. На специальной фанерке с прорезью надраивались пуговицы — у кого зубным порошком, а у кого дефицитной пастой ГОИ, то же проделывалось и с бляхой ремня, носимого расслабленным, так что он покидал свое обычное место на поясе и приопускался к чреслам. Низ гимнастерки, обрезанной так, что она еле выглядывала из-под ремня, следовало понимать в ансамбле — с плотно обтянутой ляжкой и с клешем, начинающимся от колена и столь развитым книзу, что уже и не видно было, как выглядит ботинок и вообще надет ли он: расклешенная брючина покрывала его с двойным запасом и, ниспадая еще ниже, подметала пол или тротуар. Некоторые даже предпочитали спортивные тапочки — при шаге бесшумном особенно слышен был благородный шелест. Снизу от истирания подшивалась черная кожа от старых ботинок, а для тяжести — шарики из подшипника.

Эти клешни, вожденная мечта многих, но доступные лишь натурам героического склада, считались все же нарушением формы и преследовались нещадно. Уже отмечено в истории, что борьба консервативного и новаторского начал, называемая часто конфликтом отцов и детей, никак не обходит длину юбок и ширину брюк. И, как в годы 50-е сражалась молодость, не желавшая втискивать себя в предустановленный ранжир, за брюки узкие, за «дудочки», так в «ревушие 40-е» в стране Кадетии бились лучшие ее сыны за максимальную ширину. Откуда бралась эта ширина, легко сообразит читатель, не забывший про обрезанную гимнастерку. Клинья, изготовленные из ее сукна и вшитые в брюки, если не удавалось их как-нибудь скрыть на утренних поверках, злодейски надрезались ножницами, после чего оставалось только выпороть их и возвратиться с горечью к ширине изначальной. Но билась, не смиряясь, творческая мысль — и породила клинья фанерные, то есть, говоря языком строгой геометрии, трапеции, но сохраняю для ясности их обиходное назва-

ние «клинья». Увлажненные штанины что было сил натягивались на них, укладывались под матрац и придавливались телом владельца. Иные страсготерпцы, чтоб избежать отпечатка кроватной сетки, укладывали их поверх матраца, под простыню, — оценим же почти рахметовское мужество спать на жестком и влажном. Эти клинья, из невесть где добытой фанеры, считались ценностью и переходили по наследству: от выпускников — кадетам следующей роты. Велась и на них охота, на клинья: когда, после завтрака, мы уходили в класс, дневальные сержанты перетряхивали койки и тумбочки. Это приходилось делать по всей казарме, где спало обычно два взвода, гавриков шестьдесят, а владельцы клиньев, немногие и хорошо известные, у себя их не держали, а отдавали кому-нибудь на хранение. Поскольку и хранители становились известными, клинья постоянно мигрировали, совершая по всей казарме долгий и причудливый круговорот. Велика и горестна была потеря, когда особенно пронырливому сержанту удавалось их найти, и он, торжествуя, с треском их разламывал сапогом, но понемногу эта борьба, с бесконечными усовершенствованиями и учением на ошибках, стала клониться к победе клёшников, начальство к ним относилось все благосклоннее, с некоторой даже симпатией, какую все же снискивает боец, выдержавший испытание и показавший характер.

И теперь эти бойцы, прежде вызывавшие у меня сочувствие, шли гурьбой мне навстречу — и мое к ним отношение менялось с каждым их шагом. Они у меня, 15-летнего, украли эту прогулку с моей сверстницей, то, что не им предназначалось, жеребчикам лет по 19-ти, если не старше. А у них ведь было свое, чего мне по возрасту не досталось. Ровно год прошел, как закончилась война, и это их сверстники падали на Зееловских высотах под Берлином и на ступенях рейхстага — от этой участи избавили их, наших первых выпускников, еще в 1943-м предусмотрительные родители, отдавая в суворовцы явных пе-

перостков, не по разу второгодников. Я их не осуждал никогда, скорее жалел — сколько же они упустили в жизни, могли бы хоть год повоевать! Я решительно знал, что со мною на войне ничего случиться не могло бы, ни смерти, ни тяжелого ранения, и поэтому ничто не мешало моей к ним жгучей зависти. Теперь она перерождалась в такую же жгучую неприязнь, почти ненависть — оттого, что эти рослые лбы, эти элегантные дезертиры посягнули на чужую территорию — мою. И с этими чувствами, а еще с сознанием своего бессилия, ничтожества я покорно сошел с тротуара на пыльный, проросший блеклой травкой булыжник двора.

Они прошли, едва ли заметив меня, рассыпаясь наперебой в казарменных дурацких остротах, которые, кажется, не очень ее сместили. Опустив глаза, чтоб не наткнуться на обжигающее лицо, я видел, как прошли ее ноги — колеблемая коленями тяжелая темно-малиновая юбка, загорелые голени с тонкими лодыжками, почему-то низкие туфли — чтоб выглядеть ниже? Или ее мать за нее решила, что не пришла пора для высокого каблука? Шаг у нее был широкий и твердый, нисколько не девичий. В этот миг я еще не знаю, что когда-нибудь ей скажу и об этом самом миге, и об ее походке, и она спросит: «Как у солдата?» — рассчитывая на мое снисходительное: «Ну, что ты... Совсем не так», а я вот именно и отвечу ей, что да, как у солдата, но это мне как раз и понравилось. Как же унижительно мало дано знать нам не только о том, что будет в следующем году, но хотя бы в следующие две недели! Хоть мне на краткий миг и почудилось, что мимо меня, может быть, прошло сейчас мое будущее, но нисколько я не предвидел, что все преимущество на моей стороне, а не жеребчиков. Им предстояло две недели спустя разъехаться на последние кадетские каникулы, а осенью поступать курсантами в училища офицерские, мне же — прожить после общего разъезда еще месяц с небольшим, до июля, в опустевшей казарме, совсем вольно, отягчая

свой распорядок дня аккуратными — впрочем, тоже добровольными — явлениями на завтраки, обеды и ужины, но главное — в одном с нею городе!

Спросить у кого-нибудь ее адрес — совершенно исключено, пересохнет гортань, прежде чем пролепечут губы что-то членораздельное. Но я был теперь свободен с утра до ночи, и не так уж был велик город, в котором жили «англичанка» с дочкой, снимая комнату где-нибудь в двухэтажном деревянном грузинском доме, с крутой лестницей и террасою по всему второму этажу, как снимали все наши офицерские семьи. Так же снимала и моя мать с 76-летней бабкой, покуда училище, принимая с каждым годом новые поколения, не разрослось до того, что уже едва помещалось в здании губернского суда, и две младшие роты, где моя мать преподавала, пришлось разместить в Махинджаури, в бывшем санатории НКВД. Все же мне не хотелось, чтоб встреча моя с «дочкой» произошла близ ее жилья, где бы я застал ее врасплох — почему-то представлялось мне, за развешиванием белья, — и я бы увидел, как бедна моя принцесса и тесны ее палаты, а она бы догадалась, что я здесь не случайно оказался, но ради нее. Лучше было бы встретиться в городе и при этом — случайно.

Через проходную меня пропускали впервые без увольнительной, дежурный только оглядывал — по форме ли я одет, и я мог теперь сколь угодно душе бродить по тем местам, где раньше бывал так коротко — проходя ли в общем строю, с оркестром, или в часы увольнения, всегда спеша. Я теперь фланировал по всей улице Маяковского, начинаясь от ворот училища и кончавшейся у вокзала, а то сворачивал на улицу Сталина или на улицу Берии, между которыми разместился маленький Центральный парк, почти квадратный, бывший для нас обычно местом сбора: здесь нас распускали на часок — размяться, сбегать в ближние магазинчики, и здесь же в минувшем году был у нас 9-го мая крохотный парадик Победы, а после него —

«гулянье». Прогуливался я и в другом парке — возле Белого моста, с его знаменитой 700-летней чинарой; на ее ветвях, по преданию, царь Баграта вешал своих нерадивых министров. С большой надеждой я заглядывал в магазинчики Гостиного двора, с его полукруглыми белыми арками, в те особенно, где продавалось что-нибудь *для женщин*. Даже в духаны заглядывал, куда нас, бывало, зазывали всегда полусонные толстые духанщики — возгласом: «Суворов!». Кроме того, что они нам потихоньку, в задней комнате, продавали в розлив вино и чачу, они еще торговали мандаринами, гранатами, хурмой, мушмулой, чурчхелой, — отчего бы и дочке здесь не оказаться с кошелкой? — ну, может быть, сшитой из кусочков кожи разного цвета? Так, еще не видя ни разу, я эту кошелку себе представлял.

По вечерам, с гудящими ногами, я приходил в кинозал и вместе с сержантами и солдатами обслуги смотрел в ...надцатый раз те же фильмы. А впрочем, не те же, что-то в них заметно переменилось, сместилось, смотрелось уже по-другому. Вдруг как-то поблекли те, прежде захватывающие кадры — с пальбою, погонями, снарядами и гранатными разрывами, с завывающими самолетными пикированиями, и, напротив, самыми важными и волнующими сделались те, прежде скучные, где «лизались» и «обжимались», где говорились слова однообразные и пустейшие, обычно пропускаемые мимо ушей — и в которые теперь ненасытно хотелось вслушаться.

Едва дожив до утра, я уходил на берег Риони, переправлялся на другой берег по деревянным висячим мосткам и карабкался на гору, почти отвесную, к развалинам крепости Баграта — все того же, не нумерованного, бесконечного Баграта — или на другую гору, к махонькой древней церквушке, приютившейся с небольшим погостом на пятачке утеса. То были местные *достопримечательности*, и к ним с другой стороны проложена была дорога, даже ходил два раза в день дряхлый пыльный автобус, и можно

было тут встретить экскурсантов, любителей старины, — почему бы и ей не принадлежать к их числу? С этих господствующих высот обозревалась долина Риони — от плотины гидростанции слева до училища справа, трехэтажного массивного здания, всаженного в тесный бульжный двор, который выдавался полукруглым мысом над бурлящей мутной водою. В те годы необычайно зоркий, я бы различил ее, если б она почему-то вдруг снова прошла под теми окнами по бежевым плитам. Я бы это посчитал чудом, мне одному предназначенным, хотя добежать туда, конечно же, не успел бы.

В свои пятнадцать я уже знал, что влюбленные непременно глупеют, им это полагается по природе, иначе пресечется род человеческий. Но «опасная болезнь» загнала меня на эту верхотуру, чтоб у меня продрались глаза и прочистились уши, и я бы, точно впервые, увидел этот тесный двор, в который были всажены три года моей кутаисской жизни. Мало интересного было в этом дворе, ну разве что кочегарка, вечно гудящая утробным гулом мазутных форсунок, и возле нее навалены какие-то интересные железки. И никакой зелени, ну разве что «железное дерево» над обрывом к Риони, потому, наверно, и сохранившееся, что его не брали ни топор, ни пила. Сказывали, оно тяжелее воды и тонет в ней, но мы этого не могли проверить, от него ни щепки было ни отколоть, ни отломить веточку. За каменным барьером, ограждавшим двор с фасада, глубоко внизу уютился крохотный гранатовый садик, выходявший к сизо-свинцовому илистому берегу, туда и пробраться можно было лишь со стороны берега. Там в самые жаркие дни стояла влажная прохлада, трава была густа и сочна, на ней можно было вдоволь навалиться в «личное время». Мы имели смутное понятие о чужой собственности, священной «прайвеси», и жрали созревающие гранаты, не испытывая уязвления души, а совсем незрелыми кидались друг в друга или «на меткость». Хозяйка садика и дома в глубине его жили неслышно и невид-

но и никогда к нам не выходили, чтоб выговорить за непотребство. Это было не похоже на грузин. Я теперь подозреваю, что то были грузинские евреи. Подозреваю также, что они не оставались совсем равнодушными к нашим набегам, за ночь кто-то аккуратно подбирал раскиданные гранаты и складывал горкой — может быть, нам в молчаливое назидание. Пообщаться с ними не приходило в голову. Во всем городе ни у меня, ни у моих однокашников не было ни одного знакомого, от чужой крикливой жизни нас отделяла каменная ограда, непреступность марширующего строя, и за все годы едва ли я говорил с кем-нибудь, кто не носил погон. Во всем же остальном — была чужая страна, и это меня не тревожило ничуть и даже не удивляло. Я не предвидел, что мне еще придется жить в чужой стране, посреди чужого языка, чужих обычаев и повадок, и это будет мучительнее тюрьмы или лагеря — которых мне, впрочем, не пришлось изведать.

От заднего же двора уходила вверх, прямо к небу, грязнейшая в мире улочка, кое-где и кое-как мощенная булыжником, — то были кварталы грузинских евреев, самого несчастного, судьбой обделенного племени. У них были грузинские фамилии, с окончаниями «швили», «дзе», «ия», но наша «немка», по фамилии Кавлелашвили, по званию старший лейтенант, нам открыла, как их отличать от истинно грузинских: еврейские были «нехорошие», означавшие по смыслу что-то неприятное, мусорное, неблагоговонное. Мы так и не поняли: это евреи сами их выбирали по склонности души или же им такие давали в полиции? На наш русский слух они не очень различались. Из грузинского языка мы первым делом усвоили, естественно, матерщину, по богатству содержания близкую к нашей, а вторым делом — и последним — слова денежные: «сами тумани», «отхи тумани», счет всегда велся на червонцы, никогда на рубли.

Эта улочка, сдается мне, и названия не имела — и, стало быть, не была вписана в городской реестр, а дома — ес-

ли их можно было назвать домами — не имели номеров. Жизнь на этой улочке была доисторическая. Я помню жилище, какое и представить себе до этого не мог, — просто пещеру, вырытую под крутой скалой, точнее, в скале выбитую, там было подстелено какое-то тряпье и горел чадающий светильник, ползали голые дети, в черном котелке над костерком готовилось какое-то варево с запахом фасоли и лука. Круглый лаз был завешен грязным пологом — когда мы его приподнимали и заглядывали в нутро, обитатели пещеры что-то выкрикивали жалкими обиженными голосами — может быть, что-нибудь вроде: «Ну что вы смотрите, что вам тут интересно? Не видели, как люди живут? Да, вот так и живем. И, пожалуйста, уйдите, оставьте нас в покое».

Все же бывали и на этой улочке праздники — тогда по ней текла кровь. Куры с надрезанными горлами вздрагивали и трепыхались в пыли, и кровь стекала между булыжниками, кое-где образуя озерца. Грязь была ужасающая, и только по молодости нашей мы с этой улочкой находились в живейших торговых отношениях. Сейчас я бы их назвал «бартерными». Их коммивояжеры подходили, бывало, к прутьям нашей ограды, предлагали свой товар, спрашивали наш. За кусок мыла или несколько кусочков сахара нам давали пяток грецких орехов или плоскую мелкой сушеной хурмы — синего цвета и вкусноты необыкновенной. Мы ее съедали невымытую — и, вроде бы, никто не заболел.

Время от времени Рионская ГЭС закрывала шлюзы водосброса, копила воду; тогда дно реки обнажалось, она сжималась до ширины ручья, и жители гетто стекались со своего холма — вылавливать из воронок не ушедшую рыбешку и еще каких-то облепленных илом склизких тритонов. Выходили священники во всем черном и читали молитвы, держа перед глазами книжки — может статься, талмуд? Может статься, благодарили своего Бога, что дал неожиданное пропитание. Обитатели собирались вокруг

тесной и на вид скорбной гурьбой и время от времени вскрикивали хором. Чем жили эти люди, что производили, было для нас глубокой непроницаемой тайной.

Впрочем, почему бы нам и не знать этого? Помню совсем голого, только с повязкой на чреслах, маленького человека, скульптурно сложенного, с рельефной грудью и бицепсами, который забрасывал в зеленую воду под скалой, где застаивалось течение, сетку со свинцовыми грузиками и тут же ее вытаскивал с двумя-тремя запутавшимися рыбками. Мы, проходя мимо, подобрали одну, еще трепыхавшуюся, и бросили обратно в воду. И вдруг человек на нас зарычал, как зверь, и едва не полез драться. Для него эта рыбалка не была забавой, мы покушались на его добычу, которой он, может быть, кормил семью. И так страшен был его лик, с оскаленными желтыми зубами, такая горела в глазах злоба, что мы, восьмеро, каждый повыше его, отступили.

Обоюдная чужесть и вражда окружали нас в этой стране. И не потом, в Петергофе, родился наш боевой клич: «Наших бьют!» — а здесь, на берегах Риони. До побоища, впрочем, ни разу не дошло, обе стороны блюли осторожный нейтралитет, но если б случилось, что какого-нибудь кадетика из младшей роты обидели в городе, то все училище ринулось бы отомстить за него, сметая на пути любые преграды, и никакие офицеры нас бы не задержали. За что мы их не любили, не понимая и не общаясь с ними? За что они молчаливо ненавидели нас? И это при том, что служили у нас и офицеры-грузины, и в кадетах учились по три-четыре грузина в каждом взводе. Я помню лишь один случай, когда эта страна предстала для нас неприглядно и чуждо, что могло бы нас сильно покоробить. У какого-то секретаря обкома, второго или третьего, умер сын, восьмилетний мальчик по имени Гул, и едва ли не все газеты Грузии неделю рыдали некрологами и траурными объявлениями. Родственники и друзья, и родственники друзей, и друзья родственников соболезновали безутеш-

ному секретарю. А был на дворе год сорок четвертый, шли бои в Белоруссии и на Сандомирском плацдарме, погибали и калечились тысячи бойцов-фронтовиков, об этом сообщали в лаконичных сводках, где-нибудь в самом низу газетной полосы, ибо не хватало места должным образом оплакать восьмилетнего мальчика Гула и представить в портретах его незабвенный облик. С портретов в черных рамках смотрел прилизанный малец с вислым носом и блудливыми глазками шкодника и ябеды.

Осенью сорок четвертого неподалеку от училища, на той же улице Маяковского, обосновался госпиталь, по городу стали бродить легкораненые и выздоравливающие в коричневых застиранных халатах, в кальсонах с болтающимися тесемками и в шлепанцах на босу ногу. Иные ковыляли на костыле или с палочкой, у одного красивого блондинистого паренька было в горле отверстие, заделанное никелированной втулочкой. При разговоре, чтоб не свистело из дырочки, он ее затыкал пальцем. Эти раненые, в основном славяне, были нам единственными собеседниками, кому-то сделались и друзьями. Иных связей не возникло.

Своих классов у нас не было, не помещались они в здании губернского суда, и учиться мы ходили строем в ближнюю женскую школу. Юные грузинки учились в первую смену, мы во вторую. Мы подходили к школе как раз тогда, когда они заканчивали и расходились. И вот какая была странность — ни малейшего интереса к юному противоположному полу, девичьему племени, какой всегда испытывает солдатский строй. Испытывали непонятную брезгливость, которую объясняли себе их «паяльниками», то бишь носами. Отпускали вслух срамные шуточки, которых они не понимали. Может быть, оттого и была чужость, что существовала языковая преграда.

Поначалу в своих партах находили их записки, попозже их стал находить один Цагурия. Девки оставляли записочки Резо Цагурии. Цагурия — тяжелый увалень. По гру-

зинским понятиям — но не по нашим — он был красавец. Я теперь сознаю, что наши понятия мало чего стоили. У него были не то что сросшиеся брови, а одна непрерывная бровь, протянувшаяся от виска до виска. Из всех языков мира знал он только один — родной грузинский, и до сих пор не понимаю, какая блажь заставила родителей Цагурии отдать его в русское училище. Может быть, из расчета, что он научится русскому, но расчет этот не оправдался. Резо оказался неспособным ни к какому из языков мира, кроме своего грузинского. Весь первый год он учил «Вешего Олега», которого нам задали выучить наизусть, но одолел только первую строчку, до «неразумных хазар» дело не дошло, потом весь второй год — с тем же успехом — «Тараса Бульбу». Этот Тарас его избавил от всех вызовов к доске. Класс отвечал за него: «Учит Тараса». И преподаватель махал рукой безнадежно. Наконец перестали вызывать и еще через год отчислили как неспособного ни к чему.

Возраста неопределенного. Когда война кончилась, его забрали родители. Потом он был директором ресторана. Наши — уже офицерами — посетили Тбилиси и его ресторан. Брови у него разошлись. И появилось изрядное брюхо — предмет гордости на Востоке. Тут он развернул все свои таланты, угостил по-царски бесплатно. Произносил изысканные тосты. Говорить по-русски так и не научился, но по изяществу движений чувствовалось, сколь они изысканны. И все же удалось узнать, что детей у него пятеро, жена ждет шестого. Гуляли до утра.

На потолке вагона: «Черчилль, сука, открывай второй фронт!»

Как впервые завязалось знакомство. Я, лежа на боковой полке, наблюдал в окно, как наши женщины покупали молоко. Неожиданно для себя спросил, можно ли по вкусу молока определить цвет коровы. Неожиданной того прозвучало над самым ухом — глубокий голос:

— Он уже определил!

Пробрался к ним в купе, узнал, как зовут. Мать звала ее полным именем: Вероника. А она мать — это я впервые слышал — тоже по имени: Зина. Позднее, когда повзрела, стала звать мамой. А брата звали Шурик.

Одно слово — «воинский эшелон». Он идет без расписания, в часы, когда освобождается перегон. И на станциях подолгу ждет. Его никогда не ставят на первый путь, близ вокзала, но всегда на третий или четвертый, так что к вокзалу надо пробираться через многие рельсы и шпалы. Путь, который могли бы проделать за два-три дня, проделали за девять-десять. Двигались ползком.

Правда, в Москве поставили на первый путь, всего на часок, но это уже объяснялось близостью начальства. Пришел старшина Казаков. И пришли ее родственники (из Подольска) и требовательно спрашивали, когда же она посетит родной город. Так я узнал, откуда она родом.

И впервые коснулся ее руки, которой она держалась за поручень. У самого локтя. Прохладного локтя. С тех пор люблю прелесть девичьих рук.

Вероника. Она была — когда ласковая — Вика, а то — Ника. Сегодня она была Вика.

Девушки бывают тургеневские и роковые. Обаяшки и пикантушки. Моя была роковая. Со сросшимися бровями, загибавшимися вокруг глаза. Она обещала сделаться одной из тех женщин, которых любят военные.

Мама:

— Она в тебя влюблена, как кошка.

Она же передала слова Вики обо мне: у него будет жена-красавица.

Мне показалось, она имела в виду себя.

Разбитые дома были без полов, зияли дыры до самого низа. По этажам бродили лошади. Они забирались по лестницам до 5-го этажа. Что они там искали? Не было ни клочка сена.

В Ленинграде появились толстые люди.

Господствующие фильмы того времени: «Большой вальс», «Рим — открытый город», «Девушка моей мечты».

В первый год после войны очень модны были губные гармошки — солдатская забава у немцев. Нам их поставляли по репарациям. Продавались в ДЛТ различных размеров и видов. Я мечтал купить и купил, но играть на них так и не научился.

Проходила колонна пленных. Я пиликал. Солдат-конвоир взял у меня гармонику и дал немцу. Тот заиграл «Лили Марлен». На глаза ему навернулись слезы. Я хотел подарить, но солдат сказал, что не положено.

Покупали в универмаге столик. Пошел дождь, она голову накрыла кульком, а я спасался под столиком. На меня не капало. Встречный мужик усмехнулся:

— А мальчик-то с выгодой!

— Да? Я тоже хочу под крышу. — Прижалась плечом.

А когда пришли — у нас был Генка.

Я ждал, когда придет Генка Панарин. Был бы образец мужской красоты, если б его не портили уши — сильно оттопыренные и без мочек. Ну должно же парня что-нибудь портить.

Он посмотрел на нее заинтересованно и стал краснеть. Он быстро краснел — от смеха и от смущения.

Злоключениями войны можно объяснить, что Генка, на год меня старше, учился в роте, младшей, чем моя. Я пошел в школу семи лет, когда все нормальные ребята шли с восьми. В эвакуации он пропустил год. Семья кочевого офицера. Генка говорил с гордостью, что нигде не жил больше трех лет. Отец и мать — крупные тяжелые люди, он тоже был крупный и тяжелый. Тяжелое мужское лицо, тяжелые руки, тяжелая фигура, тяжелый характер. Когда я смотрел на его отца, видел, каким Генка будет пожилым. Еще была младшая Генкина сестра Галя, слушавшая брата беспрекословно. По матери было видно, какой будет она. Какое-то угрюмое насуспенное семейство, малоразговорчивое и негостеприимное. Я у них дома ни

разу не был, Генка никогда не приглашал, а у нас бывал часто.

Генка писал прозу. Стихи тоже сочинял — и не видел в этом доблести. Дежурные стишки в стенгазету. Ему я обязан возвращением к литературе. Я в 12 лет в Саратове стал писать киносценарий о войне — о начале ее, когда все подумали, что это маневры. Небогато. Героев характеризовал немудряще: «Фриц Мюллер, обер-лейтенант, пьяница». Все это забросил, потому что решил, что надо самому повоевать. Пошел на лыжах. Танкисты взяли к себе. Хотел быть «сыном полка» — они у нас были, Сергиенко с медалью «За оборону Кавказа». Я мечтал, что нас из училища пошлют на фронт. А писания забросил. Но вот вернулся, увидев и прочитав, что он пишет. Вероятно, мог бы из него выработаться писатель. В нем были основательность и глубина. Может быть, он предчувствовал свою раннюю смерть.

Ранний скепсис. Утопия. Мы не сидели за одним столом, как Ильф и Петров, главы писались порознь, затем обсуждались оба варианта и сводились в один. Страна Юнгландия со столицей Типперэри. Неизвестный остров в неясном океане — может быть, Атлантическом, но, скорее всего, в Тихом. Понемногу склонились к Тихому. Оперативный простор. Остров сначала населили англичане, недовольные своей родиной. Коль скоро наша родина не только нас не устраивала, но и многих других, то должны были там появиться и русские. Они прибывали туда разными путями. Первые главы как раз и содержали перипетии бегства: кто-то бежал из немецкого плена — ему дорога к своим была заказана, а кто-то и сам переходил границу, плыл на утлой лодчонке. Смутная мечта о *другой родине* — которой быть не может, но чтобы понять это, нужно было еще много прожить и пережить. Мы не знали, что Типперэри — не город в Англии, а графство в Ирландии, а то бы среди переселенцев не миновать появиться какому-нибудь О'Лири или О'Хара.

Все то, что не устраивало нас на нашей родине, мы исправляли и вносили исправленное в родину своей мечты. Никаким безобразиям не было места в нашей Юнгландии. Не сразу стала понятной нам сюжетная опасность. Было в этой Юнгландии так хорошо, жизнь обустроена так благоразумно и комфортно, что становилось скучно, и от страницы к странице все скучнее. Забросили. А кроме того возникли разногласия у соавторов. Мы были разные, слишком разные. Я пытался разнообразить действие некоторыми отклонениями от правильной идеи, Генка настаивал на правилах без исключений. Под его пером роман перерастал в трактат наподобие Кампанеллы или Томаса Мора.

Моей матери он как-то сказал — слегка разочарованно:

— Жора все-таки — легкий.

Это звучало как осуждение.

— А вы — потяжелее?

— Я, пожалуй, потяжелее.

Моя мать говорила ревниво, что я — под его влиянием. «Во всякой дружбе кто-то старший, а кто-то младший. Это неизбежно». Похоже было на то, что старший — он. На самом деле он хотел власти, а я — не зависеть от власти.

В моей роте у меня такого друга не было. Впрочем, и друга вообще.

Генка и она (Вероника) потянулись друг к другу. Но начались у них какие-то тяжелые объяснения, после которых они возвращались — он мрачный и задумчивый, она раздраженная и рассеянная. О чем они объяснялись, я не спрашивал. Она, когда в его отсутствие заходила о нем речь, брезгливо морщилась.

О Генке сказала:

— Он типичный Рудин. Он когда-нибудь умрет на чужой баррикаде.

— Ну, это тоже почетная смерть.

Она фыркнула:

— Вот еще...

Мне повезло — первая любовь и первая любовница.

Одно из их объяснений кончилось неожиданным образом. Я их сопровождал в Пролетарском парке. Гулял один по аллее. Вдруг Генка вернулся. Мрачный, долго и каменно молчал.

— Поссорились? — спросил я. По кодексу кадетской дружбы полагалось даже ободрить соперника. — У влюбленных это частое явление.

— Она любит тебя, — сказал он зло и сплюнул.

У меня прыгнуло сердце. А он ждал, как я на это откликнусь.

— Почему так думаешь? — спросил я как можно небрежнее.

— Она мне объяснилась в любви. К тебе. Пойдем, она хочет говорить с тобой.

Мы пришли к ней. Она сидела на поваленном дереве, вполоборота к нам.

— Ну вот я его привел. И могу удалиться? — и, не дожидаясь ее ответа, ушел.

Я сел рядом с ней. Она колупала пальцем кору. И вдруг сказала с трагической обидой:

— Как ты посмел меня уступить!

Я не знал, что сказать.

— Что я, по-твоему, вещь?

Но я забегаю вперед, это случилось поздней осенью. Ощущаю на себе шинель, а на ней пальтишко и платок на голове.

3

Постановление и доклад Жданова. «Проповедь гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности». «Злостно хулиганское изображение Зоценко нашей действительнос-

ти сопровождается антисоветскими выпадами». Написано страстно. Мы заучивали наизусть. Вставляли в речь: «Погода пошлая, безыдейная и аполитичная» и т.п.

Мы сидели в танке, и немецкая колонна шла прямо на нас. Гена сидел в креслице командира, а я — башенного стрелка. Или наоборот. Нас разделяла вдвинутая в башню казенная часть пушки.

— Вот так бы стрельнуть по ним, — сказал Гена. — Прямой наводкой, осколочным в середину!

— Да жаль, нечем, — сказал я.

Все, что можно было отвинтить в башне, было отвинчено — часы, приборы, оптика, маховик вертикальной наводки, любая сверкающая деталь.

— А цель какая удобная! Хреново без боекомплекта.

— И к тому же, — напомнил я, — конвенция... Гагская, что ли...

— Ну, это не помеха. Война — это же беззаконие. Какие же у беззакония могут быть законы?

Отсюда мысли его переместились к тому, о чем мы говорили до этого.

— Понимаешь, — говорил Гена, — они же ничего не объясняют. Они только ругаются. Ух, как они любят ругаться! Помнишь, в той книжке, что мы притырили?.. Так здесь то же самое. Может быть, слова другие, а стиль — тот же.

Эту книгу мы с ним умыкнули в училищной библиотеке, когда ее начальник, лейтенант Полисский, приспособил нас отбирать по списку, спущенному откуда-то сверху, книги, не то чтобы запрещенные, но и не для кадетского чтения — толстенький сборник в серой бумажной обложке, материалы процесса 1937-го года. И нас не то поразило, что поражало всех — как эти бывшие революционеры, стойкие борцы с самодержавием, признавались так охотно, почти радостно в страшных преступлениях и едва не испрашивали себе расстрела, — поразило, с какой неисто-

вой злобой ругались обвинитель и свидетели и как заранее Вышинский хоронил подсудимых: «Могилы их зарастут крапивою и чертополохом, а наш народ...». А судьи сидели и слушали, и никто его не поправил: «Подождите насчет могил, еще же приговор не вынесен». Уже вынесен, готов.

— А десять лет назад, — спросил Гена, — он не был пошляком и подонком? А почему-то он стал сейчас, заметь. Ты догадываешься?

— Честно сказать, нет.

— А я немножко. Постановление когда было, четырнадцатого?

— Ну?

— А что было за две недели? Меньше даже, чем за две недели, второго числа.

— Сообщение, что повесили Власова. И его дружков.

— Прошло всего двенадцать дней. И ты это никак не связываешь?

— Нет.

— И я не связываю. А они связывают. И может быть, все решалось на одном и том же заседании Политбюро. Ну, допустим, на двух — с перерывом на обед.

Тем временем колонна дошла до края плаца, и конвоир остановился, закинув винтовку за спину. Колонна стала поворачивать вправо. Мы ее видели в смотровую щель. Немцы не торопились, брели медленно, шаркая подковками об асфальт. Конвоир достал портсигар и закурил. Один немец вышел из рядов и подошел к нему. Двумя пальцами он показал на рот себе. Конвоир опять открыл портсигар и дал ему закурить. Другие немцы смотрели жадными глазами и не решались подойти. Конвоир их не приглашал.

— И не у кого спросить, в чем тут дело.

— Есть у кого, — сказал Гена. И я сразу понял, что он имеет в виду.

Порыв — противодействие. Чем больше его ругали, втаптывали в грязь, тем больше хотелось — пожать ему руку, высказать уважение. Почему-то казалось — и мы, и он растрогаемся до слез.

— Я вижу, ты готов, — сказал Гена, усмехаясь.

— Генка, ты хочешь, чтоб мы к нему пошли?

Я испытал восторг страха.

— Но ты же тоже хочешь? Понимаешь, мы должны это сделать. Иначе, — он усмехнулся смущенно, — мы перестаем себя уважать. Я, например.

— Я тоже.

От того, что мы читали о Зошенко, появлялся в груди или чуть пониже холодок оцепенения. Или страха.

— А будем ли говорить с ним о наших писаниях?

— Лучше не надо. Ему хочется поддержки от читателей.

— От коллег тоже хочется.

— Нет, — сказал Гена. — Получается так: мы сами пишем, поэтому и пришли. А не писали бы, так не пришли?

— Но это так и есть.

— Это так и есть. Но лучше так не говорить. Ему лучше.

Жданов об Ахматовой: «...у которой блуд смешан с молитвой».

— Это мы спросим у нее.

Следующим вопросом было — в чем пойти. Мать на толкучке купила мне американские брючки — цвета оранжево-пегого, с рыжиною. Они не имели подобающей ширинки или гульфика, а застегивались «молнией» почему-то сбоку, наподобие матросского клапана. Плюс белая безрукавка. Можно было не приветствовать встречных офицеров. Впрочем, и в этом наряде срабатывала устоявшаяся привычка, то и дело я спохватывался, что делаю что-то не так или не делаю должного, и рука едва не подсакивала к виску.

Отказаться совсем от формы нельзя было. Зачем эта маскировка? Если мы скажем, что мы школьники, это будет

обман, если назовемся суворовцами — это будет правда, но в которую трудно поверить, потому что — без формы.

— Надо, чтоб он видел, что его приветствует армия.

Как в кавалерии не бывает лошадей белых, а есть соловой масти, так и наши летние гимнастерки никто бы не назвал белыми.

Гимнастерка белая — соловой масти — холщовая, гладкая, лоснящаяся на вид. Практически ее можно было после глаженья надеть один раз. Складки от утюга она не держала, а зато прекрасно мялась под ремнем. И это была еще не полная форма, к ней полагался белый же чехол на фуражку, но он и вовсе был не белый, а серый. Даже грязно-серый. А без чехла нельзя было, нас бы задержал патруль. Нет, лучше всего была наша черная униформа с белым подворотничком.

На гимнастерках нагладили по две вертикальные складки, прямехонько против тех мест, где у женщин средоточия прелестных холмов, а у мужчин — невыразительные и ненужные соски. Такие складки делали грудь выпуклее и шире. Сделали даже клеша себе, раздобыли куски фанеры и на ночь подложили под себя. Это, конечно, было не то, брюки надо воспитывать долго и регулярно, тогда они привыкают быть клешами.

Бляха была — желтое солнце, ботинки — два черных солнца.

Двум юным идиотам все-таки стукнуло в голову, что Зощенко нас испугается, его хватит удар при виде наших голубых погон и черных гимнастерок. В Ленинграде могли еще не видеть суворовцев. Видели только тех, кто приезжал на каникулы, но они обычно торопились переодеться в штатское, чтоб не козырять встречным офицерам. Даже милиционерам. Ну, сам-то Зощенко — боевой офицер, но если откроет жена? Она же в обморок упадет.

— Надо что-то такое нести в руках. Может быть, цветы?

— Но мы же к нему идем. А не к жене. А мужчинам цветы не дарят.

— Моя мамаша преподнесла цветы Маяковскому.
Взял.

— Это другое дело. Мужчины не дарят мужчинам. Нет, цветы нельзя. Что мы, пришли поздравить с успехом? Таланты и поклонники! Мы пришли поддержать морально.

— Значит, еще кто-то должен с нами пойти. Штатский.

В общем, нам понадобилась девочка. И нарядная девочка, с какой не приходят арестовывать. Мы еще не знали, что именно с такой и приходят, есть такой садистский прием.

О девочке предложил я:

— Есть еще такой выход. Мы должны быть по форме, но с нами еще кто-то должен пойти. Не в форме. Лучше всего — в белом.

— Я думал об этом, — сказал Гена. — А она согласится?

— Поговори с ней.

— Почему я?

— Ну... она как будто твоя.

Он промолчал. Но потом сказал:

— Мы же все решили вместе. Значит, будем с ней говорить двое.

Девочка не противилась ни секунды. Мы пришли к ней под окно.

— Нет, это очень интересно! — (У нее получалось: «Дед, это очедь идтересдо».) — Ой, мальчики, какие вы умные, что так решили.

— А вот как бы ты отнеслась, если б тебя назвали полумонахиней, полублудницей? Ты бы обиделась.

Она улыбнулась загадочно.

— Это оч-чень интересно!

Девочка сама сообразила, что ей надеть. Пошла во всем белом, даже туфли надела белые, небось, выпросила у матери, и в красном беретике. Получились цвета польского флага.

В тот день, когда назначили пойти, вдруг испортилась погода. Решали в солнечный день, а теперь вдруг похолодало, и небо заволокло серо-свинцовыми облаками. Но по этой причине решили не откладывать.

Адрес взяли в будке колонны Гостиного двора. Окошко, девушка. Даже удивились — как легко дают адреса писателей. Канал Грибоедова, 9.

Был азарт. Когда взяли адрес, почувствовали какую-то неотвратимость своего шага. На канале Грибоедова замедлили шаги. Шли, как на казнь, к которой сами себя приговорили. Но была длиннорукая длинноногая девочка, смеявшаяся охотно и помногу, смеявшаяся как бы всем телом, перегибаясь в талии. В ее присутствии мы не могли выказать и тени боязни. Я вдруг подумал — вот еще зачем Генка позвал ее.

Это оказалось пугающе близко. Каких-нибудь триста шагов от Невского.

Медленно шли по лестнице. Казалось — на 9-й этаж. На самом деле — 3-й или 4-й. Позвонили. На звонок долго шли по коридору, все время разговаривая. Открыла полная женщина с крашеными волосами. Отчего-то было ясно, что — из кухни.

Дама, которая открыла дверь, ничему не удивилась и не упала в обморок, она спокойно разглядывала нас две три секунды и тотчас крикнула куда-то в глубину квартиры — как нам показалось, коммунальной:

— Миша, к тебе!

И пошла по длинному полутемному коридору, на ходу продолжая свой разговор с какой-то женщиной.

Из двери, что налево, вышел и ждал нас высокий человек. Первый мой живой писатель.

Зощенко сидел за обеденным столом, письменный был у него за спиной. Белая скатерть, большая пепельница. Он сидел одним плечом ниже другого и вполоборота к столу. Слабо улыбался.

Слышался разговор из кухни, разговаривали две женщины, очень оживленно, и я подумал о том, что вот соседка не испугалась общаться с женой заклеянного писателя. Дети коммуналок, мы не представили себе, что квартира была отдельная и не с соседкой говорила жена, а с родственницей.

— Мы читали ваши рассказы, — начал Гена.

— И очень удивляетесь, почему меня ругают, — тотчас подхватил Зошенко.

О чем говорил Зошенко:

Сражался с бандами Махно. Был травлен газами. Был в красной коннице. Не знаю, что они там углядели. Может быть, за границей что-то напечатали. Этот его намек мы потом отметили.

Просили дать почитать «Перед восходом солнца». Он бросил взгляд через плечо на книжную полку и сказал то-ропливо:

— У меня сейчас нет.

Нам это показалось невероятным.

На нашу даму не обратил никакого внимания. Никак не выделил ее. Она это, наверное, заметила. Потом смеялась: «Пятое-десятое, я не хотел».

Нам всем было очень весело.

К сентябрю стали съезжаться с каникул. Самые нетерпеливые приезжали дней за пять — побыть в своей вольнице. Выяснилось, что с нами будут еще и ташкентцы. У них на погонах были буквы «Тш», что мы тут же расшифровали как «ташкентские шакалы». Наши «Кт» они расшифровали — «кутаисские тараканы». Когда нам выдадут новые погоны с литерами «Лг», обе стороны согласятся, что все мы — «ленинградское говно». Но в целом быстро сошлись, драк было сравнительно мало. Может быть, повзрослели. Или притерлись к училищному быту.

Все передрались в первый же год. Иногда и потом случались драки, но редко.

Вместо четырех взводов стало шесть. В третий взвод офицеры-воспитатели отдали тех, кого не хотели у себя держать. Меня отдали в третий — капитану Локотько.

Детская жестокость: парня с энурезом выселили, вместе с койкой, в умывалку. Он там спал, но, кажется, не подавал виду, что оскорблен. Потом читал свои стихи — одни и те же: «Моя радзима Беларусь!».

Не разрешалось жаловаться — ночью устраивали темную. «Велосипедик».

В казармах (бывших судебных залах, огромных. В совещательной комнате спали сержанты) в Кутаиси ловили летучих мышей, они садились на белые подушки. К распластанным крыльям прижимали оголенные провода от вырванного выключателя. Один вздрог — и кончено. «Электрический стул».

Гоняли залетевшего голубя. Он почему-то не мог найти окно, ширкался головкой о потолок, оставляя на белой известке кровавые прочерки.

Каждый год кто-нибудь погибал в училище. В Кутаиси на Красной речке, куда ходили всем училищем, кто-нибудь тонул. В Петергофе тонуть было негде, зато один подорвался гранатой, другой — разбирая снарядик авиационной пушки. Третий повесился в недостроенном клубе на стропилах. Он не хотел ехать на каникулы к отчиму. Просил оставить его в училище с комендантским взводом. Ему отказали, велели собирать вещи. Он исчез, его долго искали и не могли найти. На другой день два малыша, забравшиеся в недостроенный клуб, увидели его ноги, свисавшие из пролома в потолке.

Либо кто-нибудь убежал. Никто не бежал на фронт, а только домой. На вечерней поверке выкликали, и правофланговый отвечал: «В бегах». Одного — Кравченко — просто украла приехавшая мать.

Бежал Валя Чемоданов с готовой кличкой Чемодан. Его поймали в Сочи и привезли в училище с единствен-

ной целью — торжественно исключить из него. Но осталась песенка, на мотив «Гоп со смычком»:

*В роте, где Коломин-капитан,
Убежал из роты Чемодан.
Путь он выбрал покороче,
Оказался прямо в Сочи.
Там на пляже есть один шалман.*

И т.д.

Головач и Дараев танцевали «Линду». Стукались задницами.

Фека и Сыр в голом виде танцевали танец маленьких лебедей. Кто-то их фотографировал. Чуть не пришли порнографию. Впервые услышал это слово.

Клички: Богомоллов — Бегемот, Рыбаков — Рыбачка Соня. Ничего девичьего.

Эпизод с химическим кабинетом. Пили разбавленный этиловый спирт из мензурок. Кто-то нас засек. На вечерней поверке появились «папа ротный» и фельдшер Каширин.

— Там подмешан формалин. Если сейчас не сделать срочно промывание желудка, они через полчаса умрут в страшных мучениях.

Рыбачка Соня побледнел и стал рваться из строя.

— Вы как хотите. А я не хочу умирать.

Его спросили, кто еще. Он назвал нас обоих:

— Ну выходите, чего прятаться.

— Два шага вперед. Шагом марш в карцер. Трое суток строгого.

Я задал глупый вопрос:

— А промывание?

— Обойдетесь.

В первые сутки нам было нескучно в камере, мы честили Рыбачку Соню. Он оправдывался:

— А я, и правда, почувствовал, что вот сейчас умру.

В мои пятнадцать я, кажется, впервые узнал, сколько в мире предательства — и самого бескорыстного, безвыгодного. У нашей подружки в комнате, где мы читали эти рассказы, была ниша, бывшая дверь, сквозь нее замечательная была слышимость — и соседка спросила ее: «Над чем это вы так смеялись?». Нет бы ответить: «Гаргантюа и Пантагрюэль», она бы ни черта не усекла, язык бы сломала. Но сказано было: «Зощенко», про это она где-то что-то слышала нехорошее. «А можно почитать? Хоть на денек». Отчего же нет? И вот она, не читая — я голову кладу на отсечение, что не читая! — сняла передник, вымыла руки и шею и с книжкой почапала в политотдел. Зачем? Что она с этого будет иметь? Неужто ей грамотку за это дадут?

А вообще — как это рождается в человеке: «Надо пойти стукнуть»?

И в голову не пришло, что соседка не донесла о «походе». Мы же этого ни от кого не скрывали! Или она считала должным стукнуть только насчет чтения? А потом узнала, что мы у него были, — от Вики же, — но не идти же второй раз в политотдел. Может, ее там в первый раз не очень ласково приняли, велели помалкивать...

Почему побежали на себя доносить — вдруг соседка донесла и об этом, а нам пока не сказали, ждут, скажем ли мы сами.

Совещание с Генкой. Как быть с девочкой? Ее мы могли увидеть только вечером, после шести. Нам не пришло в голову, что соседка о нашем походе не знала, а если бы знала, то все бы и выложила разом. Но девочка не сказала о походе, потому что не придавала ему никакого значения или, напротив, потому что была обижена невниманием знаменитого писателя.

Генка настаивал: «Мы это должны сделать — не потому, что нам это зачтется, а потому, что перестанем себя уважать. И мы ничего позорного не совершили».

И первое, что мы услышали в ответ, было еще вполне человеческое: «Лучше бы вы не рассказывали, промолча-

ли, никто б не узнал». Но уже вскоре пришлось нам узнать, что благородство и честность вовсе не так высоко ценятся, как нас учили.

Но если по правде, совсем по правде, как на духу, то был еще и страх, что все узнается. Лучше мы сами на себя донесем, это нам зачтется. Да вот не зачлось. Мы не знали, сколько неприятностей мы доставили нашим отцам-командирам. И мы не просто были дураки, а дураки круглые.

Что-то хрустнуло в отлаженном механизме. Ведь что скажут в управлении. Узнает сам Лаврентий Павлович, шеф нашего училища. И кто пошел — мальчишки. Нет, такая идея не могла зародиться в их стриженных головах. Дяди-чекисты не могли в это поверить.

В девять утра писарь особого отдела, рыхлый и пухлолицый сержант, вызвал меня с урока и, поверотясь, молча пошел вниз по лестнице, в начальственный коридор. А я за ним. Часовой у знамени, кадет из моей же роты, при виде нас вытянулся и замер, а глазами и всей физиономией выразил мне понимание и сочувствие.

Секретарша политотдела Надя — в первой комнате. Посмотрела на меня жалостно и покачала головой: что-то я натворил. Дама была сексапильная и любвеобильная. Мужики-офицеры хвалили ее за то, что «добра к нашему брату. И дает хорошо, и берет хорошо. Аж до печенок пробирает!». Эта Надя и сказала матери, что донесла соседка. Никогда я не видел эту соседку, жившую за стеной и сходящую за километр (нет, только за 700 метров) в политотдел. Ее лица невозможно было увидеть, оно всегда смотрело куда-то вниз. Что ее туда повлекло? Несомненно, зависть к Вике, что к ней ходят мальчишки-суворовцы. Донос из женской зависти!

Начальник отдела капитан Мякушко что-то доставал из одного из своих объемистых шкафов — должно быть, чье-нибудь досье. Меня удивило, что он это делает пинцетом.

Я было доложился о прибытии, он меня перебил:

— Не ко мне. Зайдите в четвертую дверь направо. Вас там кое-кто ждет.

Там их было двое. Командир моей роты — «папа ротный», как мы его называли, — сидел у торца стола, положив ногу на ногу, сжав скорбно тонкий свой рот, эту скорбь еще подчеркивали глубоко, страдальчески запавшие щеки. Другой, в центре стола, был живописно суров, с лицом скульптурным, с пронзительным, почти не мигающим взглядом, с голым блестящим черепом, то ли лысым, то ли бритым «под Котовского», некогда говорили — «под Блюхера». Такая была армейская мода у генералов и у полковников, желающих напомнить, что им пора в генералы. Должно признаться, полковник Гордиевский производил впечатление.

Ну, а мое место было против стола и сильно поодаль, чтоб я у них весь был на виду, от макушки до ботинок.

Этот полковник Гордиевский приезжал к нам в училище из Управления военно-учебных заведений МВД инспектировать наших преподавателей, проводить «методические совещания». Обычные его наезды совпадали с концом каждой четверти, а сейчас был сентябрь, самое начало, и, значит, он приехал экстренно, по причине случившегося «чепе».

— Садись, — сказал он мне. — Тебя не покоробит, что я с тобой на «ты»? Тебя как будто уже ничто не коробит. А я хочу с тобой неофициально. Можно сказать, по-отечески. Скажи ты мне, старому чекисту, что вас к нему потянуло? Книжки его читать, а потом — в гости? Я хочу понять.

Ответ у нас с Геной был заготовлен, но почему-то выговорился с трудом:

— Мы писали юмористические рассказы... Ну, и хотелось... — Как-то не складывалось: «Чтобы он с нами поделился опытом», а выговорилось очень глупо: — Хотелось поделиться опытом.

Они переглянулись с едва уловимой усмешкой.

— И у кого же нашли поучиться? Ведь писателишка — никакой. Подонок, пошляк, литературный хулиган, отребье.

Я слабо повел плечом, давая все же понять, что я другого мнения.

Мне казалось логичным сказать, что хотелось самим, своими глазами и ушами изведать правоту Постановления. Я еще не знал, что такое логика чекистов и вообще советская логика.

— А разве тебе партия, правительство не все объяснили? Не сказали тебе, в чем его вред? Если ты сам не разглядел в книжках его мусорных, так тебе разжевали и в рот положили. Его оставили в изоляции от общества — временной притом, он все же не безнадежен, его же не тронули, не посадили, — чтоб он подумал, крепко подумал, как ему дальше-то жить. Не все же людей наших изображать уродами, ниже обезьян. А вы эту изоляцию нарушили. Думаешь, вы ему добро сделали? Вы ему только навредили. А еще больше — себе. И, конечно, училищу. Если уж вы к нему пошли, так у вас одна должна была быть цель — вымазать ему дверь дегтем. Но у тебя с твоим другом, Панариным этим из четвертой роты, — другая была цель. Какая? Про литературную учебу ты мне не лги. Это еще как-то могло быть до Постановления. Но вы-то пошли к нему — после. Ответь мне.

— Ну... хотелось от него услышать — в чем дело? Почему ругают... И вообще.

— А вообще ты, значит, партию решил проверить — права ли она?

Я опять повел плечом.

— А знаешь ли ты, — спросил полковник Гордиевский, — что такое честь офицера? Ему дают пакет — доставить ценой своей жизни. При угрозе плена — съесть. А потом — застрелиться. И ему в голову не придет вскрыть этот пакет, прочесть, что там написано. Да, вот такая скрупулезная честность. А ты бы, небось, вскрыл?

— Что же, его с конвертом съесть? И сургучом?

— Все-то тебе хаханьки, смехунчики. Ну, а вынувши из конверта — прочел бы?

— Ну... если застрелиться через минуту... — Он смотрел мне в глаза пронзительно и не мигая. И мне было не до смеха. Мне было обидно за свое ничтожество. — Интересно же узнать, из-за чего же я умру.

— Вот она, твоя гниль! И с этой гнилью в душе ты пошел партию проверять.

«Ротный папа» зашевелился, сказал с печалью в голосе:

— А он у нас вообще такой — вольнодумец. Послушать, о чем иной раз говорит, — ничего святого для него нет. Не знаю, чье это влияние, где нахватался. Но у меня такое впечатление, что наша действительность, советский образ жизни ему не по душе. Грустно, но не могу не сказать.

Откуда он это знал? Я никогда ни о чем таком не говорил с ним. Значит, и в казарме были стукачи...

Гордиевский, скрипя стулом, к нему повернулся впол-оборота.

— У вас, майор Алексеев, рота замечательная, отличные ребята, я знаю. Среди них ему не от кого было нахвататься. И среди преподавательского состава. Так что чье это влияние... Да никакое не влияние! А просто в каждом коллективе, в самом здоровом, попадаете такая паршивая овца — и корчит из себя вольнодумца. Партии, видите ли, он не доверяет. Сопляк!

Это было непереносимо, у меня запершило в горле, и глаза стали туманиться от едких слез. Прежде я бы это как-нибудь вытерпел. Но когда есть в твоей жизни девочка, уже нет охоты позволять начальству на тебя орать. Это как будто и на нее орут.

Я сказал сдавленно:

— Вы не смеете меня оскорблять.

Он удивился, едва ли не обомлел.

— Почему это я не смею?

— Хотя бы потому, что на мне погоны нашей армии.

И вышло, что я сам себе назначил наказание. Он даже обрадовался.

— А вот мы их и сорвем с вас обоих, ваши погоны. Не ваши, а доблестной армии нашей. Которые вы опозорили. На плацу сорвем. При общем построении училища. Под барабанный бой!

Он не придумал ничего нового, такое наказание было у нас — рангом ниже исключения из училища — за проступки особенно позорные. Или, как говорилось, порочащие честь суворовца. В первый раз, помню, — еще мы не в Петергофе были, а в Кутаиси, — один кадет из старшей роты, Шота Ртвеладзе, ограбил винный ларек, угрожая куском мыла, которым он талантливо имитировал гранату. Погоны с него сорвали на три месяца, самый большой срок. Но через две недели их пришлось вернуть, потому что отец у него оказался не просто подполковником медицинской службы, а личным поваром Берии. Очевидно, на том уровне приготовления сациви и чахохбили требовалось медицинское образование. Другим не так повезло в жизни, и они свои беспогонные плечи сутулили, что называется, «до звонка».

Обычно это делалось на вечерней поверке. Погоны у нас были не накладные, а вшитые, и какой-нибудь амбал из комендантского взвода их сперва надрезал ножницами у корня, так что потом из плечевого шва торчали голубенькие полоски. Наказанный ходил в пяти шагах позади строя и в столовой садился позже всех.

Но ни разу не было — на плацу. Это показалось мне самым страшным, потому что она могла это увидеть. Жители училищного городка непременно бы собрались на такое зрелище. И даже страшнее исключения, которого я всегда почему-то боялся. Страшился того, что мальчикам в школе придется о нем рассказать.

— Все ясно, — бросил мне через стол полковник Гордиевский, багровея голым своим черепом. — Будем вы-

корчевывать, принимать меры самые суровые. И не посмотрим, что вам по пятнадцать лет. Мы тут воинов воспитываем, стражей государства. Можете идти. Вами займется вплотную капитан Мякушко. Советую быть с ним откровенным. До предела. Хотя не знаю, что вас может спасти.

Мы вышли с «папой ротным». Вышли молча, и он был все так же скорбен. А мне было с ним тягостно и стыдно, точно не он меня сейчас предал, а я его. Он попросил дневник. Я имел такую глупость. Но из него вычитал — и сказал матери — только то, что я, оказывается, пил коньяк. С тех пор я не веду дневников.

Мякушко протомил меня с неделю и вызвал поздно вечером, за час до отбоя. Того, о чем он спросил меня, я, признаться, никак не ждал:

— А вы уверены, что были у Зоценко?

— Как это?

Я подумал, он хочет для начала поиграть со мной, пойманной мышкой, щирый украинец, гайдамак, чернобровый и черноокий, румяный во всю щеку и с маленьким девичьим ртом — наверное, певучим, — в нем самом поигрывало молодое сытое веселье.

— Может, это кто-то другой был? Вы ж его никогда не видели. Разве ж на фото.

— Но... у меня даже квитанция сохранилась из адресного бюро.

Он подумал. Наверное, прикидывал, что ему дает такой вариант. Я сам пошел навстречу моему следователю, я же должен был быть откровенным до предела:

— Ну, даже если кто-то другой, но шли-то мы — к Зоценко.

— Да, это дела не меняет. Ладно, идите.

Через два дня вызвал снова.

— А когда вы у него были, какого августа?

— Точно не помню. Может быть, девятнадцатого. Может быть, двадцатого.

— А может быть, тринадцатого? Или даже раньше?

— Нет, не раньше.

— Так вы же точно не знаете числа. А я вам скажу, почему вы не знаете. Вы же газет не читаете, вы о Постановлении от кого-то услышали. Неважно, от кого. А важно, что в голове у вас могло перепутаться. Вам задним числом может казаться, что были после. А фактически — до.

Я промолчал, думал об этом юридическом казусе.

— Рассудим логически. Если пошли после Постановления, так там же не один Зошенко упоминается. Вы б тогда и к Ахматовой заглянули — для равновесия, правда? А кстати, почему ж вы ее не посетили?

Рассказать ли ему, что нам просто показалось, что она меньше оскорблена? Мы даже спросили нашу подружку, сильно бы ее обидело, если б назвали «полумонахиней-полублудницей», и она, улыбаясь загадочно, сказала, что это «оч-чень интересно».

— Мы же ее стихов не читали. Только вот эти, из доклада товарища Жданова: «Чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадам».

— Да, — сказал Мякушко. — Если б ее посетили, тогда б вам было не отмыться. Тогда бы ясно было, что именно и пошли, что вышло Постановление.

Именно так оно и было, и я сказал:

— А я и не пытаюсь отмываться.

— Иначе — что же получается? — продолжал Мякушко. — И вас надо гнать из комсомола и из училища, и ваша мать, которая узнала и не сообщила, нарушила свой долг коммуниста.

Так, он давил, но и предлагал нам какую-то мировую.

— Что вы на это скажете?

— А что я могу сказать?

— Ну, тогда идите и подумайте, как вам с этого дела прыгнуть. С другом посоветуйтесь, с матерью...

Мать стала говорить: «Но ведь, и правда, пошлость. В чем-то они правы». Да как-то и во мне этот юмор поту-

скнел. А ведь до этого всегда называла среди рекомендованных мне имен.

Начав признаваться, остановиться нельзя. С ужасом, в котором мы потом друг другу признались, мы почувствовали, что нас сейчас спросят, кто еще с нами был.

— Кто еще с вами был? — спросил полковник Гордиевский.

И мы — назвали. Я назвал, а Генка подтвердил.

Что спрашивал Мякушко:

— Кто первый предложил?

— Кто предложил ей?

— Она не отказывалась? Сразу согласилась? Не пробовала вас отговорить?

— А ее мать знала?

На следующий день, после обеда, мы сошлись с Генкой на пустынном плацу, и я поведал ему о странных вопросах Мякушко.

— Ничего странного, — сказал Гена. — Мякушко тебе не все рассказывает.

Признаться, меня слегка кольнуло, что наш особист со мною не так откровенен.

— Он мне сказал: «Передайте вашему легкомысленному другу, что, если он будет упираться, вас просто уничтожат». Министр Абакумов прямо-таки орал на Гордиевского, кулаком стучал по столу: «Как такое могло случиться в нашей системе, кого же вы там воспитываете?!». Потом вызвал его и сказал: «Тут одно из двух. Либо они туда пошли до Постановления, и тогда их просто надо наказать примерно — за то, что читали его сраные книжки. Либо они были после — и надо их сажать, а училище — расформировывать».

— И ты веришь, что они на это пойдут?

— Ну, погоны уж точно сорвут. И мне насчет Политической академии можно уже не волноваться. Особый отдел рекомендации не даст. По крайней мере, Мякушко сказал: «Нужно сильно повременить». Это, значит, учили-

ще офицерское и потом годика три на заставе. «А что касается вашего легкомысленного друга — у меня впечатление, он вообще не годится для нашей системы. Подумал бы — не выбрать ли другую профессию». Скорее всего, это не его впечатление.

— А чье же?

— У Мякушки впечатлений быть не может. Наверняка это ему Гордиевский сказал.

Я и сам уже замыслил — окончив училище, уйти «на гражданку», надо было только получить медаль, медалистам это разрешалось, но не очень приятно услышать, что для чего-то ты не годишься.

— А на кой она тебе, — спросил я, — эта академия?

— Ты не понимаешь. Нужно, чтоб на все ключевые посты пришли наши люди. Мы и наши друзья. И такие, как мы. Наше поколение. Нужно взять судьбу страны в свои руки. Мы к этому пойдем с тобой, наверно, разными путями, но, я думаю, — параллельно.

И кто это решил, что я легкомысленнее Гены? Сам он говорил, что я — «легкий», а он — «потяжелее», но тяжел он был телесно, высокий и широкоплечий, почти взрослый мужик, а я до семнадцати лет тощеватый и низкорослый, в строю — вечный «левый фланг», но что до легкомыслия и наива, так мы друг другу были сапогу пара, я-то даже побольше него уже проникался скепсисом.

Мы ходили по плацу кругами, заложив руки за спину, и нас, наверное, видели из окон казарм и главного корпуса. А на пустыре, рядом с качелями и «гигантскими шагами», стоял, покосясь, немецкий трофейный танк, в котором мы тогда сидели и вдруг решили пойти к замордованному, заплеванному Зощенко и высказать ему слова сочувствия. Теперь нам не хотелось на него смотреть.

— А ты не думаешь, — спросил Гена, — что мы ее в самом деле запятнали, честь училища?

— Ты уже так начинаешь думать?

— Нет. Просто хотел тебя проверить. Но знаешь... Мы сделали то, что сделали, а про то, что мы отречемся, Зощенко же не узнает.

— А мы это как переживем?

Он долго молчал, прежде чем ответить.

— Переживем как-нибудь. Где-то я прочел: «Иногда нужно быть мужественным, чтобы поступить, как трус». Галилей отрекся, а потом сказал: «А все-таки она вертится!». И оказался победителем. А так — был бы ему костер. Если есть вещи, которых можно избежать — ради цели, — так надо это сделать. И не мучиться...

Я пришел к Мякушко без вызова, но, показалось, он моего прихода ждал.

— Ну, как? Вспомнили?

— Да. Можете считать, что мы были до Постановления.

Мякушко, откинувшись на стуле, посмотрел мне в глаза с некоторой даже брезгливостью и сказал жестко:

— Так это вы не мне должны сказать. Я это и так знаю. Вы это должны всем товарищам вашим сказать. Будет комсомольское собрание роты, заслушаем ваше персональное дело, там и скажете.

— Но если мы были до, значит, и дела никакого нет? Значит, оно закрывается?

— Нет, не закрывается. Дело есть, раз оно уже открыто. Потому что был сигнал. От соседки вашей Дульцинеи. Или как вы ее там называете. Я это не скрываю, потому что вы и так знаете, от кого был сигнал. И назад она его вряд ли заберет. Да я и права такого не имею — предлагать ей, чтоб забрала. Она поступила как честный советский человек. И это всегда следует поощрять. Так что придется вас наказать. Но не за посещение, а — за чтение.

— Но ведь его многие читали.

— Это пусть многие читают, сколько угодно. А у нас быть этого не должно.

Нет, совсем без наказания я не мог быть отпущен. И с логикой чекистов всегда уже буду не в ладах.

— И ваш друг, — спросил Мякушко, — он тоже вспомнил?

— Мой друг, — сказал я с язвительным нажимом, — не такой легкомысленный, как я. Мы вместе вспоминали. Но кто же нам теперь поверит, когда уже все знают, как было на самом деле?

— А это уже не ваша забота, — сказал Мякушко, глядя на меня прозрачными честными глазами. — Особый отдел ваши слова подтвердит. Произведет проверку и подтвердит.

— Ну, вот и хорошо.

— Хорошего мало, — сказал Мякушко. — Но это еще не все. Ведь еще третий был. Точнее — третья. Дульцинея ваша гарнизонная. Еще что она скажет!

А к ней в эти дни дорога мне была заказана. После того, как мы так по-дурачки признались, не спрося ее, не советуясь втроем, — и, значит, ее заложили, — меня к ее дому и ноги не несли. Все, что так хорошо, так сладостно начиналось, было прервано, обрушено свалившимся на нас несчастьем, которое лишь тогда кончалось, когда я засыпал. И в той комнате в офицерском двухэтажном «коттедже», где она жила с матерью и младшим братом, остался весь таинственный мир, который мог теперь называться «без меня».

Я не много успел узнать об этом мире, все внимание поглощено было ею, остальное было, как в полусне. Ее мать, я знал, занималась когда-то английским с будущими разведчиками, прививала им «green English» и учила различать кембриджское произношение и ливерпульское, а теперь преподавала в старшей роте, а вот кто был отец, о котором никогда не говорилось?

Отец Вероники — очень известный чекист. А носила она всегда фамилию отчима (от которого был брат Шурик), от которой охотно отказывалась. Кузнецова, Сури-

на. Но и разведясь с Суриным, осталась Суриной. Это странно. Наташа: «Неудовлетворенность своим девичеством». Слово бы всякий раз слышит голос учительницы: «Наумова, опять урок не выучила?».

Две фотографии на этажерке как будто имели к этому отношение. На одной, в цвете, женщина, в расшитом узорами халате, распростерлась на ковре — с распущенными рыжими волосами, вид роковой, губы полуоткрыты в томительном стенании, глаза отуманены неодолимой страстью. И почему-то это связывалось с лицом мужчины — на соседней, черно-белой. Фотографии были так расставлены, так повернуты одна к другой, что мужчина как бы смотрел на женщину, а она свои страсти обращала к нему. Лицо его было надменное, красивое барской красотой — и порочное. Лицо повелителя женщин. Почему-то казалось, он любил их бить, он к ним входил с плеткой. А они, пластаясь на ковре, целовали его колени и бьющую руку.

Я спрашивал, кто это. Мать и дочь мне отвечали одинаково:

— Один мужчина.

То, что он один и что мужчина, я и так видел. Больше никогда ничего.

Однажды на книжном развале возле Гостиного двора я увидел это же лицо. Продавался старый сборник статей или очерков 20-х годов, книжка была растрепана, страницы замусолены, излохматились, порыжели. И было групповое фото — в гимнастерках, в буденовках — героичекисты, раскрывшие какой-то заговор. Таковую книжку уже, наверное, не выдали бы в библиотеке, все эти герои, небось, уже давно были расстреляны. Сообщались фамилии, у «моего» была — похоже, что польская, с окончанием русских отчеств. У меня не было денег купить эту книжку, а я бы купил ее — ради одного лица. Я сразу выделил это лицо. Я его узнал. Но еще семь лет прошло, пока всплыло о нем что-то существенное.

Напечатавши в «Новом мире» повесть «Большая руда», я тотчас был принят в союз писателей, а сие значило также — принять законы и правила этого заведения.

Толя Гладилин, попавший туда лет на пять раньше, уведомил меня, что мне прежде всего надлежит познакомиться с генералом КГБ Ильиным. Я не придавал значения этой обязанности, но оказалось, это именно обязанность. При встречах Толя напоминал мне все требовательней:

- Зайди к Ильину, он тебя любит.
- Минуй нас любовь генералов КГБ.
- А напрасно.

Я сидел в ресторане писательского клуба. Московский наш секретарь, он же генерал КГБ, уже во многих книгах воспетый и многими авторскими экземплярами одаренный Ильин, пересекая «дубовый» зал с видом всегда озабоченного, которому не до наших грешных радостей, неожиданно свернул к моему столику. Я сидел один, попивал, ждал собутыльников. Он присел напротив.

- У меня к вам личная просьба.
- Пожалуйста.

— Я, кроме основных моих обязанностей, еще член редколлегии «Московского литератора». Но — не хочу быть «пустым стулом». Помните фельетон «Пустой стул»? О членах редколлегии, которые только числятся, а ничего не делают. Вот я бы хотел тоже организовать какой-нибудь материал. Вы плавали матросом на траулере. Могли бы вы написать пять страничек о ваших приключениях? Мне было бы приятно.

— Хорошо, я вам доставлю приятное.

— Спасибо. Только знаете... Пришлите тогда не в редакцию, а на мое имя.

Я уехал в Гагру, там писал роман «Три минуты молчания», а между делом накатал эти пять страничек, под заголовком «Методом собственной шкуры», и отослал Ильину. Это было единственное мое сочинение, напечатанное при совласти без единой поправки. Чуть не

полгода спустя я опять сидел там же, и он, проходя, наклонился ко мне, сияя аккуратным розовым пробором в белых волосах.

— Хочу вас поблагодарить.

— За что?

— За то, что вы не забыли мою просьбу.

А я, по правде, успел о ней забыть.

— Отличный очерк, — напомнил он, в улыбке показывая жемчужные фарфоровые зубы.

— А... Ну, я же вам обещал.

Он улыбнулся грустно.

— Мне тут многие обещают, но не всегда помнят.

За этим слышалось: «Меня тут уже не так уважают, как прежде. Обращаются, только если кому-то нужна квартира, машина, холодильник».

— Думаю, — сказал Ильин, — и у вас ко мне будет когда-нибудь просьба. Выполню так же аккуратно. Если, конечно, она будет выполнима.

Я был слегка в подпитии и решил, неожиданно для себя, воспользоваться моментом. Может быть, чтоб доставить ему приятное. Я знал, что он сидел и что его били в тюрьме. Кажется, даже сам Абакумов. Но, говорили, держался наш оргсекретарь стойко.

— Есть у меня просьба. Вы должны были знать одного человека...

— Лучше не здесь, — сказал он, оглядываясь по сторонам. — Зайдите потом ко мне.

В своем кабинете, уставленном шкапами, он, верно, чувствовал себя диспетчером всех наших писательских извилистых путей и причудливых интересов.

Я назвал ему ту фамилию — Масевич.

— Александр? — спросил он, секунду вспоминая. Имя совпало с отчеством первой моей возлюбленной. — Что конкретно вас интересует?

— Его судьба. Куда он, в конце концов, делся?

— Он был ликвидирован. Как многие тогда.

— Наверно, попал в общий поток? В тридцать седьмом?

— Не совсем так. Его расстреляли в тридцать девятом, уже не при Ежове, а при Берии. За крайнюю жестокость.

— То есть вообще-то жестокость допускалась, но не крайняя?

Виктор Николаевич моего вопроса не услышал.

Я спросил:

— А это правда, что он входил к подследственному в камеру с плеткой?

— Нет, неправда. В камеру он не мог войти ни с плеткой, ни без плетки. Но тем не менее плетка у него была. Висела в кабинете за шкафом. На гвоздике.

Я подивился своей догадке.

— Если захотите написать о нем, — сказал Ильин, — если это вас интересует по-серьезному, а не так... ну, и если, конечно, это будет, как нынче говорят, «проходимо», обратитесь ко мне. Я постараюсь вспомнить кое-что.

Он расчувствовался, стал рассказывать:

— Я видел, как люди... заслуженные люди... генералы... на коленях молили следователя — какого-нибудь лейтенантика — не покалечить их, когда он их пытается или бьет.

О Машке. В отряде. Я однажды сильно напился — выпил. Может быть, два литра красного вина. А Машка прыгнула через канаву — и я не усидел в седле, упал в эту канаву. И повод упустил. Так Машка около меня стояла до утра, пока я не прочухался.

Вдруг попросил:

— У меня к вам просьба. Давайте вместе выйдем из кабинета. Я хочу, чтоб нас видели вместе.

Рука у меня на плече. Секретарша сохраняла невозмутимость. Коллеги в приемной смотрели завидушими глазами.

— Так вы не пренебрегайте, воспользуйтесь, покуда я жив.

Но этим я уже не воспользовался. Сперва откладывал на потом. Сказать по правде, подробности жизни и карьеры отца Дважды Любимой уже не так интересовали меня. Я был занят романом «Три минуты молчания» и другим романом — с начинающей кинорежиссериссой. Потом женился неожиданно на другой. Еще потом — попал в диссиденты. Потом в эмиграцию.

То, что говорилось в казарме, к моей девочке не имело отношения. Там наши бугаи-второгодники делились опытом, приобретенным на каникулах. По их рассказам выходило, что отказов они не ведали. И почему-то им отдавались только девственницы. Следовал неперенный рассказ, вслед за прелюдией, с вещественными доказательствами на простыне. И мы их прозвали — «целколомы».

Под 8-е марта кто-нибудь из них говорил мечтательно:
— Ох, сейчас по всей стране целки трещат.

Юра Михайлов пожаловался, что не может себе представить Владимира Ильича совокупляющимся.

У любимой есть все, что полагается женщине, но только никак не называется. У нее есть только глаза и губы, а все остальное не называется.

Гарнизонная красавица не может быть на любителя. Она неотразима и безусловна, как воинский устав.

Собрание было в читальном зале библиотеки. Ее на два часа закрыли. Стало быть, книг не выдавали.

Что я был у Зошенко до, с этим я даже здесь согласиться не мог. Но Мякушко сказал авторитетно:

— У особого отдела есть точные сведения, что они были у писателя-пошляка Зошенко до Постановления и доклада товарища Жданова.

И еще добавил, что был я и мой приятель из другой роты, Панарин, и еще один человек, о котором можно не упоминать, поскольку он не из нашего училища.

— А кто же все-таки?

— Ну, зачем мы будем?.. Я ж говорю — не из училища.

И усмирил меня взглядом.

— А пусть он сам скажет, когда они там побывали.

Я подтвердил. И, похоже, страшно разочаровал моих одноклассников. Дети чекистов, они смолоду готовились к охоте на людей, а тут было похоже, что добыча ушла из капкана. Но она должна была по крайней мере отгрызть себе лапу.

Спрашивали, зачем мы пошли.

— Мы писали юмористические рассказы.

— Ну, и что?

Никак не складывалась фраза, что хотели, чтоб он с нами поделился опытом. Сказал лишь конец ее:

— Поделиться опытом.

Все заржали. Веселая была у меня рота.

А в голове у меня все вертелась фраза из Маяковского: «Как трактир, мне страшен ваш страшный суд...». У меня в роте были враги и были приятели, друга настоящего не было, друг Гена был из другой роты, но все же — как странно, что ни одному не пришло в голову, что нет же никакого криминала в том, что приходят к писателю, еще не... как бы это сказать деликатнее? — еще не объявленному персоной, нежелательной для посещения. И тут одно могло быть объяснение — что никто не поверил Мякушке.

Никакая сила не заставила бы меня назвать мою девочку. Я бы скорее умер.

— Ну зачем это вам надо, кто был третий? — спросил Мякушко.

— А может, она какая-нибудь контра? — спросил Толя Ланшиков из 5-го взвода, будущий литературный критик.

И раздалось всеобщее веселое ржанье. И, странное дело, после этой дурацкой реплики уже как-то не о чем стало спрашивать — точно бы всем вдруг стало ясно, какой, в сущности, ерундой они тут занимаются.

Перешли к оргвопросам — с занесением, без занесения. Никогда не мог понять, в чем разница. А тогда не мог понять, за что выговор.

— За чтение. И скажите спасибо, что так легко отделались.

А ведь не отделался.

После собрания Мякушко сказал моей матери:

— Влепили строгача с занесением. Я не мог удержать.

И почему-то пристально посмотрел на нее.

Шесть лет спустя дело матери — еще только партийное, ибо не может быть дела уголовного у коммуниста с партбилетом в кармане. Набор был стандартный: Александрович поет хорошо потому, что окончил итальянскую школу вокала (преклонение перед Западом). Притеснение евреев (извращение линии партии в области национальной политики). Среди прочего: искала связь с бывшим мужем, находясь с ним 12 лет в разводе (ну, это привет от Мякушко). И — вдохновила сына-суворовца на поход к Зошенко. Поначалу формулировка была: «Не сообщила в партийные органы о том, что ее сын и приятель сына посетили отщепенца Зошенко». Но так как было все же неудобно обвинить мать, что не настучала на собственного сына (и, может быть, опасались, что вышестоящая инстанция это снимет), то формулировка продвинулась еще на одну ступень: «вдохновила на поход».

Мать робко напомнила:

— Но ведь они его посетили до Постановления.

Члены комиссии весело переглянулись. Председательствующий ответил жестко:

— Они солгали. Смотрели в глаза своим товарищам и лгали.

Долгие годы виделось мне отчетливо, как дочка чекиста, расстрелянного за крайнюю жестокость, проходит мимо меня по длинному сумрачному коридору.

Она опоздала прийти по вызову часика этак на полтора и пробыла за теми дверьми до странности недолго. С тем обмиранием сердца при виде любимой, какое лишь в юности бывает, я стоял за каким-то огнетушителем или пожарным краном, прислонясь к стене. Она

прошла, не повернув ко мне головы, только бросила через плечо:

— Тряпка!

И это осталось в душе тем колюще-режущим предметом, который не дает о себе забыть и саднит по сии дни. И кажется мне, и тогда показалось, что предпочтительнее были бы плац, общее построение и барабанный бой.

Здесь я попрощаюсь с некоторыми персонажами этих глав — с одними навсегда, с другими временно.

Другу моему Геннадию не довелось учиться в Политической академии и брать в руки судьбу страны. Он окончил офицерское училище в Бабушкине, под Москвой, и служил замом начальника заставы на границе с Норвегией. Мы переписывались, продолжая и развивая наши темы, для чего, разумеется, применяли свой тайный сленг. В марте страшного 1952 года, поздним вечером, я возвращался электричкой в Петергоф. Через два купе окликнул меня мой бывший преподаватель-историк, Пипин Короткий, и спросил громко, чуть не на весь вагон:

— Как ты пережил смерть друга?

— Какого?

— Да ведь Генаша-то — погиб.

Дома сказала мать, что знала это уже с неделю, не хотела меня расстраивать. Бывший Генкин офицер-воспитатель, командированный на похороны с венком от училища, уже вернулся с подробностями и фотографиями.

Гена вез своих солдат в кузове грузовика; они сидели низко на скамьях, а он стоял у кабины, к ним лицом, спиной к движению. При въезде на заставу часовой то ли недоподнял, то ли рано опустил шлагбаум. Пятнадцать солдат внимательно смотрели, как полосатое бревно надвигается на затылок лейтенанта, и ни один не крикнул: «Берегись!». (Мать не удержалась процитировать из любимого Пушкина: «...Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроторный инвалид».) После удара, сломавшего два шейных позвонка и основание черепа, Гена еще прожил

четырнадцать часов, но уже без сознания. Он даже не сто-
нал — и, значит, смерть его была мгновенна и легка.

Я не прощаюсь с капитаном Мякушко — через шесть лет он состряпал дело моей матери по статье 58.10. — он-то попал в академию, Военно-юридическую, и это была его то ли курсовая, то ли дипломная работа. Он ее выполнил не вполне успешно: просил часть первую — 25 лет, а дали по части второй — только 10.

Я не прощаюсь с «Дульциней», нам еще предстояло встретиться, ведь она в моей жизни — Дважды Любимая. Здесь — только несколько слов о ней.

Три года спустя — я уже был студентом университета — моего сокурсника и нового друга завербовали быть при мне стукачом. У него не хватило духу отказаться, но хватило — открыться мне. Со слов шефа — того же неутоми-мого Мякушки — он мне рассказал, о чем был разговор за теми дверьми.

Там они спросили ее:

— Ваши друзья утверждают, что вы втроем посетили этого Зошенко до Постановления и доклада товарища Жданова. Как бы вы это прокомментировали?

Гордая полячка спросила:

— Они так говорят? Ну, значит, они были до. А я была — после. Так что не могу ничего прокомментировать.

— Ладно, — сказали они, — ступайте, милая девушка, с богом. Ваших поклонников мы накажем, а вы идите.

— Вы их, надеюсь, не расстреляете?

— Мы разберемся. Без вашего участия.

— Конечно, — сказала она. — Я просто не представляю себе, чтобы вы да не разобрались. И даже — без моего участия.

Перед моим отъездом в Чужеземие, бродя по училищ-ному городку, я между прочим зашел в тот подъезд, где у меня было лирическое объяснение. Мать предсказала: «Она тебя поцелует первая». Так это и случилось. Но вот что поразило меня: я не мог теперь пройти, не пригибая

голову, к тому окошку под лестницей, заляпанному известкой. А я тогда стоял там во весь рост и даже в фуражке. Какие ж мы были маленькие! И как нам в головы взбрело, что Зошенко нас испугается.

Напоследок — о подполковнике Гордиевском. Еще дважды мы с ним встретились, он мне вручал аттестат зрелости и освободительную медаль, а в нашем кинозале прочел со сцены, не без удовольствия, две-три цитаты из моего выпускного сочинения. «Но, — добавил он язвительно, — даже у этого признанного мастера слова встречаются ляпы. И на старуху бывает проруха». И, к общему смеху моей роты, прочел еще две-три цитаты, за которые мне по сей день неловко. Впрочем, и за похваленные тоже. Я благодарен ему, что он тогда нас отстоял, хоть и ценою слома, а еще больше за то, что он решил за меня, что я не гожусь «для нашей системы» и лучше мне избрать другую профессию. Краем уха я слышал, что он не одобрил арест моей матери в 1952 году. Правда, он говорил это в 1956-м, после ее реабилитации. Не знаю, дослужился ли он до генерала, но если нет, то, надеюсь, не наш «поход» повредил его карьере и что умер он своевременно. Он умер до — и не успел узнать, что его сын Олег, окончив школу военной разведки и служа «под крышей» нашего посольства в Лондоне, был там перевербован агентами Intelligence Service, в этом заподозрен, вызван в Москву и допрошен с применением наркотиков, а в 1985 году тайными путями, о которых пока еще говорить нельзя, вывезен в Англию и теперь добивается того же для своей семьи. Я искренне рад за Гордиевского-старшего, что ему не пришлось мучиться вопросом, опозорил его сын или не опозорил погоны доблестной армии нашей. Впрочем, у нас теперь любят перебежчиков.

Ибо говорит Писание: «В небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о семи не согрешивших праведниках».

О некоторых деталях этой истории вспоминать и горько, и стыдно, но я вижу, я вижу, как идут по каналу Грибоедова два мальчика в черной униформе с голубыми погонами и девочка в цветах польского флага, идут, холодея от страха, но также и от сознания, что иначе они поступить не могут. Человеку плюнули в лицо, и брызги этого плевака попали в них. Не отговаривайте их от этого пути, не говорите, что этот путь ошибочен и бесполезен.

Пишет Каверин: «В лице Зошенко нашей литературе было нанесено неслыханное оскорбление». И это так. Но маленькая слабая попытка воспротивиться оскорблению все же была предпринята. Она ничего не изменила в судьбе оскорбленного, разве что оставила теплый след в душе.

И вот из могилы, устами и пером другого писателя — и тоже из могилы — он возвратил нам этот поступок, от которого по малодушию мы отrekliсь.

Так, стало быть, не погибает бесследно добро, которого, как известно, люди не прощают, но совершает свой круговорот, пробивается своим неотклонимым путем. Так еще же не все потеряно, господа мои! Еще не только не вечер, но даже не сумерки, и рано хоронить надежды. Еще жива наша скорбная планета, еще она *вертится*, окаянная!..

Конец первой части

Лев Аннинский

Обреченное рыцарство

ВЕРТИТСЯ, ОКАЯННАЯ*

Эпилог, оказавшийся прологом

Эпилог — потому что написан под самый конец жизни, и не дописан — оборван смертью, вроде бы ожидавшейся (по диагнозу), но неожиданной (по жаркой жажде дорассказать).

А пролог — потому что воскрешены в нем события самого начала сознательной жизни — еще до первой строки.

А все-таки успел рассказать главное — из той давней истории.

А ВСЕ-ТАКИ...

А все-таки на протяжении сорокалетнего крутого присутствия Георгия Владимова в русской литературе — вертится, ускользает от окончательного приговора одна история, давняя, вроде полужабытая, но по-прежнему саднящая душу стыдом и горечью: о том, как после известного ждановского доклада и Постановления ЦК, где Михаил Зощенко объявлен был пошляком, два молодых суворовца отправились к писателю выразить сочувст-

* Часть этой работы была написана для четырехтомного Собрания сочинений Г. Владимова, вышедшего в 1998 году в издательстве «NFQ/2 Print». Для настоящей книги дополнена в связи с посмертной публикацией последнего романа Г. Владимова «Долог путь до Типперэри», напечатанного в журнале «Знамя» в 2004 году № 4.

Вторая часть написана и собрана (письма) в 2003 году сразу после его смерти.

вие, и с ними — что немаловажно — красавица девушка, чья мама преподавала в том же суворовском училище.

Может, нынешним тинейджерам, опившимся свободой, словно пивом или пепси-колой, эта депутация покажется смешной, но тогда, в 1946 году, эти трое пошли по минному полю. И знали это.

Всю жизнь Владимов возвращается к этой истории, хочет расставить в ней окончательные акценты, но: то ли найти тона не может, то ли всей правды сказать себе не решается, то ли эту «всю правду» объять не в силах. Так и не дописана история. Собрана в отрывках и набросках и вот теперь, после смерти автора, опубликована как есть. (Речь идет о неоконченном романе Г. Владимова «Долог путь до Типперэри». — *Примеч. ред.*)

Некоторые фрагменты выписаны филигранно, чувствуется патентованная в дознании фактуры владимовская рука. Например, описание быта малолетних суворовцев, эвакуированных в Кутаиси: начищенные бляхи, растянутые клеши. Отцы-командиры, дядьки-сержанты... Эти главы перекликаются с «Очерками бурсы» Помяловского.

Грузия в этих главах хоть и прописана скользкими штрихами («Обоюдная чуждость и вражда... За что мы их не любили, не понимая и не общаясь с ними?... За что они молчаливо ненавидели нас?») — напряжение военного времени встает со дна этих воспоминаний и, несомненно, помогает кое-что домыслить и в нынешних межнациональных счетах... Но в повествовании Владимова этот «бурсацко-кутаисский» пласт нужен не сам по себе. Ощущение такое, что без этого очерка о волчатах, загнанных в «чуждый» край и накрытых «шинелью Дзержинского» (Владимов трезвым и жестким взором отлично видит, что в Суворовское училище МВД, под опеку Берии и Абакумова, дальновидные родители загодя отдают своих отпрысков, чтобы со временем те не угодили по мобилизации на фронт), многого не понять. Так вот: похоже, что описание этой бурсы 1944 года необходимо Владимову только затем, чтобы объяснить душевный склад воспитанников, которые в 1946 году, передислоцировавшись с училищем под Ленинград (то есть перейдя отчасти под руку Жданова), составили «фон» для описания отчаянно-героического поступка тех троих, что пошли выразить сочувствие «пошляку Зошенко»...

Сплошного описания, как я уже сказал, нет. Фрагменты, наброски, детали. Будто свинец повисает на кончике пера. Так и не закончено. Извлечено из письменного стола после смерти. Не успел?

«ИЗ ШИНЕЛИ ДЗЕРЖИНСКОГО»

Вообще-то Владимов всегда работал медленно. Годами шлифовал тексты, которые потом потрясали людей, меняя не только литературную ситуацию, но психологический настрой поколений. Во всяком случае людей моего поколения.

Но тут что-то из ряда вон выходящее. Если задумана, как оговорился Владимов в одном интервью, *автобиографическая трилогия*, причем только три ее эпизода («рассмотренные внимательнейшим образом») должны потянуть на 600 страниц, то на сколько страниц потянула бы вся трилогия? И сколько лет работы потребовала бы? Малосбыточное получается дело. А уж когда пунктуальные немецкие медики поставили диагноз и отмерили Владимову оставшийся срок жизни в месяцах и неделях, можно было не строить ни иллюзий, ни планов. Слишком долг оказался путь к полному жизнеописанию... «Долг путь до Типперэри» — этой веселой строчкой из популярной некогда английской солдатской песенки Владимов озаглавил туманный горизонт общего несбывшегося замысла. Зато четко озаглавил ту часть его, которая и ощущалась как главная: «Преступление».

То самое преступление, которое совершили в 1946 году отважные суворовцы. И растроганный Зошенко рассказал об этом изумленному Каверину. И изумленный Каверин упомянул в своем прощальном романе «Эпилог». Публикацию которого в далекой ленинградской «Неве» недреманным оком засекла жена Владимова Наталья Кузнецова и, отчеркнув нужное место, положила перед ним. А он как раз собирался, расположившись перед телевизором в своем германском доме, смотреть репортаж из Москвы об историческом свержении Советской власти. Точнее, о крахе так называемого путча. Еще точнее: о том, как подехавший крановщик захлестывает петлю на шее Железного Феликса, чтобы везти его на свалку Истории.

Увидев это, бывший выпускник Суворовского училища Министерства внутренних дел, ныне житель «заштатного» германского городка Нидернхаузена, не удержался от каламбура:

«Мои коллеги все поголовно вышли из гоголевской «Шинели», а я — из шинели Дзержинского».

Чтение каверинского романа, где юные суворовцы стоят на вытяжку перед Зошенко, перемежается таким образом с созерцанием телеэкрана, на котором Железный Феликс висит между небом и землей. Возникает контрапункт, по фабульной видимости случайный, по сюжетной значимости незабываемый, а по таинственному сверхсмыслу и вовсе завораживающий: единой «петлей» 1991 года охлестнуты и связаны распадающиеся от «стыда и горечи» воспоминания о проклятом эпизоде 1946 года.

В НУЖНОМ МЕСТЕ В НУЖНЫЙ ЧАС

Железный диссидент четко держится присяги — но не той, которую принял когда-то перед строем суворовцев, а той, которую озвучил в прощальной отповеди генсеку Андропову, покидая ненавистную тоталитарную державу. И теперь, по прошествии времени, «жарко, до пота на лице, завидует этой толпе и ощущает как одну из самых больших потерь своей жизни, что не оказался в те дни в Москве, не выходил останавливать танки маршала Язова, просовывая меж гусеницами и катками арматурные прутки, не прожил счастливейшую ночь на баррикадах у Белого дома». О да, тут нет рисовки: уж он-то, автор «Большой руды» и «Верного Руслана», рассказал бы на баррикадах что-нибудь не менее зажигательное, чем таможенные приключения музыканта по имени Слава, вряд ли знавшего, в какое место танка надо совать прутки. Однако музыкант поспел-таки, а прирожденный боец не поспел к Белому дому на похороны Советской власти, или, как формулирует в германском Нидернхаузене Владимов, «нашего Тысячелетнего Рейха».

Жаль: всегда умел оказаться в нужном месте в нужный час, а тут сплеховал.

А шанс был. Было приглашение в Москву как раз на 19 августа — поучаствовать в Конгрессе соотечественников. Не поехал «из гадливого опасения» оказаться «в одном поезде» рядом «с кем-нибудь из второй волны эмиграции».

Тоже не случайный мотив. Вечное русское взаимное анафемствование: «до Твери вместе», а там — никто ни с кем не хочет сидеть рядом: ни в поезде, ни на конгрессе, ни на одной грядке. Вот раскольники-то неисправимые! И моделирует тут Владимов не только свой раздрай с энтээсовцами, но и нечто глубинно общее с соотечественниками, а именно: готовность после победы над тоталитаризмом устроить на его обломках очередную честную смуту, смирать которую будет очередной же проклятый тоталитаризм.

ПРОТИВОХОД

И все-таки не это общее для всех русских бунтарей-раскольников качество души — самое интересное, что обнаруживается на первых страницах последнего владимовского романа. Существеннее, на мой взгляд, другое — уникальное, необъяснимое с точки зрения присяжной политической планиметрии душевное движение при созерцании того, как улюлюкающая толпа расправляется с памятником Дзержинскому.

«Наш первочекист... не крутился в петле и вообще сохранял некое последнее достоинство. Уходя с этого праздника жизни, он был не смешон и не жалок, он с гордым и строгим лицом принимал все совершаемое над ним».

Этот потаенный противоход в эмоциональной оценке события не случайно, я думаю, перекликается с другим эпизодом, касающимся маршала Маннергейма: маршал, отгородивший от нас Финляндию такой толково сделанной линией обороны, что преодоление ее стоило нам «немыслимых потерь», заклятый враг Советского Союза «от нас, посрамленных, удостоился военного ордена». Значит, — не без гордости заключает Владимов, — вождь народов не так догматично относился к завету великого пролетарского гуманиста уничтожить врага, который не сдастся. Бывает, что врага за это и награждают.

Есть, стало быть, рыцарский кодекс чести, который выше любых догм «нашего унылого и постылого времени».

Это уже чистый Владимов. Кристаллическая душа. Кристальная.

Не эту ли душевную «структуру кристалла» удерживает на протяжении всей жизни писатель, изгнанный с родины, и не потому ли на восьмом десятке вспоминает он себя — пятнадцати-

летнего суворовца, ибо именно тогда впервые попробовал он выстоять душой в ситуации, где под ударом оказалась его честь?

Не литературные достоинства Михаила Зощенко. А именно честь.

«ОН ХОТЕЛ ВЛАСТИ, А Я — ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЛАСТИ»

Он — это Генка Панарин, однокашник-суворовец, такой же очарованный сочинитель, с которым вместе писали утопический роман про Типперэри, а потом узнали в справочном бюро адрес Зощенко и рванули к нему с визитом солидарности.

Чего поперлись?

Ответ — в ходе дальнейшей (после визита) разборки в кабинете начальства:

— Писали юмористические рассказы, хотели набраться опыта.

Лукавят во спасение. На самом деле отлично знали, почему пошли. И на что шли. «Шли, как на казнь, к которой сами себя приговорили». Восторг страха! Им, в сущности, совершенно не важно, хорошо ли пишет Зощенко и что он там вообще пишет. Они себя испытывают. «Порыв — противодействие. Чем больше его ругали, втаптывали в грязь, тем больше хотелось — пожать ему руку, высказать уважение». Иначе... тут Генка смущенно усмехался, — «иначе перестанем себя уважать».

Генка смущается оттого, что еще мгновение — и надо переходить на высокий штиль. Честь и прочее.

В сущности, это испытание достоинства в чистом виде. Независимо от доктрин и позиций. Доктринами все это потому и прикрывают, что нет охоты называть вещи своими высокими именами.

У отцов-командиров это как раз запросто — нажать на ту самую сокровенную педаль: «А знаешь ли ты, что такое честь офицера?»

Что же получается? Честь против чести. Ты думаешь, что речь идет о твоей чести, а на самом деле — о чести училища. У училища — тоже честь.

Ради спасения чести училища лукавцы-экзекюторы предлагают выход из положения: сказать, что сходили к Зощенко не после, а до Постановления ЦК. Разница — пара дней. Результат — диаметральный.

«Тут одно из двух. Либо они туда пошли до Постановления, и тогда их просто надо наказать примерно — за то, что читали

его сраные книжки. Либо они были после — и надо их сажать, а училище — расформировывать».

Так это формулируется на уровне министра Абакумова. На уровне отцов-полковников и дядек-сержантов формулируется еще более красочно: перед строем сорвут погоны. Может, даже под барабанную дробь. Это и будет «примерное наказание».

Все дальнейшее происходит в контексте ожидаемого позора. И то, что пошли сознаваться, говоря себе, что на это тоже требуется мужество. И что Галилея вспомнили: отрекся старик, а потом сказал: «А все-таки она вертится!» Можно ведь и наоборот: к Зоценко сходили, а что потом отреклись, он этого и не узнает. «Иногда нужно быть мужественным, чтобы поступить как трус». Нет, пожалуй, «трус» — не из той оперы.

А все-таки... когда срывают погоны под барабанную дробь, — так их срывают с труса или с храбреца? А избежать такого позора — это трусость или доблесть? Тем более что начальство вовсе не хочет ни экзекуции, ни позора, ни отречения, а только крошечной хитрости, в тысячу раз меньшей, чем галилеевская: выкрутиться, подтвердив, что были у Зоценко чуть-чуть раньше: не после, а до Постановления. Разумеется, органам лучше знать, когда они были.

«Я ПОДТВЕРДИЛ...»

Поражает лаконичность, с которой Владимов полвека спустя воспроизводит свое тогдашнее признание.

Впрочем, следом идет пассаж, боюсь, придуманный задним числом: «...И, похоже, страшно разочаровал моих однокашников. Дети чекистов, они смолоду готовились к охоте на людей, а тут было похоже, что добыча ушла из капкана...»

Значит, это было не вынужденное признание, а что-то вроде военной хитрости? Но вряд ли однокашники так уж жаждали крови. В большинстве-то, наверное, сочувствовали «попавшимся». Скорее всего, хотели, чтобы все обошлось «по-легкому». То есть чтобы «подтвердил» — и дело с концом.

Владимов выдавливает из себя это слово через спазм. Через пятьдесят лет этот спазм чувствуешь. Горечь и стыд охлестывают душу в тот момент. И на всю жизнь.

Я полагаю, что горечь и стыд, а еще более — невозможность от них освободиться — выдают качества души, которые как раз

и отличают писателя от беллетриста. Умелый беллетрист не казнится, казнится великий писатель.

А все-таки и это еще не финал самоказни.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ

Есть еще третье действующее лицо в согрешившей троице: та длинноногая девушка, у которой мама (как и мама Владимова) преподает в училище; отец девушки погиб, ее вырастил отчим.

Поскольку девушка не является курсантом и погони с нее сорвать невозможно, то и каяться ей не надо.

Она и не кается.

«Прошла, не повернув ко мне головы, только бросила через плечо:

— Тряпка».

Это и есть приговор. Последняя инстанция. Легче было бы плац, общее построение, барабанная дробь...

Что же это за воительница такая, что дает уроки чести?

— А может, она какая-нибудь контра? — подает голос «Толя Ланшиков из 5-го взвода».

Реплика первоклассная, недаром она вызывает «всеобщее веселое ржание» (чем, кстати, доказывается, что одноклассники настроены не столько на казнь, сколько на цирк). Но реплика эта еще и драматургически пронизательна (что делает «Толе Ланшикову» честь как будущему литературному критику, что Владимов тоже вскользь фиксирует). В самом деле, кто может себе позволить так демонстративно выказать презрение к загнанному в угол грешнику за то, что тот кается? Это уж такая должна быть потрясательница основ, такая антисоветская пифия, такая изобличительница «нашего рейха»...

Много лет спустя Владимов выясняет, кто она. Оказывается, дочь человека, расстрелянного чекистами. Логично, да?

И тут — последний доворот прицела: он и сам был чекист. Да ка-кой! «Его расстреляли уже при Берии. За крайнюю жестокость».

Вот откуда наследственность.

Почему так врзалась в душу эта несгибаемая гордычка? Первой же фразой врзалась: «Как ты посмел меня уступить!» — когда Гена ее чуть не увел поначалу. А потом подняла до своего неприступного уровня и... сбросила в ничтожество — когда он

«подтвердил»... Не потому ли и стала она, как можно догадаться, первой его непреходящей любовью, что он почуял в ней ту кристаллическую твердость, о какой мечтал сам?

В доктринах, на которых, видимо, отточила дух эта героиня, ему пришлось «разочароваться». Как и в доктринах противоположных.

Значит, честь, поставленная во главу угла, от доктрин не зависит?

ИСПРАВЛЕННАЯ РОДИНА

«...Это сейчас я такой умный, по прошествии времени и многих разочарований», — скупко роняет Владимов, вспоминая (в 2001 году?), как он в 1991 году, сидя перед немецким телеприемником, рвался скидывать памятник Дзержинскому.

Разочарования — хорошие ступени к мудрости. Особенно если начинаешь творческий путь со «смутной мечты о *другой родине*». Я имею в виду ту страну Юнгландию со столицей в Типперэри, которую сочинили два юных суворовца.

«Все, что не устраивало нас в нашей родине, мы исправляли и вносили исправленное в родину своей мечты».

Наша родина в это время тоже пыталась исправить положение. Писала на стенах: «Черчилль, сука, открывай второй фронт!» Надпись увековечена в набросках к роману.

Другая родина светится в воображении. Путь до нее долог.

На полпути — старик Галилей. Помог решить проблемы. Подсказал формулу.

«Еще жива наша скорбная планета, еще она *вертится*, окаянная!»

Это последние дошедшие до нас слова писателя Георгия Владимова. Вертится окаянная — уже без него. Вертится на той единственной оси, которую он признавал. На чувстве чести.

«Хочешь жить — умей вертеться», — повторяем мы себе повседневно.

Чтобы не завертеться нам окончательно, надо, чтобы кто-то знал другую ось.

Тогда, оборачиваясь на прожитую жизнь, со всеми ее потерями, — скажешь, стиснув зубы: «Повезло».

2004 г.

КРЕПОСТИ И ПЛАЦДАРМЫ

Путь Владимова-писателя

«Нам повезло вступить в литературу, когда слово ценилось так, что за него назначались, в зависимости от качества, тюремные сроки, когда встречалось со вниманием каждое новое имя и едва ли могло удержаться надолго имя случайное».

Г. Владимов

ПОВЕЗЛО?

Он упорно говорил: «Повезло», оглядывая на седьмом десятке свою жизнь — пятьдесят два года в СССР (уточним — сначала на Украине, потом в России), последующие — в ФРГ, в изгнании.

Повезло: родился в начале тридцатых, в тоталитарной Державе. Пережил войну, рано повзрослел... Потерял отца. Но в Державе не потерялся и не пропал. Выучился в Ленинградском университете на юриста, а до того получил в Суворовском военном училище отменное воспитание.

Повезло: когда пришла пора нести куда-то первую прозу, «нести» не пришлось, ибо уже был в числе сотрудников лучшего журнала 50-х годов — «Нового мира». Добавлю: а за десять лет до того, в 1946 году, прочтя ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», отправился, не сняв погон, к Михаилу Зощенко выражать сочувствие. Попал под «наблюдение». В конце концов власти нашли ответчицу: мать (в том же Суворовском преподававшая) угодила в 1952 году под арест. Вышла на свободу только тогда, когда умер Сталин.

Повезло: первая же повесть «Большая руда», подхваченная ста двадцатью статьями и рецензиями, принесла всесоюзную славу... Добавлю: продолжением славы стало то, что вторая повесть — «Верный Руслан» — пущена была по рукам еще до опубликования, обросла легендами и в конце концов уплыла за границу. В результате чего (а впрочем, и безотносительно к тому) роман «Три минуты молчания», чудом проскочивший в совет-

скую печать на последнем всплеске «оттепельной» волны, был встречен в официальной прессе «бурей негодования».

Повезло (продолжу эту цепь): отъезд за границу и утеря прямых связей с русской читающей публикой не пресекли этих связей вовсе. Русская публика привыкла к тому, что каждое новое слово Владимова надо ждать годами, но становится слово событием.

Событием стал роман «Генерал и его армия»: донесенный до России уже на волне Гласности, он вызвал такой всплеск эмоций, что одни отечественные критики объявили Владимова чуть не адвокатом предателей-власовцев и апологетом немецко-фашистских захватчиков, а другие отечественные критики присудили ему престижнейшую международную литературную премию.

Повезло... Огромной мощи писатель, чья мировая слава остается незыблемой со времен первых публикаций в Тамиздате, один из лидеров поколения «оттепели», вошедший в число крупнейших русских прозаиков XX века, всю жизнь — словно бы в тяжбе... только не вдруг поймешь, с кем и с чем. С «ополоумевшим веком», ему доставшимся? С «режимом», его отторгшим? Или с «народом», который надо все время отделять в мыслях от «режима»: народ кричит в спину отщепенцу: «Нечего бунтовать!» — и он же, народ, вглядывается в лицо отщепенца полными любопытства глазами.

Судьба Владимова-писателя таит в себе тяжелую драму, смысл которой выходит за пределы того или иного эпизода литературной жизни, будь то издание запрещенной повести за рубежом, «кошачий концерт» вокруг романа или прощальное письмо Генсеку, выдержанное в стиле безукоризненной ледяной корректности.

Понять драму можно — вчитавшись в тексты.

ЛОБАСТЕНЬКИЕ, ОЧКАСТЕНЬКИЕ

Есть, однако, у вдоль и поперек читанного Владимова текст, которого никто не читал. По той причине, что он не был опубликован ни в пору, когда был написан (в 1981 году), ни позже, вплоть до четырехтомника 1998 года. И еще по той причине, что текст этот представляет собой пьесу, а пьесы пишутся для того,

чтобы по ним ставили спектакли, а по пьесе «Шестой солдат» спектакль так и не был поставлен, — написанная по заказу армейского театра, она была зарублена армейским цензором за пацифизм. Так ее читатели и не прочли, и зрители не увидели. Между тем в пьесе этой есть фраза, ради которой я и поминаю ее здесь, — фраза, как я думаю, ключевая к драме владимовской души. Во всяком случае, для первых актов. А начинать надо, естественно, с первых.

Лобастьенькие-очкастьенькие... им чтоб все полегче... А жизнь — она не праздник. Она — вещь сволочная.

Пятидесяти лет от роду, за два года до изгнания, он обронил эту формулу. В ней — все. Несдающийся дух и не поддающаяся пониманию реальность. Простодушный ум и лукавая простота. Честь и подлость. Все, что изначально мучило и хранило в жизни. Сиротство и гибель отца в военные годы. Эвакуация — спасение от немцев, захвативших Харьков. Железная хватка режима в Суворовском училище. Спасительное тепло матери, интеллигентки, в том же училище преподававшей родную словесность. Арест матери в последние сталинские годы. Спасительная «оттепель». Чувство России, спасенной от вражеского нашествия. Чувство России, дошедшей до Мирового океана, ветры которого долетают до Ленинграда через Маркизову лужу. Юридический факультет в университете имени товарища Жданова. Мечта — из этой самой юриспруденции вырваться в литературу. Близость осуществления, переезд в Москву, работа в отделе прозы полузапретного либерального журнала «Новый мир». Немыслимость осуществления, кружение около прозы — очерк, публицистика, критика литературная, критика театральная. Командировки, журналистские задания, будни великих строек, Курская магнитная аномалия...

НА ВСЮ СКОЛЬЗЯЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Из прозаических опытов, предшествующих «Большой руде», Владимов сохранил для своих собраний один только короткий рассказ 1960 года, полный неопределенных предчувствий и неуверенных надежд: «Все мы достойны лучшего».

Чего — лучшего? Не вполне ясно. Но из «сволочной» жизни упрямое самосознание, несущее какую-то потаенную задачу,

сразу бесповоротно выпадает. Душа сконцентрирована на своем. Однако странно сцеплена с той реальностью, которую сама же и отталкивает. Тут уже брезжит писатель бунта и плена, рубежей и упоров. Но пока это чистейшее шестидесятничество — по стилю и пафосу. По расстановке сил и по романтической сверхзадаче: над этой реальностью — взмыть.

Вчерашний студент, порвавший со своей возлюбленной, — типичный шестидесятник (впрочем, еще не получивший от литературных критиков этого дурацкого имени). Перед ним — выбор. Стать «как все»: начать карьеру, надеть модные шмотки, обзавестись связями. Или — послать все это к черту и искать свое предназначение. Которое неведомо. Ему — неведомо, а «всем» вокруг — ведомо. «Все смутно чуют его потаенное отщепенство и вежливо отделяют его от себя («отменяют приглашение»... «вы же на лыжах»... очень скоро герою «Большой руды», крутому шоферюге, от ворот поворот укажут куда более внятно).

Но крутого шоферюги еще нет. Есть «мальчишка, не знающий жизни и никого не желающий слушать». Идеалист из спасенного в войну поколения. Он «не принадлежит земле, он хочет в небо». То есть — к своим «тетрадам и записным книжкам». Он чувствует, что в глазах работяг, которые спешат утром на электричку, он — бездельник. Как и в глазах «начальников», улетающих в карьерную командировку.

«Лобастенький-очкастенький» скользит на лыжах к даче, чувствуя ненавидящие и презрительные взгляды с обеих сторон: и из набитой электрички, и из взлетающего лайнера, — типичный идеалист-шестидесятник, вбежавший в литературу по «оттепельной» лыжне...

Впрочем, нет. Не совсем типичный. Жесткий внутренний рубеж изначально отделяет владимовского героя от шумных острословов его поколения. Он вовсе не намерен делить с ними их настроения: их прекраснодушие, их бессилие, их неприкаянность. И их браваду. Он выплачется ночью в одиночестве, зажав зубами подушку, но «лоб» и «очки» он им не покажет. И потому он — «на лыжах»: спортсмен, крепкий человек. Он знает, как профессионально класть мази. Под всю скользкую поверхность. Потом под пятку. Потом под желобок.

Тут впервые выявляется чисто владимовский тип защиты, своеобразное «клеймо мастера» — скрупулезная точность описаний, жесткий стиль, противостоящий песенно-ералашному,

бурно-романтическому, подначно-ерническому стилю Гладиллина, Аксенова, Войновича... Владимов подчеркнуто реалистичен. И к школярам-студентам отнюдь не приписан намертво.

Между прочим, «лобастенький-очкастенький» из его позднейшей комедии — солдат. Но — ракетчик. Технар. Интеллигент, которого захомутали.

Интеллигент никогда не смирится со своим хомутом. Со своей слабостью. С очками на предательски светлом лбу. Он так не дастся. За баранку схватится, за штурвал.

С ТЕМИ ЖЕ ВОЛНАМИ...

Так что это не парадокс, что главными героями Владимирова становятся не студенты с «тетрадами и записными книжками», а «люди дела». Просоленные северные капитаны, причем не песенно-парусные, а приводненно-практичные: пропахшие сельдью и мазутом. Тяжелые и скорые на руку. Закон психологической компенсации: тут уже не выясняют отношений, не бегут в гордое одиночество на хорошо смазанных лыжах, не «обижаются» в тайной надежде на встречное великодушие. Тут рвут резко и круто. Краснолицый «рыбник» в толстом, домашней вязки свитере, торчащем из-под кителя, — отрицание алых парусов, которыми бредят шестидесятники. И фактура владимовская, скрупулезно проработанная и как бы нарочито пригашенная, серо-стального цвета — для знатоков: кухтыли, поводцы, роканы, шпигаты, топы, пайолы. Только не песенные кливера-вым-пела...

Постойте, а название рассказа? Это же как раз из песни: «Мы капитаны, братья капитаны...» Крутой сельдяной реалист цитирует Новеллу Матвееву — самую надмирную, самую воздушную, самую бесплотную сказочницу среди шестидесятников!

И это тоже не парадокс. Это глубинное родство, родство по ощущению жизни как чуда, которое будет разрушено, попрано, убито в этой «сволочной» реальности.

...И вот уже рыба на борту, и девять пляшущих чертей во всем зеленом остервенело трясут сеть за сетью, обрывая селедке жабры и головы, сами уже до бровей в ее чешуе и крови, по колено в тягучем подрагивающем чавкающем месиве; а все-таки и в эти минуты агонии она еще не добыча, она еще чудо природы, такое же чу-

до, как зеленая вода Атлантики, как снежные скалы невдалеке, теперь уже оранжевые под солнцем, — она еще сама оранжевая, синяя, палевая, жемчужная, изумрудно-зеленая — такой никогда не увидят все те, кто только ест ее, а не ловит. Сваленная в бочки, круто посоленная, она еще бьется, выпрыгивает и, вместе с жизнью, расстаётся со всеми своими цветами, покрываясь тусклостью нечищенной жести, и глаза у нее опадают и мутнеют, ошпаренные рассолом...

Что это? Гимн добытчикам, зеленым чертям из команды сейнера? Упрек тем «бездельникам», что «едят, а не ловят»? Плач над живой природой, умирающей под нашими ударами?

И то, и другое, и третье. Великолепная, глубинно просвеченная русская проза, работающая на всех уровнях. И имеющая сверхзадачу.

Сверхзадача — сопротивление духа, обложенного вот этой самой «сволочной» реальностью. Упорство разума и воли в ситуации, когда реальность — не переломить и не переспорить. Не перейти, не переехать, не переплыть. «А кораблям, что следуют за нами, придется спорить с теми же волнами...» — поет сказочница Новелла Матвеева для не сказочных владимовских героев. Не утопчешь дороги, не выкатаешь лыжни — неумолима и неменяема стихия-жизнь, и дух вовсе не дышит, где хочет, он бьется в плену. Он зажат в шоферской кабине, задушен собачьим лагерным ошейником, просвечен насквозь особистами.

Владимов не повторяется в «темах» и «ландшафтах» своих рассказов и повестей, из лагерной зоны он может стартовать в рыболовецкую Одиссею, из милицейского участка — в генеральскую Илиаду, но драма — та же, и дух — все там же: на краю. На переднем крае. Или на последней черте — зажат, заклинен, бунтует и борется. И выпрыгивает, и расстается со всеми своими цветами, и покрывается тусклостью нечищенной жести...

ТОРТ ДА САЛО

Крайняя точка этой зажатости и этой ответной ярости — рассказ о «силовых структурах»*, скрестившихся над головой беззащит-

* Речь идет о рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро!», опубликованном в 3 томе настоящего издания.

ного интеллигента. Он написан Владимовым в начале 80-х годов, накануне отъезда в эмиграцию, в самый пик его диссидентства. При первом чтении этот текст кажется виртуозно-антисоветским. Он таков и есть, если брать его в контексте борьбы КГБ против «Эмнисти Интернэшнл», московским представителем которой Владимов стал после отказа от членства в Союзе писателей СССР в середине 70-х годов.

Звонок. Входят гэбэшники. Впереди невысокий, плотный, мордастый, надо лбом кок, за ушами космочки волос, «рот лоснится, как будто он только что поел торта».

Ну? Вы можете освободиться от этого лоснящегося рта? Ел он там торт или не ел... Скорее все-таки ел. Но: какая оптически, кулинарно, непреложно осязаемая физиономия! И какая сволочная!

Но опять — песенная строка в названии, уже не из Новеллы, а из Булата: «Не обращайтесь вниманья, маэстро». А фактура — жесткая, «цвета нечищенной жести» фактура — работает на памфлетный образ технологично-механичной машины: нагло влезшие в дом гэбэшники устанавливают у окна спецтелефон и через весь двор читают рукопись, выходящую из-под пера знаменитого романиста. Техника — «не хуже, чем у японцев». Да еще блестяще воспроизведенные телефонные подначки, с помощью которых эти сволочи терроризируют правозащитников. Плюс протокольно точное описание полки самиздата, где «Чонкин», «Зияющие высоты» и «кой-какой Бердяев» соседствуют с собственным владимовским «Верным Русланом» (что несколько осложняет воздействие художественной ауры, но добавляет тексту подлинности, памфлет как бы претендует именно на протокольно-объективное свидетельство). Песенка Окуджавы — деталь того же протокольного акта: то, что мордороты-гэбэшники, влезшие со своей аппаратурой в тихое интеллигентское жилище, напевают Окуджаву, — свидетельство их запредельного цинизма, а вовсе не затронутости культурой.

Но художественная аура текста живет параллельно протоколу допроса. Вдруг вы узнаете, что в доме, заселенном писателями, жильцы, которые тайно слушают заграничное радио и ловят обрывки информации о своем обложенном соседе, — что *эти же* люди воспитывают детей, которые смеются писателю вслед и вытаскивают из его ящика письма, чтобы порвать и бросить на

лестнице. Вы, конечно, можете возразить, что сволочные дети вовсе не «воспитаны» так сволочными родителями, а поступают так им «назло», из протеста против их конформизма, но в любом случае это подтверждение того, что жизнь — вещь сволочная. Потому и портретируется в рассказе — памфлетно.

Но если попробовать понять этот рассказ не в контексте диссидентской борьбы 70—80-х годов, а в общем контексте прозы Владимова, — то главными действующими лицами его окажутся, пожалуй, не гэбэшники, нагло влезшие в чужую квартиру, и не скорохваты-волкодавы из угрозыска, которых несчастному хозяину квартиры чудом удалось натравить на гэбэшников, — а сам этот интеллеktуал, «лобастик-очкарик», сжимающийся при каждом стуке в дверь. И еще неизвестно, что для него более страшно: приход сволочей-гэбэшников, действующих «по закону», или неожиданный успех его «кошмарной операции» с милицеескими скорохватами — операции, удавшейся ему совершенно случайно, только потому, что «семнадцатый отдел» ГБ не счел нужным предупредить сто семнадцатое отделение милиции о вторжении в интеллигентскую квартиру.

И еще потому, что интеллигент, отправляясь с доносом в милицию, и впрямь немножко верит: а вдруг к нему в квартиру *действительно* вперлись обыкновенные уголовники, косящие под ГБ?

МЕЖ ГБ И ВД

Далее — смесь его триумфа и ужаса: донос получает ход, скорохваты врываются в дом и ставят гэбэшников раком. Потом они выясняют, что прихватили своих, и мы ждем, что же теперь эти «силовые структуры» сделают с несчастным интеллигентом, который их так ловко стравил. В памфлете такие сюжетные кульбиты работают с безотказным пиротехническим эффектом, но дело в том, что у Владимова как у «матерого реалиста» сквозь звонкую памфлетную злость просвечивает реальность, и эта реальность, пожалуй, страшнее тех масок, в которых щеголяют гэбэшники и скорохваты.

Приходит же момент интеллигенту отвечать, зачем стравил ГБ и ВД. Вопросы и ответы — на кодовом языке «тоталитарной системы». Товарищ сигнализировал, проявил бдительность, действовал, так сказать, из благих побуждений. «А может, не из

благих?» — вдруг тонко поворачивает лезвие разговора красно-мордый гэбэшник.

И «памфлет» обрушивается в русскую бездну.

«Из благих», — отвечает интеллигент «скучным голосом».

«Скучным» — эпитет, на котором можно ставить «клеймо мастера!» — бесовски вкрадчивое обозначение голоса, севшего от ужаса. А ужас охватывает шутника от сознания, что устроенная им пиротехническая операция никого не обманула. Впрочем, этому лобастенькому-очкастенькому «технарю» Владимов позволяет удалиться с минимальным достоинством, зато жене его, Анне Рувимовне, женщине вполне гуманитарной, влагает в уста обжигающую филиппику, в которой явно слышится голос автора. Гэбэшников, можно сказать, только что раком поставили, а они — как ни в чем не бывало продолжают глазеть в свой телескоп, да еще тискаются (в их команде — дама «с погончиками»)! Да еще Окуджаву мурлычут: «Не обращайтесь вниманья, маэстро!»

— И чтобы они после этого... не повесились!? — восклицает Анна Рувимовна... — И это они — русские?..

Тут Владимов чуть трогает национальную клавишу, но я думаю: это ничего не меняет. Если бы хозяйку звали Анна Кузьминична, ужас от полного отсутствия в людях человеческого достоинства все равно охватил бы душу.

А еще — от того, что всесильная (по определению) система на самом-то деле состоит из... дерьма человеческого.

— ...И это они — русские?! И это они решают — кого лишить родины, гражданства! Надо их самих лишить навсегда — национальности.

Гэбэшник встает (фингал под глазом):

— Зачем вы на нас так... злобствуете?..

И тут — взрыв:

— Не смей! — взрывается та, что в погончиках, — «техник-лейтенант». — Не смей перед ними еще унижаться!.. Да они тебе повеситься предлагают! А сало русское едят!

На этой михалковской цитате речь переходит в рыдание.

Не знаю, вкладывал ли Владимов в это самое «сало» что-нибудь сверх «литературного приема» (маскировались под Окуджаву, а выпер-де — Михалков!), но на меня это сало действует, и во все не в смысле литературного подтекста. Почему-то подумалось: откуда она, эта девочка? Из провинции? Сало на зиму за-

пасала? Басни Михалкова в школе учила? Мужа не нашла, подалась в Москву, ничего и тут не нашла, подалась в спецшколу. Дорогонько же обходится ей «джинсовое платье с погончиками». Ну, промолчала бы — и ладно. «При исполнении» чего не бывает. Дали пару раз по заду — подумаешь. Нет, рванулась. Рванулось достоинство из-под погончиков.

Только сказать не умеет. Торт да сало...

Памфлет завершен блестяще — в контексте наметившихся к началу 80-х годов споров вокруг «Памяти» и других национально-патриотических сил, еще не знающих, как им соотноситься с коммунизмом и «силовыми структурами». И вместе с тем — тут обозначается «вход» в «бездну», откуда не видно выхода. Потому что видишь уже не памфлетную мишень, но людей, причем «с обеих сторон».

Так я спрашиваю про «ту сторону»: а вдруг «гэбэшники» все-таки *поняли*, что произошло? А вдруг унижение свое они стерпели не потому, что скоты, а потому что обязаны по службе сделать вид, что ничего не произошло, и это — служебная выдержка? А вдруг они *действительно* любят песенки Окуджавы, и это не маскировка? Наконец: а вдруг они не врут, что «по-человечески понимают» и Анну Рувимовну, и Матвея Григорьевича, и даже того писателя, которого выслеживают: «лучше бы ему здесь печататься, и нам бы меньше было мороки»?

Человеческий план сквозит у Владимова из-под памфлетного. «Не смей перед ними еще унижаться!» — этот «рыдающий вопль» — о чем? О том, что перед нами «сволочь»? Или о том, что под спудом сволочной жизни — человек? И даже по-своему честный? Что делать нам с его честностью?

Нет, легче, когда — «сволочь». То есть: когда это не люди, а «гвозди», и власть Системы вечна. В 1982 году Владимов, похоже, так и думает. «И долго все это будет?» — «Что все»? — переспрашивает гэбэшник, стеклянными глазами прикрывая понимание. Ответ: «Всю жизнь».

Рухнуло «все» — меньше чем через десятилетие. Оказалось, что Система состоит из людей довольно гнилых и слабых.

Владимов это увидел издалека: в 1983 году он отбыл в эмиграцию.

УБЕРЕГСЯ ИЛИ НЕ УБЕРЕГСЯ?

Как борец против Системы, он действительно был загнан в угол, зажат, задушен. Но как писатель, он должен был под всем «этим» почувствовать продолжение судьбы.

Как сказано «невзначай» все в той же комедии «Шестой солдат», написанной незадолго до отъезда и арестованной гэбэшниками при обыске:

— *Счастья на стороне искал? Разве оно на стороне валяется? Его в своем доме поищи, а нету — так и нигде нету.*

— *Значит, не по своей воле странствовал?*

— *Ну, как считать... Своя вина во всем сыщется. Значит, не уберется...*

Уберется Владимов за границей — от гэбэшников, от их «кошмарных операций», от их техники, что «не хуже японской». Но не уберется, и не мог уберечься от той драмы, которой наградила его Россия как писателя.

Наградила — неразрешимым вопросом: как жить в этой реальности, если другой нет? Жить «как все» — мучительно, а жить «не как все» — гибельно, и ты все это понимаешь, то есть понимаешь неразрешимость вопроса и все-таки распинаешь себя на нем. Осознано это Владимовым задолго до эмиграции и независимо от «политики»; этот крест взвален на него изначально; среди «лобастеньких-очкастеньких» шестидесятников он тем и мечен (клеймен, пригвожден, прикован), что не обманывается погонами и погончиками, а видит людей, знает, что причина — люди, а не то, в каком стане или сюжете, в какой зоне или системе они оказались.

Сюжеты и зоны меняются. Надо только оказаться в нужном месте в нужный момент. Меняются темы владимовских повествований, и с самого начала меняются жанры, в которых он пробует себя. Уже «пробившись» в качестве театрального и литературного критика, Владимов в 1959 году отправляется по командировке родного журнала за очерком на Курскую магнитную аномалию. Он не знает, что именно тут с великолепной литературной силой реализуется мучающее его состояние и что именно с этой повести начнется великий прозаик.

РУДА ИЛИ КРОВЬ?

— *На сколько заводили?* —
спросил он, не оборачиваясь.

— *Метра на два,* — ответили
двое других.

— *А точнее?*

...*Вытащили засаленные блок-*
нотики:

— *На два метра,* — сказали
почти одновременно.

Г. Владимов, «Большая руда»

Четырежды (по подсчетам самого Владимова) подбирался я с анализом к «Большой руде», но как-то ни разу не зацепил эту сценку. Вроде бы и не связан мимолетный диалог взрывников на дне карьера ни с судьбой шофера Пронякина, который вскоре сломает себе шею, полетев в этот карьер, ни с главной темой повести, собранной вокруг вопроса: стоит ли ломать себе шею за здорово живешь, то есть за кусок руды, то есть за лишний червонец («*а впрочем, черт его знает...*»). А сценка-то со взрывниками интересная, и зацепила меня когда-то, при первом еще чтении, непонятно чем, каким-то неуловимым соответствием тону повести, и владимовской прозе вообще, и той ускользающей неотступной правде, которая сделала его одним из самых труднообъяснимых и магнетически притягательных русских прозаиков второй половины XX века.

Вчитайтесь: вольный кач сразу введен в действие. Может, так, а может, эдак. Прикидывают, «не оборачиваясь», — спиной видят. А если точнее? А если точнее, то *сойдется до микрона*. Можете свериться с «засаленными блокнотиками».

Зачем «сверяться»?

Да он же только и ждет, чтоб — сверились. Для того и этот кач провоцирующий: может, так, может, эдак, «впрочем, черт его знает». Может, это Виктор Пронякин, нанимаясь шоферить на рудник, берет судьбу за рога. А может, это судьба берет его самого за шкирку. А он — «не знает». Он приезжих электриков не любит — «сам не зная, почему». Это ж надо: в филигранной, до винтика выверенной владимовской прозе — они все время чего-то «не знают». С первого пейзажа, где все мотивы уже зало-

жены: и «пропасть» под ногами, и глыбы «цвета запекшейся крови», — уже внушено, что шофера не сами едут, а «дорога, извинаясь, тащит их на себе», и так до самой развязки, когда Пронякин, раздавленный в машине, слышит странный капающий звук и «не знает», что это вытекает из него кровь. Руки работают отдельно, мозг отдельно, и это не «прием» прирожденного писателя (хотя и прием тоже), это тот таинственный, не всегда ясно осознаваемый, но всегда интуитивно чуемый принцип, который не подделать и не подхватить подражателям, но который сообщает тексту бытийную значимость.

Все, что связано с «руками», то есть вся фактурная реальность, — описана у Владимова с фирменной, ревнивой точностью. Поначалу это кажется рискованным, ибо именно вещи (поверхности жизни) устаревают вместе с эпохой. «Вельветовая куртка на молниях» (массовый пошив 50-х годов), тележка «газводы» с двумя колбами (герою — «два с сиропом», а остальным — «шесть стаканов чистой»). Или — на стене барака, рядом с зеркальцем, в симметричном наклоне — тогдашние кинодивы Элина Быстрицкая и Брижит Бардо, за фотографии которых предусмотрительно насыпано порошку от клопов. Постарели те дивы, повывелись те клопы, однако протокольно точные детали, которые должны резать ухо анахронизмом, — читаются теперь с интересом как точные приметы эпохи. ♥

Да и сам он, Пронякин, воспринимается сегодня уже как ушедший тип 50-х годов, из тех ребят первого не воевавшего призыва, что после демобилизации не стыдились козырять армейскими правами (сейчас, при распадающейся армии, от армейских шарахаются) и свободно выбирали себе место работы от КМА до Иркутской ГЭС, от любого колхоза до любого завода (сейчас сказали бы: вали, беженец, откуда пришел).

А вот еще один изваянный памятник: свеженький, выпуска 1961 года шестидесятник, долговязый очкарик в баскетбольных кедах, севший после института, как на раскаленную сковороду, в кресло начальника карьера (тоже «лобастенький-очкастенький», и тоже спортом себя пересоздавший).

И еще одна ушедшая натура — та девушка в его конторе, что выучила в институте все про «сеноман-альбу» и «апт-неокому», подалась искать руду и счастье, — она еще возникнет в прозе Владимова, эта «окрыленная» идеалистка-интеллектуалка, но из жизни — навсегда исчезнет вместе с советской эпохой.

Мечена временем фактура — мечена психология. Все эти «почины», «доски почета», «праздники первого ковша» и прочие ритуалы, висящие в воздухе «Большой руды», как если бы геройский дух, в приверженности которому сразу заподозрили Владимира тогдашние либеральные критики, действительно был бы для него реальностью. И авторской программой.

В этом случае советская героика труда должна была бы к нашему времени устареть начисто. И соответствующая программа — тоже.

Героика в «Большой руде» есть, и как памятник уже *не устаревает*. Программа же не устареет по другой причине: потому что программы героической там нет.

ПРИ ЛЮБОЙ «ПРОГРАММЕ»...

Однако сразу после публикации «Большую руду» как раз попытались вписать в большие «программы». Наиболее решительные критики рассуждали так. Если Пронякин — летун, выскочка и захребетник (а перед коллективом-де все равно не удастся словчить), то Владимов — вполне понятный мифолог коллективизма. Если же Пронякин — передовик, подающий пример косной массе (а дура-масса с запозданием прозревает), то Владимов — элементарный мифолог героики. При любой такой «программе» — ничего особенного в повести нет.

Авторы этих концепций, молодые в ту пору и очень активные «левые» критики (сейчас сказали бы: «правые»), впоследствии были признаны как вожди шестидесятников и властители дум; мне не хочется сейчас называть их имена, хотя *тогда* их рассуждения приводили меня в бешенство. Однако *объяснить* во владимовской повести я и сам ничего не мог; мы все мыслили штампами и штампами же пытались их преодолеть. Проще всего было — со «сменой действующих лиц»: на место старомодных дуболомов и исполнительных трудяг шли герои новые — молодые интеллигентные острословы, вольнодумцы с гитарами, пересмешники и балагуры — аксеновские «коллеги».

В этот новый, ликующе-модный контекст «Большая руда» никак не вписывалась. А вот в старые сюжетно-психологические схемы вписывалась подозрительно просто. И в схему, обозначающую «приезд молодого специалиста». И в «конфликт но-

ватора и консерваторов». И даже в «перековку деревенского мужика». Хотя Пронякин «никогда не жил в деревне», однако вписывался в поток, устремившийся из села в город (как полагают историки, именно этот поток и смел в конце концов советскую власть, то есть вымыл из-под нее социальную базу, но в 60-е годы этот процесс еще только набирал силу), в этом контексте Пронякин может сойти за «носителя частно-собственнических пережитков» с таким же успехом, как за самоотверженного героя, преодолевающего косность массы. Так мы тогда мыслили.

Одна только и нашлась среди критиков умница — Ирина Роднянская: почуяла женским сердцем, что трагедии тут не избежать при *любой* «программе». А может, филологическим подсознанием «вспомнила» одно их древних значений слова «руда»? И, на первых же страницах уловив мотив запекшейся крови, восприняла разворачивающийся конфликт именно в этом ключе? Глуша, наверное, собственную читательскую боль, увещевала нас и себя, что гибель героя — наименее страшный выход из завязавшегося конфликта.

Я что-то такое чувствовал, но смутно. Пользуясь тем, что был знаком с автором по недолгому периоду совместной работы в «Литературной газете», решил получить немедленный ответ на мучающий меня вопрос из первоисточника. Я не мог, конечно, выговорить слов «положительный и отрицательный герои», но все-таки промямлил что-то в том смысле, что не понимаю, какой человек Пронякин: хороший или плохой.

Владимов крякнул, усмехнулся и после вежливой паузы, как бы отделившей меня от моего вопроса, заметил, что среди его критиков вообще нет *хороших*, а есть *плохие* и есть *никуда не годные*.

Я понял, в какую категорию попал, но ничего не мог с собой поделать. Меня мучило ощущение, что решается судьба не литературного героя, а реального человека, и этого человека режут пополам. Я думал (я и теперь думаю так же), что это и есть нормальная человеческая реакция на художественный текст. «Равновесие факторов» и «баланс возможностей» — все это хорошо для символических раскладов хоть в воздушной лирике, хоть в философском «саморазъедающем анализе», — но только не в тяжелой прозе, где с конкретной рельефностью обрисован данный конкретный человек. То есть Виктор Пронякин, который возил кирпич на Урале и взрывчатку в Сибири, за баранкой автобуса сидел в Орле и в Ялте, а теперь, на свой страх и риск от-

ремонтировал списанный МАЗ, взялся возить руду из котлована под Курском.

ГЕРОЙ ИЛИ ЖЛОБ?

Подвиг свершает или за четвертной перед начальством выпендривается?

Другой аспект: как жить — «как все» или «не как все»?

Господи, да каждое мгновение — и то, и другое! «Хочется свое иметь, чтоб никакая собака не гавкала». И хочется — со всеми быть, «чтобы все, как у людей».

Сказать, например, что Пронякин — жлоб, — такая же натяжка, как сказать, что он предтеча героев рыночной России 90-х годов (кстати, таких героев русская литература по сей момент так и не выдвинула). Пронякин, по позднему определению Владимова, — «человек на все времена», только попал он на смену времен. Но смена — правило, а не исключение, особенно в нынешней жизни, так что в моральную дилемму эта драма ни так ни эдак не впишется. Даже с гандикапом.

Гандикап, между прочим, в споре с бригадой Пронякин от автора получает в виде оправдания «со стороны»: ему на его МАЗе надо сделать несколько лишних ездов, и ПОТОМУ он лезет вперед. Но чем больше вдумываешься в это «облегчение участи» (о котором все знают, но СКВОЗЬ которое все равно прут зависть и ненависть к «высочке»), тем больше убеждаешься, что трагическая неотвратимость конфликта ни от каких гандикапов, как и от «программ», не зависит (от норм выработки, от дождичка в четверг, от размытой дороги) и тот бес, или черт, который гонит вперед Пронякина, сидит в каждом, но Пронякина он только оседлал лучше.

Что же за черт?

А тот самый, который подначивает «обдирать» других, а в момент обгона подсказывает причину: да ты же жлоб, Витя! Когда же и сам Пронякин соглашается: «Может, так оно и есть», — черт (или бог?) подсказывает ему опять-таки как бы со стороны:

— Э, Витька, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты — шофер? Ты — как бог! Всю дорогу — как бог!

Бог и черт спорят за человеческую душу. Подначивают. Если один издевательски провоцирует: «Ты — герой!», то другой издевательски утешает: «Ты — крохобор». Человек же, измученный

неразрешимостью, орет на других людей, что они ему враги (хотя какие там враги — нормальные теплые ребята), что они куркули (хотя какие уж они там куркули — такая же голь барачная) — а все потому, что стесняется назвать себя «богом» (хотя ездит и впрямь — как бог) и на всякий случай делает вид, что отдается черту («А впрочем, черт его знает...»).

Это мучительное колебание души с кинематографической скоростью перенял и с виртуозной легкостью воспроизвел вскорее Шукшин. Владимов перехват учуял, он искал свои следы в «Калине красной», но ошибся адресом: не в Егоре Прокудине воспроизведена драма Виктора Пронякина, а в Пашке Колокольникове (помните? «Живет такой парень», крутит баранку, а тут беда — бензовоз задымил; он его с дороги сгоняет, прыгает на ходу, ломает кости, людей спасает; люди ему говорят: «Что вас побудило совершить подвиг?», — а он отвечает: «Дурость»).

Однако то, что у Шукшина исполнено простонародного шутоломства, у Владимирова запекается кровью.

Найдено в «Большой руде» все, все лейтмотивы, вплоть до «случайной буфетчицы», которая должна пригреть шалую душу. И оглушающий душу простор внезапной воли. И невозможность определить, что это такое — *воля*: то ли пропасть под ногами и бесконечная пустота вокруг, то ли горячая, собирающая душу в кулак сила? И какой может быть баланс сил, никак не умеющих обернуться ни в «добро», ни во «зло». То ли это руда, то ли кровь. Ждут большую руду — дождутся большой крови.

В философском смысле Владимов, конечно, смоделировал шестидесятников — окрыленных идеалистов, угодивших на смену эпох, когда все святое встало под вопрос, но по тяжкопристальной зоркости «матерого реалиста» он в шестидесятники не сгодился. И место среди них ему отвели странное. Поначалу вовсе не приняли, потом — «стерпели».

1961 год. «Большая руда» выводит автора в первый ряд литературы. Вокруг него буря критики. Но куда его приписать, так и не решено. Ни писателем «трудовых будней», ни апологетом «молодых бунтарей» он себя не считает. Он вроде бы в невесомости. А вес обнаружен — гигантский, и притяжение «земное» — все мощнее.

Куда притянет?

1962 год. Солженицын прорывает заслон, ограждающий лагерную тему. Зэк становится ключевым (неофициальным) геро-

ем литературы. Его просто невозможно обойти. Дюжина авторов подхватывает байку о лагерных собаках, сбежавшихся в бывшем лагере конвоировать колонну студентов...

ИСТОРИЯ ПОВЕСТИ О КАРАУЛЬНОЙ СОБАКЕ

Сначала эта история разносится в виде слуха, и можно понять, почему она на всех так действует. Лагеря сталинские еще не скрыты — только «ликвидированы». Собаки лагерные, приученные конвоировать колонну (шаг вправо, шаг влево — считается побег), еще гуляют по окрестностям. Опьяненное первой «оттепелью» общество перекрашивает недавние «зоны» в «молодежные стройки». И тем же мажорным маршем, хотя и под обновленными лозунгами, молодые строители, прибывшие на таежную станцию, строятся, митингуют, идут к месту работы. А собаки сбегают из окрестностей, привычно окружают колонну, бренчащую гитарами, поющую песни, — и начинают ее *конвоировать*.

Сквозь зримую, осязаемую, практически непреложную картину «из жизни» проступает нечто, для чего в 1962 году как-то еще нет слов. Нечто неосязаемое, незримое, однако доказывающее свою реальность. «Система». Где она гнездится в людях, — того и понять-то нельзя. Еще ж царит в головах объяснение, будто это *плохие* люди обманули *хороших*: сами вооружились автоматами, а тех загнали в зону, в барак, в строй.

Но поскольку оттаивание душ идет в 60-е годы дружно, — люди, еще вчера «плохие», теперь срочно и искренне обращиваются «хорошими», и где там гнезился у них «культ личности» с его лагерями и вышками, понять совершенно невозможно. А тут — собаки. Образ «чистой энергии». Служба как таковая! Вот оно, вещество насилия, — серые тени по краям человеческой колонны, химически выделенный субстрат тупого исполнительства, — то самое, что прячется в абстрактном и не ухватываемом слове «Система». И притом — вживе и в яви: псы, выкормленные в спецпитомнике, натасканные на людей — «домини канес», вернее, «хомини канес», псы не господни, а человеческие, — можно пощупать. Впрочем, нельзя. Нельзя пощупать, нельзя погладить: шаг вправо, шаг влево...

Нечего было и сомневаться, что эту историю, донесшуюся до столиц из лагерной глубинки в самом начале шестидесятых годов, — литература так не оставит.

И не оставила.

Были даже стихи на эту тему. Их написал Александр Яшин, они ходили в списках; кажется, в конце концов Яшин их где-то напечатал (мои попытки найти эти стихи в его позднейших книгах успехом не увенчались).

И почти сразу же по возникновении слуха о самостоятельном собачьем конвое — разнеслось, что взялся за этот сюжет Владимов. Это тоже показалось естественным. Автор «Большой руды» — только так! Что-то дразняще-жестокое было в герое той первой владимовской повести, что-то волчье — и в нем, и в самом воздухе его жизни, в самом «почерке»; не отступил мужик, попер один против всех, до конца, до упора — разбился, но «доказал» — не уклонился!

Да, с этими собаками требовалось, конечно же, владимовское перо — прямое, открытое и жесткое.

Я воспроизвожу настроения начала 60-х годов, или, если угодно, тогдашнюю легенду.

Когда я ее воспроизвел в своей статье о «Верном Руслане» в 1989 году, Владимов мне объяснил, как было дело: «новомирские» машинистки его рассказ распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и пустили по рукам... Рассказ сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин... И оказался Владимов таким образом 13-м, кто приступил — по второму заходу — к собственному сюжету...

«Второй заход», то есть переработка рассказа, была предпринята после того, как первый вариант в «Новом мире» не напечатали. Не напечатали и второй вариант — уже не рассказ, а повесть. А там и «Новый мир» в «оттепельном» варианте перестал существовать. Попал «Руслан...» — в печать зарубежную, после чего автор его и перешел на положение диссидента. Находился он в таком положении лет семь до отъезда в эмиграцию. Потом еще лет семь — в эмиграции. Пока дождался Гласности и выхода «Верного Руслана» на родине.

Дождались и мы — в самом конце 80-х годов. Сам-то я читал еще первый вариант году в 1963-м и высказал автору свои впечатления устно. Читал и второй вариант — в 1974 году в «Гра-

нях» — и высказал свои впечатления в письме (высказаться печатно было негде). Печатно — только в 1989-м, когда повесть появилась в нашей печати. Высказался — в журнале «Литературное обозрение». На эту мою статью и откликнулся Владимов письмом: *«Было все немножко не так...»*

Письмо то, по праву входящее в публицистическое наследие Владимова, я обнаружил тогда же, в том же «Литературном обозрении»: это яркий литературный документ. От своей статьи тем не менее не отказываюсь и по сей день; потому и решаю положить ее в основу данного текста, — не вправляя вывихи задним числом, а давая возможность читателю увидеть, как это делает Владимов.

Читатель при этом должен учитывать стереофонию текста — «горизонты», которые видны на «срезе»: этот рельеф важен для уяснения истории создания и знаменитой повести, и истории ее внедрения в наше сознание.

Во-первых, это моя реакция на первый вариант повести, прочитанный мною в рукописи в начале 60-х годов. Во-вторых, реакция на второй вариант ее в зарубежном издании 70-х. В-третьих, реакция на первую советскую публикацию конца 80-х. Плюс владимовские уточнения в письме. Плюс, естественно, мое теперешнее понимание того, что произошло.

РУСЛАН И ТРЕЗОРКА

Итак, он довольно быстро реализовал замысел и написал повесть или скорее большой рассказ: листа, помнится, на три, не больше, — первый набросок «Верного Руслана» — тогда просто «Руслан».

Рука чувствовалась. Пахло ремнями, пахло ружейной смазкой, пахло кровью. Сторожевой пес, изгнанный со службы по ликвидации лагеря (из жалости не убили — нарушили инструкцию), с трудом промучился зиму по дворам и свалкам, а весной, дождавшись эшелона, встал по привычке в конвой — тогда все и оказалось *предрешено*: *«...длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами...»*

Я искал в его автоматической смерти намек на просвет, на иной путь, на разрешение. И, мне казалось, намек на иной

путь был у Владимова. Я спрашивал: а Трезорка? Что ж, Трезорка-то — не вариант? Ну, положим, Руслан — существо казенное, одержимое, безостаточное, ему и впрямь нет выхода. Но ведь живет же на том дворе, у Стюры, где мучится обреченный служака, — живет же криволапый, маленький, умный Трезорка, охранитель кур и подкрылечный старожил, обитает где-то на теплых деревянных задворках ледяного, стального владимовского мира. Я говорил это автору, держа в руках машинопись (с неотрезанным именем автора сверху первой страницы)...

Я знал, естественно, что рассказ предназначен для «Нового мира», но не знал, то ли у Твардовского не хватает ресурсов «пробить» его в печать, то ли сам Владимов еще не считает рассказ законченным и намеревается его дорабатывать.

Много лет спустя Владимов эту ситуацию дообъяснил, припомнив сказанные ему тогда слова Твардовского:

— Что ж, мы это можем тиснуть. Я как главный редактор не возражаю. Но вы же вашего пса не разыграли...

Суть была — в «псе», но Владимова куда больше резануло словцо «тиснуть». Он забрал рукопись на доделку. Как он ее доделал (и что именно Твардовский имел в виду, советуя «разыграть пса») — об этом ниже. А пока — о первом варианте повести.

Так вот, я говорил: ты, мол, попробуй взглядеться получше в Трезорку, хотя рядом с Русланом он и жалок, и слаб, и вообще не жилец, однако именно он-то как раз — *жилец*, если вдуматься, ибо живем-то мы — в России, так что ты попробуй понять *русский путь в жизни*, ибо тот, «западный», бескомпромиссно-стальной, который ты пробуешь в Руслане, — безвыходен, трагически-смертелен.

Эта «западно-восточная» терминология имела прямое отношение к сути тех процессов, которые происходили в нашей «молодой прозе» в начале 60-х годов: Владимов был — по какому-то глубинному духовному счету — все-таки «западник».

Я употребляю этот термин с тем существенным (от В. Розанова идущим) уточнением, что нет более укорененного в русской драме человека, чем наш «западник». Речь лишь о путях разрешения, о том, «как спастись»: индивидуально или «сборно»? В этом смысле вся та молодая проза, из которой выдвинулся Владимов, носила окрас определенно «западнический». Причем именно к началу 60-х годов эта ориентация начала осознаваться. Предшественники, или, лучше сказать, первопро-

ходцы, или, еще лучше, *первооттаявшие*, — А. Гладиллин, А. Кузнецов и другие (немногие), начавшие *чуть раньше*, в эпоху XX съезда партии, те были еще насквозь пропитаны героической коллективистской эпохой, которую они поначалу просто хотели очистить от лжи. Писатели «второго эшелона», совпавшие с XXII съездом (и выносом Сталина из Мавзолея), шагнули дальше: они попробовали удержать фронт силами индивида *как такового*.

Среди трех заметнейших прозаиков этой второй волны (Аксенов, Владимов, Войнович) наиболее последовательным был, конечно, Аксенов. И «западнический окрас» в его художественной реальности прямо и по всем пунктам, начиная с одежды и манеры говорить, бесконтактно противостоял серой, бушлатной, бесцветно-невменяемой реальности лагеря и всей лагерем подпертой российской жизни. (Тут, кстати, объяснение того, почему Аксенов, при всей моей большой симпатии к нему, так и не стал *моим* писателем: он заменял одну реальность другой, но не отвечал на вопрос; он слишком упирал на внешнее; в его эпатаже угадывались уже тогда «поиски жанра», смена «имиджа», «такие стилистические упражнения пера».) Войнович куда лучше чувствовал русскую почву; ту землю, где «живем», тот социум, где мы — «товарищи», ту непредсказуемую душу, которая хочет быть на свой манер «честной». (Мне казалось, именно Войнович идет к разгадке... нет, не выдержал: не удержался от злости, перескочил в сатиру, в щедринский сарказм, завяз в ярости — при всем своем внешнем благодушии.)

Сорвались все, не выдержали. В конце концов все и отъехали. И пахать нашу черную почву досталось другим. Может, поэтому эти и не удержались, что уже подступали другие пахари. Считанные сроки оставались до поворотного 1966 года, до «Привычного дела» Василия Белова, до начала той поры, когда на целое пятилетие, на всю вторую половину 60-х годов, — окрасили нашу прозу писатели совсем иного опыта и тона и попытались решить ту самую задачу, которую миновали их предшественники, — загадку «русской почвы».

Владимов думал иначе: насчет «поворотного 1966 года» — оно конечно. И «Привычное дело» — вещь замечательная, волшебная, но с той поправкой, что и Ивана-то Африкановича этого прекрасного — тоже не было!.. А Руслан — был!..

Посмотрим, каков он был.

ГВОЗДЬ, СДЕЛАННЫЙ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Из всех глубоко родственных мне прозаиков молодого натиска (назову так по аналогии с немцами гетевской поры — этих конкистадоров первой половины 60-х годов) — Владимов был мне ближе других именно потому, что он, «западник» по моральной установке, фактуру сохранял — отечественную. Он не уходил в смех подобно Войновичу — его серьезность была в известном смысле безысходна. «Уйти» ему было некуда: индивид, стоявший в центре владимовского духовного мира, упирался в русскую реальность, заклинивался на ней. Он не имел возможности, мысленно взявшись за рычаги рычащей «вольвы», рвануть в воображаемый мир подобно аксеновскому герою, — владимовский герой крутил баранку МАЗа под Курском, он был завален, задавлен «большой рудой» нашего бытия, он был — наш человек, шоферюга, и конфликтовал этот шоферюга не с «плохими людьми» и не с «начальниками», а с такими же, как он сам, — зубатился вровень, и дело было только в том, что они стояли — фронтом, «всем миром», а он хотел отвечать за себя *сам*.

Теперь, в «Руслане», должен был за себя ответить казенный пес, винтик истребительной государственной машины, гвоздь, сделанный «из этих людей». Гвоздь вырвали и бросили. «Индивид», склепанный из коллективизма, предстал перед богом в одиночестве. Это было — по внутренней задаче — так странно, что и захотелось мне взмолиться о помощи к Трезорке, к маленькому деревенскому кобельку, прожившему свой век «при курятнике». Нет, это не было апелляцией к «мещанству», — по глубинной духовной организации Владимов, рыцарь и воин, никогда не знал этой проблемы, не знал и борьбы против «мещанства»; само это понятие присутствует в его душевном составе разве что в цитате из Горького; нет, это было ощущение отстоявшейся веками *русской реальности*, с которой следовало бы пойти на компромисс.

Не пошел, не смог.

Избитый, покалеченный, умирающий Руслан не мог принять помощь кабысдоха, ибо помощь эта все-таки отдавала *унижением*.

«Русский вариант» разрешения драмы; власть земли, круговая порука, ленивая жизнь под боком у какой-нибудь многотерпеливой Стюры, которая могла бы выдать ээка властям, но зато

могла бы и все простить. Есть же, в конце концов, мудрость веков, простершаяся над общим «курытником», — но все это так и осталось у Владимова «за кадром», где-то в уголке декорации, когда он, чуть не вчетверо расширив, капитально доработал «Верного Руслана».

ЗА КАДРОМ ТАМ МНОГОЕ ОСТАЛОСЬ

Владимов, например, краем глаза видит угощение, которое Стюра выносит Потертому, достает из погребца, но как вся эта снедь *попадает* к Стюре в погреб, он не описывает, какими трудами и способами эта снедь *добыта*, — это не отпечатывается ни у Руслана, ни у его автора. Весь этот «земной срез» — за рамками картины.

Или еще: разговор Потертого с Хозяином, когда оба они — и вчерашний ээк, и вчерашний охранник — освобождаются для вольной жизни. Хоть дан разговор глазами (ушами!) собаки, — тем острее притененный контекст:

— *Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потертый. — В город какой или ж к себе, в деревню?*

— *Домой, — отвечал Хозяин как бы в раздумье...*

Вы можете раскрутить это «раздумье» и по одному факту украинского выговора выстроить биографию: как этот сержант попал на службу в лагерь, что погнало его из деревни. К 1956 году выслужился до капитана... ему лет тридцать, так? Сколько ему было в 1932—1933-м? Лет восемь? Что погнало его с Украины? Что так озлобило к «врагам народа», «умникам», «интеллигентам»? Я думаю, что писатель «почвенного» толка именно по этим тропам и пошел бы вглубь, не упустил бы момента вернуться вслед за Хозяином в русскую деревню, как не упустил бы шанса раскопать истоки того мора, который погнал украинского хлопца с родной земли, не оставив других путей, кроме казенной службы. Белов или Астафьев, Распутин или Алексеев (автор «Драчунов»), Шукшин или Быков (автор «Знака беды») — по-разному, конечно, но решали бы, наверное, именно эту проблему — проблему истоков драмы.

Для Владимова истоки драмы — не в том, откуда собрались в лагере эти люди, а в том, *как их измордовала Система*. Чуть не втрое-вчетверо вырастает повесть о лагерном псе, и притом ос-

тается повестью об этом лагерном псе, только. Люди — фон. Трезорка как был на заднем плане, так там и остался, — «при ку-ратнике». Руслан — на первом, на сверхкрупном плане.

Пес, которого люди сгубили, потому что сделали его вместилищем своих качеств.

«Хорошего» пса испортили «плохие» люди?

ИЗ ТЫСЯЧИ СТЮР

Хорошему псу сразу повезло с критикой: я имею в виду статью Андрея Синявского «Люди и звери» в журнале «Континент» за 1975 год — статью, которая ввела повесть Владимова в контекст мирового интереса, в то время как наша отечественная критика о ней «не знала».

Не без содрогания думаю, что могла сказать (напечатать) о «Руслане» наша критика тогда, в 1975 году, появившись он у нас. В лучшем случае это был бы наивный восторг по поводу разоблачения и преодоления «культы личности». В худшем — обвинения в клевете на нашу действительность. Впрочем, не знаю, что хуже.

А. Синявский (демонстративно подписавший свою статью: «А. Терц»: дескать, герой Владимова такой же «пес», как я «Терц») — знает: дело в людях. О людях и поставил Синявский вопрос, который ведет к глубинной загадке владимовской повести: как согласовать ужасы лагеря, выстроенного на усердии таких рьяных исполнителей, как Руслан, — и тот самоочевидный факт, что исполнитель этот соткан из *лучших* человеческих качеств? «Стеклянный колпак Замятина в романе «Мы», проекты Оруэлла, сновидения Хаксли и Кафки сияют нам из преданных, любящих глаз Руслана», — пишет Синявский. Со Стюрой еще тяжелее: эта многотерпеливая и добрая русская женщина вызывает у Синявского законную и беспредельную горечь, но не приближает ни его, ни нас к ответу на вопрос: откуда зло? Увы, нам никак не удастся отвернуть тот камень, на котором все эти «хрустальные дворцы» выстраиваются, — вымощена дорога в ад благими намерениями и со дна «вавилонской ямы» продолжают глядеть на нас честные глаза героического служаки, или, как со свойственной ему «подначкой» формулирует Абрам Терц, перед нами — «еще одна, и притом итоговая, вариация на тему «положительного героя» в советской литературе». Добрые же глаза

Стюры, глядящие на нас из той же ямы, то есть из платоновского «котлована», определению вообще не поддаются, потому что есть опасность заехать с ними в такие народные корни «культы личности», что и рад не будешь. С «положительным героем» как-то легче: его, на худой конец, можно назвать отрицательным.

Так все-таки можно ли выяснить главное: как из положительных качеств и благих намерений получаются отрицательные результаты? «Из тысяч Стюр, — пишет А. Синявский, — понаделали верных Русланов». *Кто* понаделал? И что произошло с *людьми*? Отказались от хорошего в пользу плохого? Неправда: верили в хорошее. И отказа никакого не было: с чем пришел у Владимова герой, с тем и ушел. Пелена с глаз спала? Нет никакой пелены — сразу все ясно: судьба страшна и неотвратима. Владимовские объяснения иллюзорны, я их коснусь ниже, не в них суть, и не в них — чисто владимовский тип переживания. А в чем? В том, чтобы *вынести* жребий: когда из элементов добра магическим образом составляется зло.

Как это происходит? Как из элементов *одного* получается *другое*? Как из естественной гордости шофера Пронякина выходит отщепенство, смертное одиночество, разрыв со «всем миром»? Как из Руслановой верности, из простого солдатского чувства долга, из полной самоотдачи выковывается охранник, вертухай, конвоир, лагерный изверг?

Так ты до кучи беги! К Трезорке! Ты в «курытник», в коллектив влейся! Ты к Стюре в погреб нырни — глядишь, вопрос и снимется.

Снимется. Но не решится. А Владимов хочет *решить* вопрос. А вопрос неразрешим: ложь «всем миром» противостоит индивиду — «мир» не заменишь: надо жить. А жить невозможно.

Но если невозможно жить личности, если личность обречена на гибель, нет, хуже — на «выворот смысла» всех честных усилий, тогда путь один: упереться. Упереться в неразрешимость. Вывернуть и саму жизнь — в смерть. Догадалась же И. Роднянская о «Большой руде»: мы с облегчением принимаем смертный жребий Пронякина, потому что в его положении гибель — наименее страшное из того, что с ним может произойти.

Не это ли ожидание гибели как избавления держит нас и в «Руслане»?

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ С ЕГО ЧЕСТНОСТЬЮ?

Что, собственно, вписывал Владимов в эту историю, когда чуть не втрое расширял ее — из рассказа в повесть? Предыстория героев его не интересовала, в «деревенские корни» их он не углублялся. Финал был предопределен, в том смысле, что никаких дополнительных мотивировок Руслановой гибели мне, читателю, не было нужно. Драматизм ситуации не в лагерном распорядке как таковом. Да, Владимов видит все эти «поверки», «разводы», «шмоны» и «конвои» глазами собаки, что позволяет ему убрать верхний, ложный слой смысла, оставив один ритуал (толстовский прием!) — и все-таки не лагерная реальность держит меня в напряжении. Лагерную реальность я уже знаю: по Солженицыну, по Шаламову, по Копелеву, по Жигулину, по Разгону, по Евгении Гинзбург; — Владимов уже мало что добавляет к этому знанию — он держит другим.

Суть его повествования — именно в постоянном вывороте жизненной ткани с «добра» на «зло» и обратно. На «молекулярном уровне» — на уровне приема, дрессировки, команды, честного исполнения данного упражнения. И чем честнее верный Руслан отработывает свой долг и свою похлебку: берет беглеца, обнаруживает врага или находит в шеренге преступника, — тем яснее бытийный ужас, который за всем этим встает независимо от источника обмана и подмены. Непрерывное терзание и есть то, что знает Владимов, это он и вписывает в первоначальный «каркас» повести, этим и кровавит себе и нам душу: как повернуть обратно к «добру» жизнь, прожитую навыворот, каким покаянием отмолить все то, что наделал казенный пес, как вынести остатки честности на дне бесовства, когда бесовство *и есть* жизнь?

Не вынести. Нет выхода из ловушки. Легче отомстить, чем понять.

Он еще и после «Руслана» отомстил гэбэшникам-вертухаям-чекистам — в рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро!». Он еще свел с ними счеты как с *нелюдьми*. А как с *людьми*?

Этим-то и отличается крупный писатель от «среднего» — у крупного человек всегда выпирает из-под маски, из-под роли, из-под «сволочной» реальности. Там даже и дама «в погончиках» вдруг завизжала как человек. Что уж говорить о Руслане...

Так что делать нам с его честностью? Что делать нам с «винтиками» казарменной эпохи, дожившими до эпохи разоблаче-

ний? Что делать со следователем Хватом, пытавшим когда-то Николая Вавилова, — когда мы надеемся свести счеты с «казенным псом», а находим трясущегося старика, дочь которого с тихой обреченностью спрашивает в дверях очередного корреспондента: «Вы опять к папе?» Что делать нам со скрюченным пенсионером, который ковыляет сегодня по улице, держа авоську в подагрических пальцах, и не помнит, кого он расстреливал в Соловках, зато помнит, как его *мобилизовали* в органы? Акутагава когда-то описал этот ужас, эту неутолимость боли: всю жизнь искать подлеца, обидчика, негодяя и в конце концов найти — плачущего человека, который уже раскаялся. Да, можно сводить счеты с преступником в тот момент, когда он — преступник, когда он — агрессор, когда он гадит, — но время все переворачивает, и, найдя преступника за пределами ситуации, ты обнаруживаешь жертву обстоятельств, давно улетучившихся из этой реальности.

А боль? Куда деть боль? Кто вернет справедливость потерпевшим?

Никто. И это самое страшное.

Конечно, гласность, конечно, имена палачей, конечно, открывшаяся правда. Чтоб хоть *имя* этого самого Хвата горело на воротах. Чтоб хоть наперед знали соблазнившиеся: ничто не сокроется!

Но и только. А прочего — не вернешь. Не поднимешь убитых, растертых в лагерную пыль. Не вернешь смысла в вывихнувшуюся реальность. Не наведешь никакой посмертной справедливости в истории, потому что все те легионы «верных Русланов», которые в семь слоев вколачивали в землю невинных людей, — сами следом легли в ту же землю. Кажется, это — статистически — третий по мощности слой среди репрессированных. Была опубликована такая статистика: больше всего среди осужденных в сталинское время оказалось партийных и советских работников; потом шли «кулаки»; на третьем месте — работники органов. Так что я не знаю, что такое «невинные жертвы» в этой кровавой карусели. Знаю только, что боль — не утолить. Только *терпеть* ее. И чем больше ты хочешь снять боль — тем больнее.

Раскаившийся разбойник, распятый обок Христа, несомненно же, идет «в рай», то есть он способен *забыть* все то страшное, что делал сам и что с ним делалось. Не дано забыть это — Христу. Тот, кто возьмет пример с кающегося разбойника и сам покается, получит облегчение души. Но тот, кто дерзнет подражать

Христу, пусть не ждет облегчения: он ничего не сможет забыть. Не будет ему облегчения.

Вот только вопрос: кому подражает герой Владимова? К какому идеалу он склоняется: к кроткому, христианскому, или к крутому, воинскому?

РЫДАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗА КАШЕЛЬ

Читатель видит, в какой контекст наших непрекращающихся раздумий попадает Владимов со своей «старой» повестью. Можно разрушить лагерь, можно реабилитировать мнимых преступников и осудить преступников настоящих. Можно освободить от проклятой службы казенного честного пса. Но как вынести мысль о том, что все это *оказалось возможно*? О, если бы выстроился тоталитарный лагерь только на обмане и лжи! Так нет же — еще и на честности и правде! Еще и на положительном Руслане, на верном.

И потому — правы были авторы инструкции по ликвидации лагеря: верного Руслана следовало *отстрелить*.

В тот момент, когда этого не произошло, — началось мучение не только владимовского героя, но и самого автора: где выход?

Где выход, если отрезан для Владимова «Трезоркин» путь: нырнуть быстро обратно в «курятник», в нашу бучу, боевую, кипучую, в шоферскую бригаду, в рыбацкую команду, в «сердечку» — слиться, влиться, вместе со всеми оттаять, и застыть, и перестроиться — спастись «всем миром». Нет, у Владимова такое не получится. Он после «Большой руды» примерялся к такому и в «Трех минутах молчания», он на все шестидесятые годы эти три минуты растянул, когда писал свой роман параллельно повести о Руслане, — все пытался своего честного героя вписать в команду, в массу, опереть на почву.

Не оказалось почвы. Искал опору, а угодил — во хлябь, в бездонь. Хотел — «как все», а оказался — один против всех. Хотел быть честным, а оказался врагом Системе. «Хочу быть честным» — пересмеивает эту ситуацию Войнович и смехом из ситуации выходит с Чонкиным под ручку. Владимов так не может... «Если б меня еще при этом не переслаивали так насильственно с моим Митишатевым — Войновичем!» — комментирует он. (Митишатев из романа Андрея Битова «Пушкинский

дом» — упрощенный вариант главного героя Одоевцева). А с Войновичем? Как они друг с другом соотносятся, Руслан с Чонкиным? «Уму непостижимо, — отбивается Владимов и от этой параллели, — ведь они живут в разных измерениях, каждый по своим правилам игры».

Владимовские же «правила игры» — это вообще отрицание игры, это верность однозначно понятому долгу. Никакого выигрыша, никогда, нигде! Словно и впрямь рок над героем: начинать с нуля и приходиться к нулю. Безотносительно к ситуации или зоне. Это психология индивида, вообще изначально чуждого «зоне», будь то зона лагерная, зона ландшафтная или зона «воздействия» чего бы то ни было. Владимовскому герою нужна не «зона», а точка: точка опоры, клеточка, клетка, в которой он будет защищен и которую он сможет (или не сможет, но попытается) защитить. Старательно и скрупулезно выписывая лагерную реальность — воздух «зоны» и психологию эзков, Владимов иногда словно бы проговаривается. Вслушайтесь, я выделю нужную ноту:

...Запах жутких нар, дарящих, однако, глубокий, как смерть, сон, — последнее прибежище загнанному сердцу; запах страха, тоски и опять надежд, и глухих рыданий в матрас, выдаваемых за кашель...

Нет, это не ээк пишет. Это бывший суворовец пишет, с малолетства пропущенный через казарму. Это не психология ээка, когда человек растворяется, расплывается, «исчезает» в ситуации, а если выживает, то — именно расплываясь, «исчезая». Психологию ээка — Солженицын понял и передал... А Владимов? Все мастерство свое мобилизуя, на предшественников опираясь, — он старается вжиться в психологию ээка, тенью скользящего в этой жизни, хитрого, выжидающего. Но со дна души встает другое: рыдание в матрас, выдаваемое за кашель, курсантская тоска, упирающаяся гордость, жесткость бойца, у которого нет ничего, кроме чести.

Он признал — в ответ на это мое рассуждение, что о «рыданиях, выдаваемых за кашель», не ээк рассказывает, а суворовец, — и в этом, может статься, я прав, но только в силу моей язвительной привычки искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается.

Но «проговаривается» автор, я думаю, там, где суть его душевного состояния прорывается сквозь мнимые объяснения или отказ от объяснений.

Суть душевного состояния — безысходность долга. Другой опоры нет. И потому — вообще опоры нет. Пустота. Тоска. Что можно противопоставить тоске? Бунт.

Бессмысленный бунт?

Классический зэк вряд ли переживает эти вещи так. Тут «день кантовки — месяц жизни». А если уж бунт — так с расчетом. Потому что в общей свихнувшейся реальности надо эзку угадать свой хитрый, вывернутый смысл. И попытаться перехитрить, переиграть реальность. Владимовский герой не играет. Тут все строится на другом. Внутренний смысл не вывернут, напротив, он номинально прям, точен. Есть чувство чести. Есть долг. Есть Служба. Вы заметили *главные слова* в ткани владимовской повести? Лейтмотивом идет: разум, сообразительность, понятливость. Разумность — закон индивидуального бытия. За его пределами — бунт, бессмыслица, хаос, безумие, гибель.

Но где *источник* бессмыслицы? Откуда берется в этом точном и честном мире скверна, если здесь, в клеточке, в «вольере», на предметном стекле, изначально обитает столь чистая и честная, верная долгу Русланова душа? Что ее искажает? *Кто* искажает?

Попробуем «объяснения».

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ?*

«Господа, вы убили человека!»

М. Горький, «Варвары»

«Э, нет... — мысленно завыл лес, — извините, не дамся!»

М. Булгаков, «Собачье сердце»

Первое объяснение: «люди». Люди портят собак... «Что вы сделали, господа!» — Владимов ставит эпиграфом к повести слегка переиначенную финальную реплику из «Варваров» и потом по ходу дела пытается подкрепить эту линию, обращаясь, по примеру Горького, к неким безнравственным экспериментаторам, озорникам, искажающим естественную природную жизнь: «Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны...» Сильный зверь подчинился нашим постройкам! Мы сумели подsunуть ему «чувство долга», сами едва ли зная, что это такое...

Насчет «сильного зверя», которого мы испортили, поговорим чуть ниже; это интересная альтернатива «честному служаке». Но сначала попытаемся понять: кто это «мы»? Если «мы» — это *люди* в противовес *собакам*, то вся владимовская концепция превращается в иносказание с басенным сентиментальным оттенком. И стилистически это *сразу* чувствуется, уже по эпиграфу, из которого так и лезет ложный пафос, учительская натура и тот романтический надрыв, который мы вынесли из Горького по школьной программе. Владимову этот эпиграф прощаешь, во-первых, потому, что он начинал когда-то как блестящий литературный критик и от эрудиции избавиться, естественно, не может, а во-вторых (и это главное) — прощаешь это ему потому, что проза-то владимовская строится по мощной внутренней доминанте, и сентиментально-нравоучительный грим с нее слетает при первом движении. Иначе говоря: по глубинной логике ни «мы», ни «они» в прозе Владимова не существуют, «мы» *и есть* «они», и душа Руслана — художественная модель всей нашей жизни, ни на каких «господ» и «хозяев» ничего тут не спихнешь. И не только потому, что «Стюра не позволит», — сам Руслан не даст.

Драма чести, составляющая для Владимова суть всего, — заложена в основу души человека, это для Владимова в природе вещей, и если драма смертельна, то не потому, что «господа» что-то наделали или «хозяева» нехороши, а потому что каждый человек *сам выбрал* свой путь и *сам расплачивается*.

Ах, он не выбирал? Не было выбора? «Мобилизовали»? Значит, это рок, удел, жребий. Значит, надо честно идти до конца. То есть до гибели. Честь выше жизни. Вот — истинный Владимов, если брать его без горьковской приправы. А если слово «собака» связано у вас с какими-то иными обертонами, так Владимов через эти старые ассоциации спокойно переступит. У Булгакова «собачье сердце» — метафора нашего повального хамства, нашего нахрапа, нашего слепого бескультурья. Владимов, писавший «Руслана», безусловно, в «зоне притяжения» булгаковской повести, как раз тогда, когда «Собачье сердце» в списках пошло гулять по «интеллигентным домам», — Владимов-то, стало быть, прямо против Булгакова и пошел, сделал собачье сердце средоточием честности, благородства и безраздельной простодушной самоотдачи, — именно в противоположность хамству.

Только и общёго у двух писателей: оба заложили в сюжет мысль о том, что есть некая «естественная жизнь» и с нею «что-то не то происходит».

Булгаков перевел дело прямо в медицинскую метафору, в «пересадку сердца», он с каким-то нервным хохотом выстроил фантазмагорическую картину, — пес у него воет: «Не дамся!» — свифтовская судорога пробегает по его прозе, сводит сатирической гримасой.

Владимов внутренне чужд такой сатирической аберрации. Его монолитная, не знающая лукавства душа «отдается»: готовится принять неизбежное. Спасительные аллегории отвергнуты. Владимир не признает такой условности, когда одно играет роль другого и собаку описывают в качестве модели человека. Если и есть у него какие-то отсветы иносказания, если вы и почувствуете, что в «характерах» Джульбарса или Трезорки, Азы или Ингуса «проташены» человеческие типы, — то как раз в ущерб главному. Ибо само разделение — «мы» и «они» — в художественном смысле коварно. Сколько бы это разделение ни обыгрывалось, вы прекрасно знаете, что «мы» (то есть собаки) — это *и есть* «они» (то есть люди). Речь идет об общих законах бытия, которых не может обойти никто. Ни «мы» (то есть люди), сколько бы мы ни пытались переложить свои грехи на собак. Ни «они» (то есть собаки), сколько бы мы ни уговаривали себя, что они только литературная аллегория.

ГОРОДУ И МИРУ

*Ведь писано было городу и миру:
история собаки!*

Г. Владимов

Я подхожу к главной и, как мне кажется, потаенной загадке владимовского письма. Читая, вы все время помните: это о лагере, это о зоне, это о ээках, это о людях. Но параллельно копится в вашем читательском сознании наивное ощущение... и в конце концов странным, «детским», отчаянным рывком это ощущение вырастает в догадку: да ведь есть же, помимо всех человеческих проблем, — боль *вот этого* живого существа, гибель *вот этой собаки*, и у Владимирова хватает сердца — человеческого сердца! —

вместить именно драму живого существа, безотносительно к тому «долгу», который «мы им подсунули». Вот просто понять собаку как другое существо...

Вы улыбнетесь: понять собаку? Да ведь это все равно за семью печатями от нас — то, что происходит в сознании собаки. И выуживаем мы из этой тьмы лишь то, что мы, люди, способны понять.

Так. Но человек, способный понять собаку (стремящийся понять), и человек, понять не способный и не стремящийся, — дьявольская же разница! Между Франциском или Сергием и «обыкновенными охотниками» — разница: понимать зверя — и стрелять зверя. А Владимов среди них кто? Владимов — писатель, нормально уязвленный «двадцатым веком», то есть скептический. Но плюс к этому есть в нем то самое таинство: «наивный реализм». Что и подключает автора «Верного Руслана» к той линии, на которой: «Холстомер», «Каштанка» и любой рассказ Сетона-Томпсона — в противовес щедринским Коняге и Пустоплясу, свифтовским гуинггмам, а также «цепным псам империализма» и всему басенному арсеналу мировой литературы. Владимов — писатель классических чувств; входя в соприкосновение с «современной реальностью», эти его чувства (мотивировки, рефлекссы, рассуждения, краски) дают апокалипсический эффект.

Теперь я доцитирую Твардовского — выделю мысль, поразительную по глубине, по той глубинной задаче, тогда еще не решенной, которую он сразу разглядел в первом варианте владимовской повести сквозь лагерную аллегорию: «...Вы же вашего пса не разыграли. Вы из него делаете полицейское дерьмо, а у пса — своя трагедия...»

«У пса» действительно «своя трагедия». «Разыгравший» ее Владимов встает в ряд таких классиков анималистского жанра, как Джек Лондон и Сетон-Томпсон. Он продолжает традицию, освященную в русской литературе авторами «Холстомера» и «Каштанки», традицию, продолженную и в советские времена — Казаковым в «Арктуре...», Гавриилом Троепольским в «Биме», тем же Метгером (с «Мухтаром» которого «Руслан», между прочим, был переиздан в СССР под одной обложкой). То есть перед нами повесть «на все времена».

Но это не решает человеческой проблемы, которая остается за пределами конуры. Мучительная и вечная владимовская проблема: как из людей индивидуально честных и чистых складыва-

ется система — подлая и лживая? Остается вопрос — о человеческой реальности, исказившей честного пса. Вопрос о том, как справиться с «системой» честному шестидесятнику, наделенному идеальными представлениями о достоинстве. Как найти в этом герое силу, которая подкрепила бы его чистоту? Ибо сила концентрируется отнюдь не из чистого материала, она собирается из материала грязного, из житейской грубости, из металла, мазута, пота и крови. Шоферюга Пронякин в известном смысле «заслонил собой» мелькнувшего в первых опытах Владимова студента. Студент этот и сам пытался «заслониться» — спортом: лыжами, баскетболом, боксом. Это он, «достойный большего», двинулся на стройку в бывшую зону, разозлив пса Руслана, а потом двинулся на траулер: проверить себя на тяжелой мужичьей работе. И это он вновь замаячил в пьесе «Шестой солдат», вызвав полупрезрительную сентенцию: «Лобастенькие-очкастенькие... им чтоб все полегче... А жизнь — она... сволочная».

Это в 1981 году написано, на краешке, когда разрыв со сволочной жизнью обрел «горизонтальные очертания». Что означает бессилие совладать с этой реальностью изнутри. Как Добролюбов сказал: *сидя в ящике, ящика не перевернуть, надо выскакивать*.

Когда «Верный Руслан» выскочил — сначала из человеческой реальности в собачью, а потом — за пределы отечественной печати, — вопрос, в сущности, и решился. Но путь к решению оказался мучителен. Что делать, если корабль под угрозой: чинить посудину или выскакивать в лодку и отгребаться? А может, ничего не делать: подать сигнал SOS и ждать. На то же и существуют в эфире «Три минуты молчания»... Так назовет Владимов свой первый роман.

Но вернемся ко псу. Полицейское дерьмо есть полицейское дерьмо, это факт, надо чиститься. Но есть истины, которые глубже полицейской драмы, ибо от колебания этих истин и происходят полицейские драмы и все то «дерьмо», которое потом приходится разгребать «честным служакам». В чем и состоит их трагедия. Твардовский в 1963 году прямо из «лагерного тупика» показал Владимову выход к общечеловеческой проблеме. И Владимов вышел. Путь к человеку пролег через понимание собаки. Не аллегорической, а реальной. Живой. Живой должен понять живого. В конце концов это и стало сверхзадачей, ответом на глобальный вопрос.

Всмотритесь в колорит повести. Красок нет. Лагерь: все выцветшее, стертое, бесцветное, черно-белое, серо-белое. И на этом «псивом» фоне — цветовой пунктир: желтизна. «Злоба его была *желтого цвета...*»

Никакой «запредельной фантазии»; кровь застилает глаза. *Естественный зверь.*

Да, но, может, эта естественность зверя — и есть выход из той ловушки, в которую мы загоняем честного пса нашей службой, нашими «постромками» и «командами»?

Несколько раз Владимов пробует в воображении этот образ: «сильный и зрелый полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу». Нет, не убеждает. Именно потому, что — «по безлюдному»: нас там нет, а раз так, значит, нет ответа на наши вопросы. Дикие звери тысячелетиями жили до и без человека, но в тот момент, когда мы в их жизнь вдумываемся, — мы уже *вторгаемся*, и это уже шаг к самообману.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ

Но есть же, в конце концов, цивилизованные варианты симбиоза! Как пересказала Владимова в «Литературной газете» Алла Латынина: «Руслан мог бы быть псом, охраняющим овечье стадо, помощником и другом пастухов, мог бы спасти босоногих ребятишек, тонущих в реке, мог бы броситься на помощь охотнику, встретившемуся в тайге с медведем...» Логичное предположение; я не удивился, обнаружив эту идиллию в статье А. Латыниной. Я удивился другому: что нечто подобное за пятнадцать лет до нее выстроил А. Синявский, жесткость позиции которого и весь жизненный опыт как-то не вязались с сентиментальностью. И однако: «Он мог бы спасти детей, тонущих в море, переправлять чужестранцев через Альпы и Кордильеры, лезть под танки, оберегать слепых и беспомощных пророков...»

Танки, конечно, все ставят на место... До «танков» я еще думал, что тут, наверное, вариации на тему «Сен-Бернарской обители» с ее спасателями, хотя и недоумевал, зачем тонущие дети перенеслись из реки в море, но в эпоху слепоты и беспомощности пророков, как говорится, все возможно, тем более если танки...

Позвольте, скажут мне, но ведь это у самого Владимова сказано, это же из повести взято, это он предполагал для Руслана

благородные ампула: сторожить овец; сопровождать ребятишек, сбегающих к реке, быть при охотнике, промысляющем зверя...

...Искать наркотики в автомобилях...

Так-то так, да только у Владимова это как раз не идиллия и не выход, а очередное мнимое объяснение. (*Вдруг догадываешься с оторопью, что ведь пес этот — наркоман, точнее — «наркодог», и таким его нарочно сделали господа.*)

Но мешают мне не только «господа», очередной раз лезущие ко псу со своими подлостями. Мешает — «теплая кровь», сочащаяся у Владимова из «тяжелой добычи». Мешает то, что тут неизбежны убитые: змея, бодливая корова, бешеный пес. От них надо защищать идиллию. Может, их надо в особый лагерь? Чтобы идиллии не нарушали. Получается, что идиллии нет (правильно: ее и быть не может). А если есть, то она, идиллия, у Владимова очень быстро окрашивается в *желтый цвет*.

Да, у него возникает этот мотив: изначальный рай, нечто «до грехопадения»: до Службы, до того, как будущий Хозяин отберет пса для Службы. Так что отступали, отступали и отступили до «чистой природы», до младенческого лона, до «розовых сощцов» заслуженной «суки-медалистки», от которой в питомнике и отнимает сержант щенков, выискивая — годных.

Из шестерых годен — один. То есть достаточно злобен, силен, упрям. «Хрен с ним, пушай Руслан». А остальных? А остальных — топить. Негодны. Слишком добрые. «Лизуны, говно».

Вы терзаетесь, в вашем христианнейшем сердце встает ужас, когда пятерых щенков, надеявшихся жить, уносят в ведре.

Вы-то терзаетесь, а мать-медалистка — нет.

...Потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывшие от нее в жестяном ведре, удастивались не худшей участи...

Да ведь это не «она знала». Это знает автор. Это *его* прозрение и *его* драма.

Он потерял в войну отца, он вырос в Ленинграде, «на краю океана», и прошел казармы Суворовского училища, он принес в литературу кодекс чести: самоощущение личности, он решил защищать этот кодекс и это самоощущение в условиях чудовищной и трагической подмены, когда белое становится черным и лучшее оборачивается в худшее.

Обреченное рыцарство — путь и слава Владимова, его миссия, его тема, его вклад в наш общий опыт.

Горький путь? Да. Можно уклониться. Уклонившийся удаивается «не худшей участи». Эта-то фраза и пронзает вас в финале как откровение — сквозь все объяснения пронзает: сквозь «подсунутый долг» и «честную службу», «железный порядок» и «бессмысленность бунта», — давая всей этой истории тот самый просвет во тьму души человеческой, который и отличает великие книги.

Великие книги, меченные горьким знанием и обречением духа, — плюс к тому, что они, конечно же, помогают нам ликвидировать лагеря и другие последствия «культы личности», а также смягчить нравы в надежде на то, что в крайнем случае конвоиры будут повежливее.

А вдруг и без крайнего случая обойдется? Отойдет в прошлое наш праведный ужас перед ГУЛАГом, канет туда же, куда канула вельветовая куртка на молниях у шофера, гробанувшегося на КМА. Отойдет лагерь, написанный «изнутри». Все, что приковано к нашей эпохе, вместе с нашей эпохой отойдет в историю.

Что останется?

То самое и останется, что адресовано не ГБ и ВД, не КМА и ГУЛАГу, а — «городу и миру», что вводит писателя в мировую литературу и что заставляет людей, далеких от его проблем, перечитывать и переживать глобально историю *живого существа*.

Даже если это история караульной собаки.

Но люди?

НА КРЕНЯЩЕЙСЯ ПАЛУБЕ

Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней накрываются, с ней же и выпрямляются.

Г. Владимов,
«Три минуты молчания»

Накренилось — весной 1963 года: Главный Штурман, он же Первый Секретарь, он же аграрий номер один, оставив кукурузу и прочую Большую Химию, поплыл в Манеж на выставку живописи, чтобы вправить мозги отечественным модернистам.

С этой минуты заштормило: посыпались книги из издательских планов и рукописи из журнальных портфелей.

Владимов как раз был на гребне — автор «Большой руды», лидер молодой прозы, переросший молодую прозу, вернее, так и не приросший к ней. Машина (по первому разу шоферская) вынесла его вперед куда надежнее студенческих лыж — в машину он опять и нырнул, но не в грузовик, а — в машинное отделение к корабельному «деду»: не колесами по дороге километры наматывать, а винтом по воде: «Мы капитаны, братья капитаны...»

То, что Владимов нанялся матросом на рыболовный траулер и сходил под селедку за три моря, показалось бы экзотикой, если бы не «Большая руда»; после «Большой руды» такого рода контакт с реальностью был не удивителен: не «господин литератор» отправился в «творческую командировку», а вроде как Витька Пронякин, восстав из мертвых, захомутался в новый рейс. Так и назвался: шофер. С грузовика. И только после рейса демаскировался: подарил капитану книжечку карманного формата — единственное русское издание «Большой руды». Моряки за текущей литературой не следили, не знали, кто у них с бичами на палубе уродуется.

Мы, следившие за литературой, знали. И путевые заметки, предварительные, которые Владимов напечатал в писательской многотиражке, прочли. Круто он взял, солено! Это не театральны́й критик на КМА отправился — звезда первой величины в море покати́лась. Ждали события.

И тут — полный крен: Хрушев — в Манеж, отечественные модернисты всех родов и жанров — в запрет, в отказ, в зафлаженное поле. Владимов — в молчание.

Хотя как-то подрабатывал пером (пьесы, сценарии), но ощущение было — что рот — заткнули.

Не на три минуты заткнули — лет на семь. На все оставшиеся 60-е годы. Захрипела полузадушенная молодая проза, кончилось искромсанное «кино Оттепели», вспыхнула праведным огнем проза «деревенская» и съежилась от официального ледяного душа, обдавшего ее уже с другого боку (как тогда сказали бы: «справа»). Надвинулись 70-е годы — время отложенных истин, ушедших на дно литературных течений, — там, на дне, уже вызревало поколение «задавленное», «обойденное», «бессловесное».

Владимов продолжал работать в стол. Он расширял и углублял «Верного Руслана», — все менее надеясь на публикацию.

И писал роман о рыбаках — «Три минуты молчания», — не теряя надежды, что эта вещь все-таки появится в печати.

Роман появился — покореженный, ободранный — в 1969 году в «Новом мире», — журнал уже был накануне разгона. Можно сказать, что первый владимовский роман чудом успел проскочить у Твардовского («Руслан» — не успел). Можно также сказать, что первый роман Владимова — последняя его попытка удержаться в советской литературе и последний ее шанс удержать писателя. Он держался еще лет пять, пока публикация «Руслана» за рубежом не отбросила его окончательно в диссиденты, после чего он еще и диссидентом продержался около десятка лет — до отъезда. Так что появление «Трех минут...» в подцензурной советской печати и обсуждение романа в «официальной» советской критике обозначило как бы мертвую точку, точку поворота (или точку разноса, распада, разрыва) той целостной советской культуры, которую шестидесятники, последнее верующее в коммунизм поколение, еще готовы были отстаивать.

Штормило всюю, и палуба кренилась туда-сюда. И мы с нею.

Владимов описал этот момент в предисловии к первому полному изданию «Трех минут...» в России почти тридцать лет спустя после событий, но в разгар событий — в 1969 году — я уже услышал от него ключевую метафору: **когда штормит, есть два способа спастись: или спасать корабль, или прыгать в шлюпки.**

ЛОДОЧНИКИ И КОРАБЕЛЬЩИКИ

Тридцать лет спустя, обозревая горизонт поверх пляшущей (уже в воспоминаниях) палубы, Владимов заметил, что «правова тех и других относительна», но *тогда* (когда палуба плясала под ногами и смотреть поверх нее было затруднительно) он говорил мне, что, конечно же, надо спасать корабль. Я как принципиальный «корабельщик» был потрясен, когда еще через несколько лет он сыграл шлюпочную тревогу (вышел демонстративно из Союза советских писателей); я это принял как неизбежность, но — горькую и для самого Владимова, и для русской... простите, тогда еще советской литературы. В какой-то степени история с отторжением «Трех минут...» объясняет этот разрыв, во всяком случае, так его объясняет сам Владимов тридцать лет спустя: он

«не потрафил ни тем ни другим», то есть ни тогдашним «левым», ни тогдашним «правым» (позднее они поменялись кличками), ни, само собой, тогдашней власти, сообразившей наконец, что жалить ее будут не с одной, а с обеих сторон. «Правые» (тогдашние «правые» — лагерь Вс. Кочетова) прочно ненавидели Владимира как «новомировца», скрытого антисоветчика и потенциального диссидента; «левые» (тогдашние «левые» — «новомировцы», скрытые антисоветчики и потенциальные диссиденты) готовы были возненавидеть его за роман, показавшийся им просоветским. Так на скрещении той и этой ненависти обнаружилась выгодная мишень, и власть санкционировала удушение писателя руками писателей.

Все так и было, с одной поправкой: власть уже не чувствовала себя настоящей властью; она пряталась за чужие спины, делала нейтральный вид, балансировала; писателей вообще-то натравливать друг на друга даже и не требовалось, достаточно было «попустить»; в том, как разносили владимовский роман, было что-то омерзительно наглое и вместе с тем обезоруживающе подлое; даже и спешное издание его в «Современнике» в ответ на уход «Руслана» за рубеж несло оттенок заискивания, странного при такой вседержавной позе...

Отзыв Солженицына о романе на таком гниловатом фоне поражал трезвой ясностью и уверенной определенностью. Непрасно Владимов воспринял этот отзыв как отрицательный: это было не отрицательное суждение, это был отказ от суждения — отказ читать и вникать. Автор «ГУЛАГа» повел себя, как полагается пророку: поверх пляшущих палуб прищурился на истинный горизонт. В духе своей большой геополитической программы: забыть о «проливах», повернуться на Северо-Восток, заселять сибирское побережье! — он отсек «Три минуты молчания» вместе с Атлантикой, теплыми морями и трехсотлетним российским флотом: *неактуально!*

Сегодня, на исходе века, когда потеряна для России Прибалтика, отрезанным ломтем висит Калининград, недоразрублин Черноморский флот в отсеченном Крыму, когда заново делят Каспий, Тихоокеанский флот едва держится на ниточке Курил, Приморье делает жесты, «отлагающие» его от Центра, — когда трехсотлетние усилия русских закрепиться на морях идут прахом, — и впрямь думаешь: может, прав был Солженицын, зря плавали?

Не задался владимовский рейс: ни сам он не стал «морским писателем», ни литература наша не повернулась к морю. Ни страна не удержала рубежей.

Мне, честно говоря, было не очень важно при появлении «Трех минут...», как приняли книгу «правые», как «левые» и как их разборки использовала власть; вполоуслепую, интуитивно я потянулся тогда к другому разговору о романе — навстречу соленым брызгам с его страниц, но реакция моя была противоположна соляницинской. Он сказал: не наше! Мне почудилось: а вдруг?

Воспроизводя сегодня мою тогдашнюю реакцию на появление романа, я не противопоставляю ее реакции теперешней, куда более трезвой и горькой; просто я восстанавливаю цепочку событий, из которой не вырвать этой последней попытки вдохнуть в легкие «цельность и гармонию» посреди импотенции и «раздрызга». Да, мне тогда показалось, что не все потеряно и плыть надо. Только контекст литературный следовало Владимову решительно сменить: ни Аксенов, ни Войнович теперь «не работали», они-то, по существу, уже «сидели в шляпках». Я стал искать, кого бы поставить Владимову в кильватер. Очень кстати всплыл тогда в литературу молодой рыбацкий писатель Николай Рыжих. Виктора Конецкого и искать не надо было: тот давно и уверенно бороздил воды.

Я обвязался шкотом-штерпиком и кинулся...

Стоявшая на берегу в позе рыбачки поэтесса Светлана Евсева иронически заметила: «С мужчинами так бывает...»

Бывает и другое, огрызнулся я: появляются рыбаки именно тогда, когда их не ждут.

Ох, россияне... Нет, все-таки не на палубе легкого брига рождены они, не ветра Альбиона качают их в люльке, а несут они в океан все те же земные заботы, и все те же проблемы пытаются решить среди шкотов и шпигатов, и качка палубы не дает им покоя, и не могут они привыкнуть к этой качке, и сдвигается, перемешивается, встает на дыбы вся их морская «межжанровая» проза, и уже не определишь, присутствие ли моря так их взвинчивает или, наоборот, их внутренняя нравственная тревога ищет выхода и гонит в волны.

В чем соль этой воды?

Лейтмотив — презрение к экзотике. Опровержение морской «романтики». Заканчивает молодой человек училище, мечтает попасть на большой *шип*, уйти в кругосветку, за кордоном пола-

зять, посмотреть южные моря, экватор, а попадает в «рыбкину контору», на какой-нибудь заваливший МРС. «Что здесь хорошего? Что мы видели? Рыба да море, море да рыба». И еще — «план давай, хучь пропади». И никаких тебе «стеклянных айсбергов Южного полюса». И никаких бананово-лимонных сингапуров.

Что же приходит на смену ложной романтике? Работа. Будничная, каждодневная работа.

Не этот ли вопрос — о нравственном смысле бесконечной работы — всю жизнь мучает Георгия Владимова? Не висит ли и над его героями призрак бессмыслицы всех усилий? «Три минуты молчания» — это же не просто трехминутный сектор для приема радиосигналов «SOS». Это еще и те три минуты, когда человек может вспомнить (или не вспомнить), кто он в мироздании.

Путь к трем минутам молчания пролегает у Владимова сквозь долгие часы работы, штормов, громов и молний. Это чисто читательское ощущение: погружаясь в рыбацкие будни, в тонкости технологии лова, в грубость быта, в нескончаемое богатство типов, типажей, живописных фигур и острых положений, во всю эту энциклопедию рыбацкого профессионального дела, попадаешь в какой-то удивительный плен. Соблазн в том, что Владимов рассказывает блестяще, материал у него блистает, блещет и блестит — подробностями, деталями, частностями и прежде всего огромным, слепящим количеством рыбы. Невозможно освободиться от гипноза материала, хотя чувствуешь: ведь не в этом же дело!

А в чем?

БЕЛЛЕТРИСТ ПОМОГАЕТ ФИЛОСОФУ

Постепенно в сверкающем потоке начинает прорисовываться моральная ситуация. Суть в том, что человек зол. Злее злого! «Тут не детский сад!» Тут слабых не надо. Деньги бешеные. И работа соответственная, «наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить». Владимовские рыбаки живут по жестокому закону силы. Никакой жалости! Чтобы столкнуть с ними главного героя, Владимову достаточно наградить того — жалостливостью.

В «Большой руде» бригада шоферов тоже жила по своим законам. Там был, однако, Пронякин — человек, тронутый гордо-

стью. Он погибал в столкновении с бригадой. Но он был. И погибал, не сдавшись.

В «Трех минутах...» вы угадываете эту пронякинскую неуступчивость, эту жесткую силу сопротивления человека. Но что-то случилось. Он расслоился, раздвоился, этот дух. Пронякинская жесткость, крутая верность себе как бы отделилась, дала отдельную фигуру «Деда», стармеха Бабилова. Этот действительно поступает по совести, и только по совести, ни перед кем не гнется, не ломает шапки. Но... он здесь — скорее символический идеал, нежели участник, — старый, полуслепой, стоящий на пороге пенсии механик, и к нему относятся скорее как к старому чудаку, «ископаемому» староверу, чем как к реальному противнику.

Что же остается от пронякинской упрямой честности, когда из нее вынимают костяк? Остается Сеня Шалай, шалый парень, от имени которого ведется повествование. Шалость — жалость. Жалость — как ось характера. Жалеет людей, жалеет раненую птицу (на что ему, естественно, говорят: корми-корми, мы ее потом зажарим). Сеня наделен совершенно непонятной в его положении жадной добра. Спьяну проговаривается: «Вот я такой. Я добрый, и все тут». Его хватает на получудаческое сопротивление «хору» — за что его считают чокнутым, ругают «гуманистом», но, в общем, терпят и даже симпатизируют ему, потому что, повторяю, нет в нем пронякинской серьезности, и ненавидеть его не за что. Это не характер даже, это скорее симбиоз характера (живой, хваткий малый, с чутьем на людей, не без хитринки) и авторской воли, нагрузившей нормального парня великой жадной добра, справедливости и настоящего товарищества. Так что можно понять того критика, который спрашивает: скажите же мне наконец, кто он, этот Сеня? Одно из двух: если это личность, то чего он такой шалавый, а если он, «как все», так чего я должен его слушать?

Такой же вопрос задавал я по наивности Владимову после «Большой руды»: все-таки определимся: прав, в конце концов, твой Пронякин или неправ? Может, сама невозможность ответить на этот вопрос и есть то главное, что почувствовал и передал нам Владимов и в «Большой руде», и в «Трех минутах молчания»? Но невозможно было примириться с невозможностью, и я допытывался у автора «Трех минут...», как и у автора «Большой руды»: как жить, если и «все» правы, и ты «против всех» прав?

И писал в 1970 году — в полном смятении от сознания того, что герой романа в сравнении с героем повести *ослабел*: как же, ведь именно личностное достоинство сделало когда-то «Большую руду» книгой-событием (хотя по части разговоров о достоинстве Пронякин весьма уступал аксеновским интеллектуалам) — ведь это закон: человек, в котором проснулось достоинство, не может отбуксовать обратно — он или ломается, погибает как личность, или ломает шею. Пронякин погибал, неся свой крест до конца. А Сеня?

Сеню Шалая Владимов хочет спасти, — иронизировал я со всей тонкостью, унаследованной от времен борьбы с бесконфликтностью. Как он его спасает? Очень просто: терпят бедствие шотландцы, и «Скакун» спешит на помощь. Описано это очень здорово, так что Сенины моральные мучения как-то отходят на второй план. Я думал: тут не столько шотландцам повезло, сколько «повезло нам с этим шотландцем»: спасение утопающих — какой прекрасный сюжетный финал рейса! А потом — попадаетесь на его пути Клавка-буфетчица...

«Дед» говорит: «Тебе женщина нужна, а не баба». Появляется-то все-таки баба. Крепко сбитая, лихая буфетчица. Вовремя на стол накроет, вовремя приласкает, вовремя и замолчит. Когда-то такая буфетчица пыталась спасти Пронякина. Но не успела. Сеню Шалая она спасти успела. Вы скажете: это ж спасение от проблемы! Ценой потери, так сказать! Не ответ, а уход от ответа! Но и тип ухода характерен: что-то, значит, есть во владимовском герое, что нуждается в такой «обслуживающей мужчине» спасительнице: то ли неистребимый след «мужской экзотики» хемингуэевского толка, то ли, напротив, какая-то непривычная слабость, ищущая возможности прислониться... Но, так или иначе, спасает Владимов своего Сеню Шалая.

Нет ли тут самообмана? — думалось мне в 1970 году. Если для 1961 года, столь богатого бутафорскими вариантами «самосознания» героя, достаточно было утвердить факт несовместимости личности с бутафорией, с безличием, в какие бы курточки оно ни рядилось, то на рубеже 70-х годов надо не голосить о пропасти между берегами, а строить мосты между ними, — надо искать «формулу спасения», искать пути позитивной, практической деятельности для личности. Не случаен интерес к доброму и прочному народному началу в «деревенской» прозе. У Василия Белова можно найти один из вариантов «спасенной доброты» —

лукавого, хитроватого мужичка, носителя неистребимого нравственного чувства, человека земного, живого, живучего... (О, знал бы я, что мне напишет Владимов о деревенских мудрецах в письме по поводу «Верного Руслана»! Не знал, но чувствовал.)

...По самой природе своего дара Г. Владимов не может принять этой лукавой, ласковой художественной манеры. Его кристаллическая, «мужская», хемингуэевская ткань не поддавалась бы такой перековке: тут нужны гибкость и подвижность, а Владимов тверд и упрям. И пытается он вывести своего трагического героя на зеленый берег жизни, рассказав пару-тройку «историй». Тут Владимов-балетрист вовремя и помогает Владимову-философу.

Еще раз перехватывая слово у себя самого, добавлю сегодня, что Владимов-философ мыслит личность преимущественно в естественном, природном контексте. Во времена Киплинга об этом говорилось так: «Ты не Дух и ты не Гном. Ты не Книга и ты не Зверь». То есть ни Бог тебе не поможет, ни Книга, из которой ты вычитаешь Бога. Впрочем, и Бога вспомнишь, когда понесет твою скорлупку на камни: «Спаси, и я в Тебя навсегда поверю, и буду жить, как Ты скажешь, как Ты научишь меня жить...» Это — пока через камни пронесет. А как пронесет — и верить некогда, и жить, как Он сказал, не получается, и чего Он там учит, не разберешь. И опять ты — просто Человек, только Человек и ничего, кроме Человека. И почему тебе нельзя быть Зверем — непонятно. Но о Боге это я сегодня так вольно рассуждаю — в 1970 году я мычал другое.

...Значит, есть какая-то слабость в самом понимании человека. Какая-то слабость в самом нравственном чувстве, которое Владимов вселяет в Сеню Шалая. Мучается парень все над тем же вопросом: похож я на них или не похож? Из того же я теста или из другого? Такой я, как все, или не такой, как все? Боится быть как все, боится быть не как все. Обостренная реакция на «непохожесть», самую возможность «идти, куда хочется». Но, по-моему, он больше знает, чего ему «не хочется», чем куда ему хочется.

Глубинная драма и тема Владимова — категорический запрет на Зло и Подлость при мучительной невозможности объяснить, почему и кем этот запрет на Человека наложен. Запрет — в природе Человека. Но и зло, и слабость, и подлость от слабости — в природе же. Во что упереться?

Разве что в железо? Недаром механик-«дед» героем маячит на истинном горизонте. И недаром все владимовские герои так влюблены в машины: «Потому что люди обманут, а машина — как

природа: сколько ты в нее вложишь, столько она тебе и отдаст, ничего не зачит». Вот оно! Природа не выдаст, в ней — закон, в ней хоть и слепая сила, да нет слабости, а люди слабы, лукавы, и в лоне природы они чужие. Человек — не сын природы, имеющий с нею, если хотите, нравственную связь и потому имеющий нравственную связь с другими людьми как с сыновьями одной матери, как с братьями. А если в природе, в мироздании высшего смысла нет и на пустынной ладони природы человек, в сущности, одинок? Лишенное внятного морального смысла, построенное на соотношении стихийных сил мироздание производит на свет человека, который решительно не может понять, откуда же в нем берется желание делать другим добро. И открывается в обыкновенной душе Сени Шалая непонятный просвет в бездну, и сам он не понимает, что с ним сделалось, а жить как все — не может.

Но жить надо.

Надо же как-то жить, — вздыхалось мне в 1970 году. — Что сделал Владимов? Заслонился! Тою же работой! Рыбой! Огромным количеством выловленной, ошкеренной, блистательно описанной рыбы, в котором едва не потонули столь зорко увиденные человеческие проблемы.

Так казалось мне при появлении романа, и весь мой тогдашний отзыв — вопль отчаяния, при невозможности понять, куда нас несет и почему слабеем. Я успокаивал себя тем, что уплывшие вернутся на землю и все как-то решится.

Отделался каламбуром: от проблем не уплыть.

Перечитывая «Три минуты молчания» почти через тридцать лет, вижу: не уплыли, разумеется.

В 1970 году владимовский роман виделся мне в составе воображаемой литературной армады, двинувшейся сквозь шторм за общей истиной.

Сегодня он читается иначе.

ВЗГЛЯНУТЬ НА ПАРУС...

Сегодня, когда мы можем «оценить наконец то, что автор хотел сказать о людях», есть смысл с доверием обратиться к тем ключевым именам, коими озаглавил автор главы своего повествования.

Их пять. Лиля, Сеня Шалая, Граков, «Дед» и Клавка.

Самый простой вариант — Граков. Шишка промыслового масштаба, «сельдяной бог». Типичный совначальник, очерченный у Владимирова с таким ледяным отчуждением, какое потом он испытает разве что к гэбэшникам в известном рассказе и к особистам в романе о генералах. Граков сразу ясен, интерес только в деталях: орет о трудовом энтузиазме, машет лопатой, подавая пример, провоцирует команду на безумные действия, а когда в пробоины хлещет вода, напивается вусмерть и прячется от всех. Спасенный же — громче всех орет: толкает речугу о героизме.

И что? «Вот уж про кого мне меньше всего хочется думать», — роняет рассказчик. Мне, читателю, тоже. Не потому, что Граков описан тускло или невнятно, — нет, он описан резко и ясно. Но он все-таки не ввязан во внутреннее действие. Во внешнее — ввязан, но в то моральное терзание, которое составляет смысл усилий главных героев, — нет, не вписывается. Он — вне их проблемы.

Ничего делать не умеет. Всю жизнь — ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра — под забором мослы сложит. Разве что пенсия персональная...

И что? — повторяю. Ничего. Ни на что эти мослы не повлияют, ни на одну душу. Разве что пенсии позавидуют люди. Но те, что позавидуют, — тоже «вне проблемы».

Вот «дед» — совсем другое дело. Единственный, можно сказать, полноценно положительный герой. Хотя и на «снижениях» тона работает. В тапках на босу ногу по кораблю ходит. Копаются где-то у себя в машинном, но в костюме и при галстукке. Гракову, между прочим, руки не подает. В войну, между прочим, одиннадцать миль проплыл в ледяной воде, когда потребовалось. После войны, между прочим, срок оттянул по доносу, но дело даже не в этом (хотя и в этом: из-за таких деталей цензура роман корежила и не пропускала). Дело в том, какую роль «Дед» играет во внутреннем, нравственном конфликте романа. Он — как «истинный горизонт» для качающихся героев. О «смысле» не спрашивает, просто поступает так, как надо по смыслу. Не мучается вопросом: «как все» он или «не как все», — просто делает то, что считает правильным. В критическую минуту — других спасает, не себя. А так — сидит где-то возле своей машины: машина не обманет!

Но когда машина все-таки обманывает, и потерявшую ход посудину несет на скалы, истина обнажается: «Дед» велит ставить парус...

Вот он, апофеоз и обрыв, последний рубеж и последний упор. Вчитайтесь:

«Дед» послунил палец — хотя зачем было слюнить? — поднял кверху, сказал:

— Полный бакштаг левого галса!

Я увидел его лицо под капюшоном — все в морщинах и молодое.

Вся литературная родословная Владимова на мгновение высвечивается в этом эпизоде. «Моби Дик». «Водители фрегатов». «Алые паруса». Сказать, что он «романтик», — ничего не сказать. Он — романтик, возненавидевший романтику за ее бессилие, романтик, попавший в эпоху «вонючих машин», в сволочную реальность, которую не переломить. Вот и герой его любимый нырнул к машинам, чтобы глаз не пялили. Тапки надел. А парус увидел — все...

Тридцать лет около машины провел, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился.

Кончился «Дед» — потому что кончилась романтика. И не вернуть ее. И не спасти. И не очиститься от пошлости, которой она, эта самая «романтика», оборачивается в век граковских «речуг».

Но почему так?

Отчего мы все чужие друг другу?.. Кому-то же это, наверно, выгодно — а мы просто слепые все, не видим, куда катимся...

Кому выгодно — Владимов определил: Гракову. Но мы-то почему катимся? — Этот вопрос остается в романе без ясного ответа. Оттого и вопль этот авторский в финале: что же, мы сами себе враги?!

Какие бедствия нам нужны, чтоб мы опомнились, свои своих узнали?

Кто же эти свои, которых невозможно узнать?

ДЕТИ ТРЕВОГИ

Тут мы подходим к Лиле и к тем романтикам, которые вокруг нее кучкуются. В сволочной реальности, то есть на рыбной палубе, эти ребята — в роли салаг, и вызывают они большею частью насмешки.

Лиля — это «специалистка», — насмешливо говорит о ней Клавка. Два излюбленных владимовских женских типа стоят

справа и слева от героя. И раньше стояли. Лиля — прямое продолжение той «специалистки» из «Большой руды», что выучила в институте про «сеноман-альбу» и «апт-неокому» и подалась в карьер изучать жизнь, а Пронякин никак не мог представить ее себе в детстве. Потому у него с ней фатально ничего не могло быть. И у Сени Шалая с Лилей ничего не может быть. Хотя он вроде бы влюблен, и она как бы готова ответить. Ничего не получится. Фатально. Соскользнет чувство с интеллигентки. Отделена. Невидимой стеной. И «алики» вместе с нею: Дима и Алик — отделены.

Помните, какую кличку дал когда-то тонким романтикам, чистюлям-интеллектуалам Александр Вампилов? «Алики».

У Владимирова звериное чутье на имена.

Так вот, Алик у него... Спортсмен, между прочим. И ведет себя мужественно. Как и Дима, однокашник его, проходящий на СРТ «школу жизни».

Стеной от всех отделены — почему? Потому что не жизнь это для них, а — «школа жизни». Потому что они — хорошими остаться хотят, а жизнь — вещь сволочная. В сущности, они — те же «очкарики», только прикрывшиеся баскетболом-боксом. Очкарик, впрочем, в романе тоже имеется, неприкрытый: в институте около Лили крутится. А эти — хоть и прикрыты — все равно чужие этой жизни. Тут — нерв владимовской трагедии. Сквозной, через все его книги.

Он правильно заметил, что в «Трех минутах...» лишь продолжил то, что было заявлено в «Большой руде». Заявлено было еще и раньше, в первом же рассказе, где герой мазал лыжи, чтобы убежать от сволочной реальности.

Не убежал. Мы это поняли, когда на СРТ «сети грузили». Дима понюхал и сказал Алику:

— Лыжной мазью пахнут.

Это и есть свои, в которых не хочется узнавать «своих». Шестидесятник Владимир мучительно, по капле, выдавливает из себя шестидесятника. Безуспешно.

Потаенную, родственную привязанность к ним он от греха подальше перепоручает — «Деду». Тот — ничего не боится:

— Книжечк начитались? Смысл жизни ищут? Так это же прекрасно! Начитались — и пошли. Другой и начитается, а не пойдет. Сейчас хорошая молодежь должна пойти, я на нее сильно надеюсь. Мое-то поколение — страшно подумать: кто голову сложил, кто

руки-ноги на поле оставил... Кого и не тронуло — тоже... в глаза посмотришь — ну чистый инвалид. А тут что-то упрямое, все пощупать хотят.

«Алики», романтики, в рейс идут, чтобы смысл жизни нащупать — это на них «дед» надеется, потому что «мы» (то есть они, старики) — поколение конченное. А они — молодцы, умники, — интеллектуалы. Смысл ищут.

На аксеновском рубеже бой ведется. Только нащупан ли упор для боя? «Дед»-то на молодых романтиков надеется, да только сами они на себя у Владимирова не надеются:

— Мы, наверное, все серьезно больны. Я и о себе, и об Алике говорю. Все милые порядочные люди. Не гадают в своем кругу. Не делают карьеры один за счет другого. Но на самом деле положиться на нас нельзя. Потому что — никакие. Наверное, когда людям говорят одно, а потом другое, это не проходит безнаказанно. В конце концов рождается поколение, которое уже не знает, что такое хорошо и что такое плохо.

Неслабая характеристика шестидесятников; это им сначала говорили, что Сталин гений, потом — что изверг, исказивший Ленина. Дождутся они и про Ленина... да словно бы предчувствует это Владимов, и отсюда — этот сиротский вопль, исторгнутый из самой глубины «шестидесятнического» сердца:

— Мы все — дети тревоги, что-то в нас все время мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чем-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, прибудем к какому-нибудь берегу, нас уже не будет, а будут довольно-таки твердолобые обыватели...

ХРУПКОСТЬ — ПЛАТА ЗА ТВЕРДОСТЬ

«Мы не знаем» — это Лиля говорит. Владимов — знает. И тревога его — абсолютно осознанная. И берега, между которыми мечется не находящая опоры душа, ему отлично ведомы. Надо же вспомнить, что такое в кодексе шестидесятников означает стать «твердолобыми обывателями», чтобы почувствовать немислимость такого якоря.

А тогда — скитание. Скитание души. И полная невозможность понять, где право, где лево, кто праведник, кто сволочь, и вообще — что такое хорошо и что такое плохо.

Владимов же именно вот и хочет узнать: кто хороший человек, а кто сволочь.

Сволочная реальность не дает узнать.

«Романтик» — хорошо или плохо? Да хорошо же! На парус взглянуть! Но Владимова в ярость приводит *бессилие* романтики; именно этого он ей и не может простить, именно это мучительное колебание непоколебимой души составляет потаенную драму самого Владимова, сжигает его скрупулезную прозу гамлетовским жаром.

Быть или не быть, если и быть не дадут, и не быть нельзя?

Самые сильные страницы его романа — описание шторма; я, во всяком случае, не знаю в современной прозе более впечатляющей картины того, что происходит на судне и в душах моряков, когда разбитый корабль вот-вот станет тонуть. Страшные минуты членятся на мгновения, растягиваясь в вечность, поток сознания распадается на «корпускулы» отчаянных действий, и обнажается — тшета, и каждая душа предстает перед... перед... как бы атеисту получше выразиться... перед Тем, Которого Нет.

Так что же делать, если тонем и шлюпок не хватает?

Братва лезет в чемоданчики.

«Алики», сощурясь, комментируют:

— *Пардон, кажется, сейчас состоится обряд надевания белых рубах?*

И, срываясь с иронии:

— *Все-таки вы — подонки. Я думал, что вы хоть побарахтаетесь до конца, а вы уже на лопатках лежите.*

Иные кореша действительно лежат в смертных рубахах, иные же режутся в карты на шелобаны, и невозможно понять, что это такое — эта полная равнодушия к смерти игра в карты на кренящейся посудине: акт трусости или смелости? Скорее — фатализм. Скорее — тут толстовский капитан Тушин проглядывает. И та «китайская» способность влиться в «рой», которую усматривали у Толстого.

— *Ничего, друг мой Алик... Все естественно. Когда есть личность — ей и должно быть страшно. У ней есть что терять. Вот китайцам, наверное, не страшно. Они — хоть пайками, и ни слова упрека...*

Ну, да: детям тревоги страшно, потому что они — личности. А Сеня Шалай — «китаец», он считает: «Чему быть, то и будет». «Алики» ему: «Эту философию мы тоже знаем: лучше сидеть,

чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А все само собой образуется?» А Сеня: «Конечно, само собой». Они ему про гордость морских волков, про последний обломок мачты, на котором надо спастись. А он: «Авось пронесет».

Дойдя с подначками до Айвазовского («Девятый вал», помним, введен как картинка на стене в общаге), «алики» серьезный разговор прекращают. Это для них край, дальше — «твердолобость обывателя», и разговаривать не о чем.

Но для Владимова, который в этих салагах видит по-своему вывернутую твердолобость, Сеня не так-то однозначен. Он не готов лечь и ждать конца. Он думает о смысле: зачем все это?

«За что? В чем мы таком провинились? А разве не за что? Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. Мы — шваль, сброд, сарынь, труха на ветру. Мы — звери друг другу — да хуже, чем они, те — если стаей живут — своим не грызут глотки...»

КТО СПАСЕТ?

В одиночку не спастись, а в стае спасешь не то, что хочешь спасти. Дилемма, решения не имеющая. В ту же пору, перерабатывая «Верного Руслана», Владимов взвешивает варианты: уйти в трезоркину конуру, слиться со сбродом, пригнуться до швали, притвориться трухой на ветру? Или — погибнуть, подобно одинокому волку, да не просто погибнуть, нет, врагам перегрызть глотки!

А потом скажут: понаделали палачей из честных романтиков...

Выходит, невозможно взять ни ту, ни другую сторону?

Однако Владимов по складу характера не выносит ни половинчатости, ни раздвоенности, он требует в любой ситуации твердого ответа: да или нет! — и вот он вынужден на кренящейся палубе СРТ-815 сказать: кто хочет удержаться — не лезь за горизонт, держись палубы...

А Лиля?

А Лиля — своей палубы и держится. Она из породы «аликов»: за нее с детства мама решала. Потом — «в школу два квартала туда, два обратно. Потом — одной и той же дорожкой в институт. Потом в другой». А палуба качается: «сначала одно, по-

том совсем другое, потом опять то же самое». Ни да ни нет, то есть и да, и нет. «Нравишься ты ей? Да нет». «Такая же данестика, что все мы».

Это «алики» говорят Сене.

А он: «Ничего, переживем».

Пережить-то переживает, только без нее. Без Лили. Без аликов-шестидесятников с их бессильной романтикой. Они Сеню не спасут. Сеню Клавка спасет.

Клавка — предельно яркий вариант всех владимовских буфетчиц, — все, что было и в пронякинской «женулке», и в Стюре, приютившей зэка в «Верном Руслане». Интеллектуалка проваливается — буфетчица выручает. И собой хороша, и собой пожертвует, и хватка есть, и доброта. Для того чтобы соединились в Клавке эти не всегда соединимые стороны души, то есть: врожденная верность и умение вертеться в сволочной реальности, Владимов наделяет свою героиню недюжинной силой (в том числе и физической, иначе как же над кастрюлями да над корытами сохранит она необходимую женственность?).

В общем, на Клавку — вся надежда: только ей под силу спасти мятущегося героя. Владимов ему эту самую Клавку и отдает. Под самый занавес и, словно бы стесняясь «счастливого финала», отдает условно, в качестве чужой жены (обнаружив неожиданно свекра), а дальше — лучше не рассказывать, там «совсем другая история».

Ну, вот: «Все романы обычно на свадьбах кончают, потому что не знают, что делать с героем потом».

Потом — и Клавка станет «другая», и герой — «другой». Так что лучше остаться тут — с полуоткрытым финалом. То есть с неразрешимостью.

Ибо если, в отличие от Лили-интеллигентки, Клавка-буфетчица — спасет, то вот вопрос: *кого* же она спасет? «Алика», интеллектуала? — Никогда. Этому нет спасения. Бича какого-нибудь спасет? Неинтересно.

И вот оказывается в центре романа нечто третье: тот, кого она спасает. Странный герой: и с «аликами» спор ведет на равных, и с бичами свой.

Арсений Алексеевич Шалай, по паспортно-судовой роли. А так-то просто Сеня Шалай. Или — Шалай, как его разок опознали. У Владимова, повторяю, тонкое чутье на имена и клички.

Странный герой принимает на себя его тревогу.

По внешности, по типологии, по социальной привязке — сама обыкновенность. ФЗО, семь классов, призыв, флот. Мог попасть в шофера, попал в рыбаки. Тут даже не нужна и куртка, чтобы почувствовать, что перед нами родной брат Пронякина, — куртка описана на первой странице «Большой руды», и куртка же опознавательным бумом болтается по всем страницам «Трех минут молчания». Разумеется, с тем отличием, что у Пронякина куртка — как у всех, а у Шалая — не как у всех, но ведь этот аспект, как мы выяснили с помощью «Деда», бессмыслен до абсурда; это Лиля всю жизнь рефлектирует над тем, как ей жить: как все или не как все...

А Сеня?

Странный парень. Тончайший ретранслятор авторских идей и оценок, спрятанный в самую середину швали и трухи. И потому — трудноуловимый.

«ТЫ ЗНАЕШЬ, ТЫ — КТО?»

Итак, опознавательная краска ему, отпущенная, — готовность всех понять. И — пожалуй. Сене всех жалко. Жалко бича бездомного, вахтершу, «аликов». Жалко даже того бондаря, который Сене противен и который, между прочим, «аликов» презирает. Монотонность этой жалости не должна нас убаюкивать, потому что объектами жалости становятся невообразимо разные, несовместимые и непримиримые явления сволочной реальности. Собственно, Владимов нагружает жалостью героя, во все на то не напрашивающегося. Собственно, он *свою* жалость ему передоверяет. Собственно, он, писатель Владимов, перегружает на нормального парня по фамилии Шалай ту самую интеллигентность-романтичность-совестливость, которую шестидесятники-салаги заведомо не снесут.

А чтобы мы не пропустили нравственных результатов этого опыта, бичи палубные время от времени и подсказывают нам, кто такой Сеня, ругая того «гуманистом». Окончательный же приговор выносит бондарь. Апелляции не будет, для чего и взят тут случай той самой «необъяснимой вражды», изначальной «биологической несовместимости», каковая описывается в учебниках психологии. Владимову этот случай нужен именно затем, чтобы вынести вердикт за скобки всякой логики, упереть

его в какое-то запредельно прочное основание, ибо только так, «биологически неотвратимо», сволочная реальность должна разделаться с «гуманистом»:

— *Я бы таких добрячков на мачте подвешивал!*

Сеня — с фирменной своей улыбочкой:

— Феликс! За что ты меня ненавидишь, сволочь?

Вот чутье на имена! Феликс! Счастливчик! Все понимает, а всосался все-таки в труху, влез в кучу. Потому и сволочь. «Сволочь» в данном случае — пароль-слово.

— *А добрый ты. Умненький. Вот за это, — отвечает Феликс.*

— Понятно. А салаг ты все же не так ненавидишь, как меня. (То есть «аликов», интеллигентов, «детей тревоги»).

— *Салаги мне что? Они отплавали да уехали. А ты свой, падло. Все время перед глазами будешь.*

Конец опыта. Остается «убрать трупы». И трапы.

Понятно, что Сеня «перед глазами» лично не останется. Уйдет с корабля. Куда? На другой корабль. Или на сушу. Россия велика...

Никуда он не уйдет — от самого своего скитания. Будет искать пристанища, Агасферов дух, вселившийся то ли в бича, то ли в бомжа, то ли в бродячего проповедника.

Нигде не причалит. А причалит — так и сделается «другим», неузнаваемым и, может быть, Владимову неинтересным.

Смутное ощущение непонятной вины, то есть вины, которой его наградили без его ведома, — отсюда же. И «чистосердечное признание», принесенное добровольно: «Я сам это себе выбрал». И — одиночество.

Горькое, тайное, неизбывное, темное одиночество — с первой до последней страницы. Буквально с первой: «Я был один на пирсе..» — и до последней: «Ты знаешь, ты — кто? Одинокая душа!»

Одинокий волк. Нет, не морской волк, не викинг в доспехах на кренящейся палубе в воображении «аликов», — а волк добрый, волк домовитый, прародитель Руслана, крепкий в стае, готовый нести добычу в логово верному семейству, — осознающий свое одиночество в сволочном мире, — вот автопортрет человеческого сознания, когда оно у Владимова замирает на три минуты — «три минуты молчания», — чтобы найти истинный горизонт, а потом вновь вцепиться в пляшущую палубу корабля, получившего пробоину в штормующем море.

ГЛАС ТОГО, КОТОРОГО НЕТ

*К голодному Аллах не придет иначе,
как в образе куска хлеба.*

Исламская мудрость

При чтении всякой настоящей книги бывает момент читательского озноба, иногда необъяснимого, а иногда и не нуждающегося в объяснении.

Перечитывая «Три минуты молчания», я ожидал этого. Но не подозревал, в какой именно миг меня «пробьет». То, как я читал роман двадцать лет назад, — «другое». Я про теперешнее.

Посреди штормового рева — Глас с неба. Женский картавый голос, с акцентом:

— Всем, всем, всем! Береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике... Вертолетам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи — русский и шотландец. Их несет течением и ветром на Фарерские скалы. Примите их координаты...

Я остановился переждать подступивший спазм. Тут кто-то около Сени сказал:

— Правильный бабец. Эмигрантка, наверное.

Ему ответили:

— Все б тебе про бабцов.

Я опомнился: старый дурак, за полста лет занятий литературной критикой не изжил читательской наивности. И подумал трезво и умудренно: как же нас должно было укачать, чтобы Тот, Которого Нет, сказал единственные понятные нам слова.

Впрочем, если Его нет, то какой ты к черту штабс-капитан (просто капитан, генерал и проч.).

ОГЛАЗЬЕ ПАНОРАМЫ

«Понятные слова» по-своему искала в ту пору и критика, устроившая вокруг «Трех минут молчания», как выразился Владимов, кошачий концерт. Длился этот концерт до тех пор, пока «Верный Руслан» не вынырнул на Западе, после чего воцарились во-

круг Владимова три пятилетки молчания, что было, возможно, еще хуже, чем концерт.

Последний раз автора «Трех минут...» вытащил в «Литературную газету» на диалог Феликс Кузнецов в 1976 году, и до 1989 года, когда тот же «Руслан», вернувшись в родную зону, то есть в советскую печать, легализовал здесь имя своего автора, о Владимове официально «не было ничего известно». За эти годы Владимов вышел из Союза советских писателей и вошел в международную организацию «Эмнисти Интернэшнл», в рамках которой повел диссидентскую деятельность. Затем он отбыл в Германию. Там он некоторое время редактировал журнал «Грани», потом с «Гранями» порвал и сосредоточился на работе над новым романом, о котором лишь смутные слухи доходили до советских читателей. Известно было, что роман называется «Генерал и его армия» и что как-то касается судьбы «генерала-предателя» Власова. Само по себе это было, по тем временам, рискованно, однако риск угадывался не только в предмете, но и в обстоятельствах.

Конечно, советские читатели привыкли, что от текста до текста у Владимова проходят годы, но и знали, что каждая новая его вещь становится событием. Риск, однако, был в отрыве от почвы, в отрыве от ситуации, которая в России менялась непредсказуемо. Все-таки когда опора ползет из-под ног литературы *куда-то вбок*, писатель теряет смысл работы. Все-таки он рискует оказаться в положении генерала, которого оставила *его армия*. В положении оратора, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров. Поневоле вспоминаешь притчу о фанатике-стилисте: на необитаемом острове он продолжает писать, отделявая фразы... для кого? Ни «для кого». Для себя. Просто потому, что умеет. Потому что мастер. Потому что — такой.

Тут Владимов и доказал, что он — такой. От него и следовало ожидать чего-то такого. То есть: классического романа, выношенного десятилетиями, отточенного до блеска. И о чем? О событиях полувековой давности! О войне — и это после Гроссмана, после Симонова, после Астафьева и Курочкина, не говоря уже о Толстом и Солженицыне. И вообще обо всей двухвековой русской батальной литературной традиции, в створ которой Владимов встал открыто и осознанно.

Как все это могло вписаться в панораму советской, впрочем, уже «российской» литературы, в которой громко закричали мо-

лодые, что они выбирают пепси? Запахи владимовской прозы далеки от этих новых одеров. У Владимова пахнет гарью, танковым выхлопом, ружейным маслом, порохом и кровью.

Достоверна фактура, выверена форма: все врезано жестко, все пригнано, взвешено, прокатано, впаяно. И экономно. Иной раз одна деталь держит фронт, но деталь выписана до мельчайшей достоверности. Полевая фуражка Жукова, надвинутая низко и прямо. Наборная рукоятка ножа из пластинок цветного плексигласа и алюминия, — только память человека ТОЙ ЭПОХИ удерживает такие мелочи.

Кажется, что Владимов щеголяет осведомленностью: не жалеет строк на какой-нибудь портсигар: читатель должен рассмотреть выколотые сапожным инструментом скрещенные, перевитые гвардейской полосатой лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной».

Иногда, как бы сомневаясь в том, что читатель из поколения, «выбравшего пепси», разберется сам в реалиях военной эпохи, Владимов дает объяснения в сносках. Принцип отбора непонятностей, правда, не вполне понятен. Расшифрован, например, «КПП»; растолковано, что такое «барражировать», но оставлены без объяснения «антабка», «глизантин» и «ввертные шипы». Оно, конечно, и из контекста более или менее ясно. Так что «уточняющие» сноски тут скорее — как бы дополнительные характеристики самой прозы: точеной, граненой, юстированной.

Эта проза как бы отделена от расхожей ясности, отделена — именно щеголеватой военной терминологией. И так — до самого финала, до последних слов о командире гаубичной батареи, когда он выстраивает «параллельный веер» и наводчик по его команде крутит «маховики» и приникает к «оглазью панорамы»... Вы видите это оглазье и эту панораму, и даже как бы видите веер траекторий, но страшный смысл этой наглядности не сразу доходит до вас: то ли по немцам бьет наша гаубица, то ли по власовцам, и кто там *чужой*, а кто *свой*, разбирать некогда, а когда наступает ясность, вы понимаете, что лучше б ее не было, этой ясности, потому что во мгле кровавой военной реальности высвечивает Владимов такое, что не укладывается ни в военную, ни просто в человеческую логику: смертоносный советский снаряд летит в машину советского же генерала, главного героя романа «Генерал и его армия»...

Это — финал. Но долг путь к нему, и выслан железной военной логикой.

Огранка замечательная, выверено все по законам правильной русской прозы, с перспективой, определяющей иллюзию читательского присутствия, со встроенными зеркалами заднего обзора, обеспечивающими эффект авторского всеведения.

Скажем, прогуливается шофер Сиротин с сексоткой Зоечкой, как и приказал им майор-особист Светлооков, у всех на виду, чтобы прикрыть «информационный канал» видимостью флирта, — краем глаза следит Владимов перспективу, окружение: вроде бы описывает тех, кто может видеть их, то есть Сиротина и сексотку, но через «встроенное зеркало» оборачивает дело так, что в фокусе — именно окружение: зенитчики, санитары, ремонтники: вы, в сущности, получаете панораму тыла военной части.

ВСТРОЕННОЕ ЗЕРКАЛО

Вот как это выписано: «минимальными средствами», но с голографическим эффектом присутствия:

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под брезентовым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетверки»; ремонтники в черных промасленных комбинезонах обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, заваривали шипучей дугой от передвижного сварочного генератора; один, повязавший тряпкой нос и рот, счищал надетой на палку скоблilлкой с почерневших башен комочки прикипевшего горелого мяса.

Последняя деталь, приобщенная с тою же невозмутимостью «materого реалиста», выдает в авторе человека, прошедшего через осмысление Герники и Освенцима, а может, и преодолевшего искус постмодернистского «уравнивания мотивов», но это все — в глубоких «щелях» и «складках» бытия, в блиндажном подтексте, под тремя накатами мастерства, оставляющего на поверхности лишь графично-точную разметку ролей и деталей: вспотевший от страха шофер прогуливается с фаянсовой телефонисткой, передавая той сведения на своего генерала для сплетшего всю эту сеть подлеца-особиста.

Выверенность сюжетных построений доставляет — чисто читательски — едва ли не наслаждение. Фактурные пласты схваче-

ны сюжетным ритмом, и, углубляясь в глизантинную топь «военной прозы», видишь, что выстроено все прочно и изящно. И всегда — на минимально необходимых точках. То есть на трех. То есть, вербуя доносчиков из ближайшего окружения генерала Кобрисова, майор Светлооков проходит через ТРИ контактных эпизода, и мы получаем ТРИ встречных портрета: шофер — адъютант — ординарец. И, соответственно, должна высветиться с ТРЕХ сторон фигура генерала в центре.

Изыщество построения подчеркнуто еще и тем, что этот наглый особист повторяет прием с каждым из троих. Унижая и незаметно подчиняя себе их волю, он просит подтянуть вон ту веточку: сломать прутик для хлыстика. А под конец рассказывает дурацкий сон про соблазнительную бабу, оказавшуюся при ближайшем знакомстве мужиком, и просит истолковать, что бы это значило. И собеседники подчиняются, подавая прутик, вникая в дурацкий сон, непроизвольно подчиняясь особисту в мелочи, а там и в крупном, то есть обязуясь доносить о каждом шаге генерала. Соглашается и перелетный шоферюга Сиротин, для которого что тот генерал, что этот, и цепкий штабист адъютант Донской, для которого этот генерал — ступень к карьере...

Возникает ощущение какой-то потаенной, всеобщей невидимой слабости — у всех этих, как сказали бы сейчас, крутых и вроде бы независимых, и по-своему достойных «вооруженных мужчин». Ощущение, что Владимов, пытающийся нащупать базис, твердое основание в характерах своих героев, шарит в пустоте и натывается... вернее, не натывается, а наоборот, упускает опору.

Это смутное чувство беспочвенности перекликается в моем читательском сознании с той давней болью, когда в ранней повести его, в «Большой руде», такой же вольный шоферюга, Пронякин, вдруг почувствовал, как дрогнула и поползла вбок под его колесами дорога...

А Донской? Этот вроде бы покрепче. И имеет основания смотреть в глаза особисту без страха. Суховатый, четкий, исполненный чувства собственного достоинства, весь «под князя Андрея» — он-то чего боится, он чего пугается перед Светлооковым? Но тут возникает, опять-таки в моем читательском сознании, «другая бездна» владимовского мироощущения: безопорность долга. Там воля вольная — тут воля смиряющая. Там гуляка, перекатиполе, «ветер в лицо». Тут — служака, рыцарь долга, «вооруженный мужчина» — апофеоз той ВЕРНОСТИ, той воин-

ской доблести, которая всегда выделяла Владимира в рядах его размашисто-романтического поколения. Однако читатели «Верного Руслана» помнят, конечно, какой ловушкой, какой трагической бессмыслицей оборачивается эта верность, этот долг рыцарский, эта воинская самоотдача, когда высший смысл служения оказывается срезан.

Этот-то проклятый вопрос и сейчас главный. Встает откуда-то из «нижней бездны» нового владимовского романа. Висит в воздухе. Речь вроде бы не о том... Так и в «Большой руде» речь вроде не о том, и независимость свою Пронякин бригаде успешно доказывает (о чем и речь). И в «Верном Руслане» бесчеловечность и подлость лагерной системы доказана (об этом и речь). Но плывет вбок дорога под накреняющейся машиной, и плывет в небытие не востребуемая честность верного Руслана, и в «Трех минутах молчания» герой никак не может принять боевую стойку на прыгающей, уходящей из-под ног палубе сейнера. Хотя в «Трех минутах...» речь вроде тоже не о том.

И теперь: речь о солдатской работе, о спокойной решимости русских умереть за клочок земли, о котором они никогда слыхом не слыхивали, за Москву, которую они никогда и близко не видели, — речь о спасении России, которая никого не жалеет и за которую идут умирать те самые люди, которых она не жалеет, — эта громада, твердыня, держава величественно вздымается над кровью. Но... зовет в лесок поговорить майор Светлооков и, полхлестывая прутиком, предлагает посотрудничать — и ничего больше нет: ни громады, ни твердыни, ни державы, а только невозможность защититься и тошнотный страх.

А может, это вот так изначально и связано одно с другим: «размазанность» отдельного человека и непобедимость державы? И Владимир с этим смиряется? Вот капитулирует у него шофер Сиротин, за ним — адъютант Донской, и вы ждете, что ординарец Шестериков тоже сдастся, и это будет третья вершина треугольника, и подтвердится «правило трех точек», и завершится охват и штурм с трех сторон. Погибнут все трое, как бы аннулировав сексотские поползновения майора Светлоокова и оставив нам первый капитальный вопрос о жизни, как ее понимает Владимир (и нас заставляет мучиться этим вопросом): почему всякому нашему человеку, будь то офицер-адъютант, сержант-ординарец или солдат-шофер, — непременно нужен тайный дублер-соглядатай из особистов, тихий проверяльщик, из тех же

офицеров-сержантов-рядовых выделившийся, — чтобы следить за каждым проявлением бытия, действительно ли оно бытие? Что это за реальность такая, что она ежесекундно выделяет из себя другую, параллельную реальность, особую, опричную, тайную, чтобы она, эта секретная реальность, удостоверенная ту, явную, что та не врет самой себе?

Гибнут светлоокосские осведомители, гибнет Шестериков, оставляя на этом свете генерала, покалеченного телом, а еще больше — душой: доживать до старости, мучительно думая о цене Победы и о смысле подвига, который совершили они все: и генерал, и адъютант, и ординарец, и шофер, и еще миллионы людей, «кучей polegших» в войну.. Так чего же в ней больше, в войне: святости или подлости?

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Цена победы — вот к чему прикован Владимов. Если десять тысяч душ в городке, и десять тысяч душ надо положить, чтобы его у немцев отбить, — так, выходит, за Россию уплачено Россией же! Как вместить это смертельное уравнение? Кто решится платить по таким счетам? Какой полководец ответит за эту стратегию? Это полководец? Или мясник?

В центре романа — групповой портрет генералов — «совещание в Спасо-Песковцах», своеобразно обернутый «Совет в Филях»: обернутый в том смысле, что там Москву сдавали, а тут Киев берут. Толстовский же принцип, когда генерала описывают не как генерала, а как «просто человека» или даже «просто особь», — сохранен. Реальные исторические фигуры перетасованы с вымышленными или слегка закамуфлированными. Я думаю, историки и специалисты по военной прозе с интересом разберут этот владимовский коллаж, проследив, где там Дробнис, где Мехлис, сколько в Чарновском от Черняховского, а в Рыбко от Рыбалко, у кого из командующих было вечно обиженное лицо и у кого — дочка Майя. Интереснее другое: движение владимовского духа. Отдавая должное движениям его пера, точности письма, и прежде всего — рельефной выразительности фигур Жукова и Хрущева — центральных в этом центральном эпизоде романа, я с удивлением отмечаю заметную авторскую неприязнь к обоим. Это тем более интересно, что драматургиче-

ски они здесь противоборствуют: бесцеремонная крутость одного есть ответ на самозабвенное тараруйство другого. Естественно было бы автору принять чью-то сторону. Но Владимову, кажется, противны оба. Что, впрочем, тоже понятно.

Хрущев противен — идеологическим «приплясом», совершенно бессмысленным в боевой обстановке, дурацкими «подарками» командармам, да еще и суетой вокруг того, кто будет освобождать Киев: Хрущеву надо, «чтоб это украинец был».

Тут Владимов срывается: «Пойдите же до конца — русских десантников, заодно казахов, грузин — снимите с танковой брони. Летчика-эстонца верните на аэродром. И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою соркапятку наводчик-татарин. Вот еще тех евреев отставьте, у которых целые семьи в этом... яру лежат расстрелянные».

Вообще говоря, я тут подписываюсь под каждым словом. Да вот получится ли на эти темы порассуждать «вообще»? И связать теперешние идеи с тогдашней реальностью? Тогда, в 1943 году, украинский вопрос не стоял так фатально. Иначе «национализм» запросто припаяли бы тому же Хрущеву, как припаяли Довженко. Никто тогда не рисковал доводить вопрос даже и до намека на «незалэжность». Это — теперешнее.

Но и в теперешнем контексте, когда эта самая незалэжность — всеобщий пароль и отзыв, — такое рассуждение (вообще говоря, повторяю, правильное) вряд ли будет расслышано. Оно не воспринимается «вообще». И потому способно вызвать обратный эффект. Что же до ткани владимовского романа, то в ней оно производит впечатление публицистического «выпада», то есть работает несколько «невыпад».

Этот мотив «выпадает» из общей мелодии. И не только этот. Я все время ловлю себя на том, что основная владимовская тема, за которой я начал следить, — замерла, ушла куда-то в паузу. Магнетическое поле, ведшее меня по первым страницам, ослабло. Особист Светлооков, уже завербовавший генеральского шофера Сиротина и генеральского адъютанта Донского, где-то в лесочке вербует сейчас генеральского ординарца Шестерикова, и, если он его сломает (а ведь сломает!), все баталии генерала Кобрисова против маршала Жукова и партаппаратчика Хрущева поползут *куда-то вбок*.

Я знаю, что Светлооков Шестерикова сломает. Я хочу знать, как. Мне интересны подробности, мотивы, степень сопротивля-

емости. Это в известном смысле более важный вопрос в системе романа, чем те оперативные проблемы, в которые со всей страстью военного прозаика углубляется Владимов. Важнее крутой бесцеремонности Жукова. Важнее того, с какого плацдарма, северного или южного, будут брать Киев. Важнее даже самого страшного для нас вопроса — о количестве жертв.

Потому что количество жертв — это уже не вопрос, это ответ. Он уже получен. Мы за Россию расплатились Россией. И, похоже, не в последний раз.

Но я хочу знать, откуда в нас фундаментальная склонность к такому принципу расплаты. «Мясник» или не «мясник» был полководец, спасший страну от немцев? Допустим, «мясник». Тогда вопрос: почему с такой готовностью русские люди (и «заодно казахи, грузины... летчик-эстонец... танкист-белорус... и те же евреи») согласны идти за «мясником»? Согласны умирать за любой клочок земли, даже и не имеющий никакого оперативного значения. Согласны возлюбить палача, всенародного, верховного, генерального. Ведь это же все осталось: и этот народ, и «мясники», сегодня кричащие о социальной справедливости (или о мировой цивилизации — это уж кто что оседлал). Этот вопрос у Владимова заложен. Он-то и висит в воздухе. Или, лучше сказать, тикает миной замедленного действия.

Генерал Кобрисов выбран Владимовым в главные герои романа именно потому, что он ближе всего к решению. Он помещен в тот центр, где скрещиваются все нити: и те, что идут из неприступной Ставки, и те, что идут из простреливаемого окопа (и те, что из тыловой дачки, где в послевоенном будущем надеется остаться при своем генерале сообразительный ординарец Шестериков).

Этот-то последний менее всего связан общим безумием. На издевательский вопрос ошобиста, что сон сей значит (ожаживал ошобист бабу, а оказалась баба — мужиком), Шестериков отвечает лучше всех. Он не проглатывает язык от страха, как Сиротин, и не отказывается брезгливо от ответа, как Донской, — он отвечает гениально: «к перемене погоды, товарищ майор», — чем вгоняет товарища майора в тихую и зловещую ярость.

А все-таки боится и Шестериков. И не признается любимому генералу, что Светлооков склонял его доносить. И генерал в свой час дает Шестерикову понять, что знает об этом предательском умолчании. И Шестериков признает, что по отношению к генералу это именно предательство.

Хотя все это, конечно, несколько натянуто. Если генерал все знает — по той железной причине, что особист *должен* вербовать его ординарца (*по службе* должен), и вычисляет предательство, так сказать, статистически (то есть признает, что выбора нет ни у кого: ни у Шестерикова, ни у Светлоокова, ни у него самого, генерала Кобрисова), то где тут, собственно говоря, предательство? Тут уж скорее верность верного Руслана долгу и присяге.

Впрочем, споря с Владимовым по частностям (а может, немного и провоцируя его, то есть испытывая его построения на прочность), я в главном принимаю его таким, каков он есть, со всем его нравственным максимализмом. Этот его максимализм, этот кодекс чести (рыцарский, воинский, офицерский, мужской, юношеский, мальчишеский — как угодно) выделил когда-то Владимова из поколения склонных к либеральной терпимости шестидесятников, а потом выделил вообще из литературы его времени, склонной опирать человека на что-то вне его («среда», «почва», «народ»). Владимов всегда говорил: плати сам. В известном смысле это его уникальность. И это то, за что я всегда ценил и ценю его, и люблю, хотя «странную любовь», потому что сам я, увы, мягкотел и думаю, что не устоит человек на Руси один: сломается. Или спасется, то есть нырнет «в кучу»: в «середку».

Вот так:

...а танки он гонит, понимаешь, гонит, а танки у него — ох, злые! И все куда-то в сторонку побежали. Ну, а мне что — больше всех надо? Тоже и я в сторонку. Не так что драпаю, но — в темпе. Я вам скажу... где лучше всего бежать. Лучше всего — в середке... Не спеши... Не дай бог, политрук с пистолетом навстречу выскочит: «Стой, труссы-предатели!» — или же заградотряд из пулеметов чесанет — первые пули твои будут. А всех вперед пропустить — тоже плохо, немец-то догоняет... Так что лучше в середке... Но если «мессер» налетит, именно он в середку весь боезапас всодит... Лучше — в сторонку...

«Не понимаю, — думает генерал, слушая эту исповедь (и сам Владимов именно в этот вопрос в конце концов упирается). — Кто ж тогда победы одерживал, если такие были защитники отечества, то в середку норовили, то в сторонку?»

И с удивлением признает, что именно они.

С удивлением и мы признаем это откровение, вроде бы неожиданное у Владимова. «Всегда окруженный людьми храбры-

ми», и он раньше думал, что побеждает тот, кто рискует. А если вглядывался Владимов в людей «кучи», то исчужа. Вспомним, как рядом с верным Русланом пехает у него какой-нибудь Тобик-Шарик-Трезорка, и Потертый подваливается под теплый бок к Стюре... И вот теперь, как последний рекрут на пути особи́ста-смершевеца, уже преодолевшего сопротивление Сиротина и Донского, встает этот шустрый, работающий, хитрый, практичный, насквозь «народный» Шестериков. Ну? Выдержит?

Диспозиция:

Если для шофера Сиротина смершевец... был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы непостижимые, то для Шестерикова он был — лоботряс.

Отлично сказано. Точно ли? Кто он в реальности, всеильный смершевец? Исчадие подлости, тайный совратитель, которого Владимов с тончайшим ядом нарекает Светлооковым? Нет, нам не преодолеть мистического ужаса перед этим инквизитором, пока мы не воткнем его в какой-нибудь «жизненный пласт». Владимов, хоть и скуп на живопись, однако штрихом-другим умеет же очертить типаж и обозначить корни.

Так когда-то в «Верном Руслане» было скупое, но точно обозначено происхождение лагерного вертухая* с голодавшей Украины. Всякому злу должно быть объяснение. Фарфорово-фаянсовая сексотка Зюечка делается понятнее, когда в перспективе лет видишь ее в облике «дебелой партийной бабенки, успевшей переспать со всеми инструкторами обкома», а потом — в облике «опустившейся бабищи, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле».

Точно так же мы ищем «типический ракурс» в инфернальной фигуре Светлоокова. И вроде бы двумя-тремя штрихами Владимов нас отсылает к чему-то знакомому. Лыняные волосы, заброшенные за крутой выпуклый лоб... что-то великорусское, может быть, провинциальное... шустрый мальчик, лучший ученик сельской школы, быстрый, сообразительный, с четким счетом. Попадает в артиллерию. Корректировщик, батарейный командир... И вдруг все это ползет вбок, в какую-то новую плоскость. Светлооков — поэт. И видать, неплохой — сам Илья Эренбург шлет ему добрый отзыв, после чего в армейской газете заводят

для начинающего творца персональную рубрику. Это уже что-то союзписательское, что-то Достоевское, Шато-Кириловское, неуловимо-неохватное: никакого «дебелого зада», никакого бытового происхождения — то ли ангел, падший до дьявола, то ли дьявол, испытующий в человеке ангела...

Так возникает посреди реалистичных декораций ощущение безвоздушного пространства, вакуума, «полигона», «театра военных действий», в пределах которого (в беспредельности которого) войсковой смершевец потому и кажется «всемогущим провидцем», проводником «непостижимых сил», что лучше всех отвечает общей скрытой готовности принять все это.

Владимов пытается преодолеть морок. Шестериков, трудяга, травленный заяц, пензенский мужик, «готовый поливать эту землю потом», — уж он-то имеет основания без всякой мистики считать Светлоокова бездельником, наевшим мурло на писании пустых бумажек?

Нет. Не имеет. Ни опоры, ни почвы, ни права. Земля под ним, Шестериковым, урезана, почва отнята, паспорт отобран, сам он — «беспаспортный крепостной, не могущий никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку... но и ту из его рук выдирают...»

Выдирает — Светлооков. Соломинка — в его руках. Все концы и все начала — в его руках. Огромная страна как бы не чувствует себя, не видит себя, не верит себе; она выделяет из себя особую фракцию все чующих, все видящих и все знающих опричников, которые и выстраивают из этой гигантской массы — воюющую машину.

Они все: и «вооруженные мужчины», и «лоботрясы», посылающие их на смерть, они все на дне своего существования бессильны, безпорны и потому потенциально бесчестны. Это их бессилие компенсируется «особым» существованием: особыми отделами, особыми сотрудниками, особыми органами. Рок России: особое, параллельное, «подлинное» (под линиями?) существование, равновеликое существованию «элементарному», ибо элементарное — выморочно и бессильно. Так разменивается жизнь на жизнь. Спасение покупается ценою гибели. Вольность — ценою рабства. Россия — ценою России. Страшен глубинный смысл владимовской метафоры, рожденной «в масштабах плацдарма». Жизнь равна смерти. На смысл существования не остается сил.

Владимов, конечно, так не формулирует. И даже, может быть, не совсем так чувствует. Он занят — непосредственно — проблемами «генеральскими»: оперативными, иногда тактико-техническими. И в обрисовке «сексотов» он одержим нормальной диссидентской ненавистью. Но под тканью романа «шестым чувством» все время чувствуется тайна. Иногда ее ощущаешь «по отсутствию», по тому, как уходит из-под описаний «магнитное поле» действия, вернее, даже не действия, а того тайного смысла, без которого действие вянет и дробится.

С литературной точки зрения это, конечно, слабость. Но она ощущается не как слабость текста, а как ослабление подтекста, и это даже интересно по-своему. Генералы спорят о том, как двинуть клинья, автор рассуждает о том, какой вариант операции достоин войти в военные учебники, а вы с тревогой следите за тем подспудным тектоническим зарядом, который оставлен и ждет момента.

Иногда это магнетическое поле подступает к самой поверхности текста, раскаляя эпизод до «прозрачности». Как в страшной сцене опознания трупов во дворе Орловской тюрьмы — сильнейшие страницы романа!

НАША БОЛЬ — НЕ ВАША

Эпизод этот достаточно известен историкам: при подходе немцев к Орлу в сорок первом году были уничтожены чекистами политзаключенные местной тюрьмы. Постреляли всех без суда и следствия. И местных эзков, и эсеров «всесоюзного значения». Зачем?

Задавая этой ополоумевшей, сволочной реальности логичные вопросы, Владимов именно и испытывает ее — логикой, то есть тем, чего она изначально лишена. И потому он чувствует, что должен вынести точку отсчета — вовне. Тут следует чисто толстовский ход — переброс действия «от Кутузова к Наполеону»... то есть к Гудериану.

Вполне по-толстовски немецкий генерал увиден с партикулярной стороны. «Старина Гейнц». Воин, рыцарски честный с противником и отечески честный с солдатами. Простой, ясный, благородный. Так что, в противовес Толстому, Владимов рисует завоевателя без всякого желания разоблачить и выста-

вить на смех. Генерал лишь в одном отношении выпадает из общей ситуации, к которой душой прикипел Владимов, — именно в том отношении, что Гудериан из нее — *выпадает*. Начисто. Он — пришелец. Соглядатай. Чужак. Причем вовсе не злонамеренный чужак. Интонация «должного уважения», с коей описан германский танковый генерал, опять-таки идет вразрез со всей той брезгливой ненавистью, которой обычно окружены в русском сознании чужаки и пришельцы. Стальные конквистадоры всегда входили в Россию, как в пустое пространство. Гейнц Гудериан, в отличие от них, учитывает, что в «пространстве» живут люди. Их существование его не интересует — но он мыслит логично, то есть подходит к людям с тою логикой, какую знает сам.

И вот он приказывает выложить на тюремном дворе сотни трупов, обнаруженных в подвалах тюрьмы, и приглашает родственников для опознания. По его логике, люди, увидевшие своих родных мертвыми, должны возненавидеть палачей, которые все это сотворили. Он не может понять, почему ненависть людей обращается не на чекистов, а на него, честного немца. Почему люди смотрят с такой злобой?

— *Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?*

«Это»... Да разве же можно понять, что значит «это» в стране, где все смешивается и сама реальность под вопросом? Границы мироздания начинают ползти в сознании честного Гейнца. Его танк, оставивший следы ввертных шипов на дорогах всей Европы, начинает скользить куда-то вбок по склону русского оврага, покрытого грязью и снегом. Европейский интеллектуал, располжившийся в Ясной Поляне, читает по ночам «Войну и мир», постигая русскую загадку. Он думает, что мистический смысл ускользает от него из-за чрезмерной энергичности немецкого перевода, меж тем как мистический смысл события состоит в том, что он, немецкий пришелец, сидит в своих «каменных сапогах» за столом Толстого и всякая логика (если логика вообще появится) начнется *после* того, как эти безумные русские выгонят благородного генерала из яснополянской усадьбы, а танки его размажут по склонам оврагов.

Но ведь чекисты убивали!

А это наша боль, не ваша.

Но ведь генерал Кобрисов, спаситель России, на которого у Владимова вся надежда, в свое время и продотрядами коман-

довал, и раскулачивал, и бунты крестьянские замирял, и целые села переселял в места отдаленные!

Знаем. Но это нас касается, не вас.

И Шестериков, от раскулачивания по миру пошедший, ему же, карателю, служит?!

Ему, не ему — *со стороны* не понять.

Именно в этом духе (дрогнувшим голосом и со слезами) отвечает Шестериков особисту:

— А вам-то какое до этого дело?

После чего они мирно идут по тропинке из лесочка, где состоялся их конспиративный разговор. И, в отличие от немецкого завоевателя, который искренне верит в логику и искренне же изумляется русской неვნемяемости, — наш советский особист своего собеседника логикой только «испытывает», то есть провоцирует, то есть запутывает, а сам преемственнейше знает, что почему.

Старина Гейнц, отвалив с тюремного двора в свой танк, думает о неვნемяемой массе, братающейся со своими большевистскими палачами, как о безрассудной силе, о слепой природе, об урагане, землетрясении.

Наш майор, из массы вышедший, думает иначе: общее всех сплотило. Эта светлая, стоокая, светлоокая, прозрачная, безжалостная сила — почти «механическое следствие» той темной, рыхлой, непробиваемой, жалостной, природной массы, в которой все у нас и вязнет, и спасается. Ей в противовес нужно что-то сухо-беспощадное, скрипуче пунктуальное, кабинетно-опрядное... опрядное — чтобы все прядки были прибраны — в пикку косматой «казахьей» непредсказуемости многопудовых «народных героев». Исчезает Светлооков — выныривает Опрядкин, лубянский следователь: «светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных желтых волосах...» — за считанные часы до начала войны ставит арестованного генерала Кобрисова на колени, выбивает из того показания...

С началом войны мизансцена мгновенно меняется: следователь протягивает подследственному руку, и генерал, поднимаясь с колен, спрашивает:

— *Стало быть, гражданин следователь, вместе будем теперь отечество спасать?*

Спасать Россию — ценой России...

Генерал Кобрисов — «негромкий командарм», из тех, чье имя может затеряться среди громких маршальских биографий, — для Владимова именно тот человек, который способен опереться на эту зыбкую землю. Владимов его и находит — как своеобразный гравитационный центр воюющей державы. Пониже тех, кто стрелами на карте посылает других на смерть, но повыше тех, кто безропотно умирает, не всегда успевая понять, куда и зачем их послали. «Восемь пудов скорби» — Фотий Кобрисов, здоровенный донской казак, — «почва» наша, «опора» наша!

Отбывает генерал в Москву. За назначением и отдохнуть. Не доезжает! Садится у обочины выпить-закусить. Вместе с шофером, адъютантом и ординарцем, которые в изначальной композиции вокруг него треугольником и были дислоцированы. Так что сюжетно все замыкается равновесно. Только срывает их всех с места... нет, не вихрь, а словечко, вылетевшее из репродуктора. В очередном приказе поминает генерала Кобрисова Верховный Главнокомандующий, он же Генсек, он же — главный палач, начальник всех лубянок, инициатор всех расстрелов, лагерей и ссылок. Он роняет имя Кобрисова в длинном списке отличившихся генералов, и седой казак, «восемь пудов скорби», пускается в пляс прямо на дороге, пьет на радостях с первыми встречными и, плюнув на все, разворачивает машину — обратно. На фронт!

Этот перышком летящий, шутом пляшущий грузный генерал — символ той реальности, которую «звериным чувством» чувствует Владимов. Чужая эта реальность и составляет для меня главную ценность его романа. Хотя ползет реальность куда-то вбок от маршрута.

Вот так когда-то ползла она, реальность, вбок из-под колес взбунтовавшегося шоферюги Пронякина, который не согласен был за гарантированный рублик трюхать в середке. Потом она, эта реальность, вывернулась в голове честного пса-рыцаря, который не жалел себя, следя, чтобы все трюхали в середке и никто не выходил ни вправо, ни влево. Потом эта неменяемая реальность ходуном заходила под ногами храбрецов, как палуба траулера в шторм, и они спасались, сбившись вместе: в «середке».

И наконец эта пляшущая, не узнающая себя реальность совпала и совместилась — с обликом и масштабом России.

ВСКОЧИТЬ НА ПОДНОЖКУ

Начало драмы: взбунтовавшаяся уголовщина вырывается на волю и начинает напоминать шторм, в котором тонет все. Вот как это откладывается в памяти молоденького юнкера Кобрисова, который осенью 1917 года решает, ехать ли ему в Петроград охранять Временное правительство или остаться в Петергофе в школе:

В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и Ораниенбаума, с пулеметными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли, они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты, — и если ты говорил, что ни за кого и не против кого бы то ни было, то они решали, что ты против того, за кого они, и затевали драку...

Так ехать в Питер или не ехать?

...И те, кто уезжал, и те, кто оставался, и сами эти полосатые братишки — все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами...

Через весь роман пропущена ниточка абсурда: логика бессильна. Но неотступна, как дурной сон. К революции призывает Ленин, но революцию спасает и генерал Корнилов, а также Керенский, который спасает революцию от них обоих. Из такой круговерти выход почти случаен: успеешь или не успеешь вскочить на подножку поезда Петергоф — Петроград, дальше — само понесет. И уже через год несет Кобрисова красный конь в атаку, а навстречу ему несутся на белых конях его давешние друзья-однокашники (те, что вскочили на подножку и уехали охранять Керенского) и так же, как Кобрисов, орут: «Даешь!»

Донеслись: Бела Кун вероломно перестрелял сдавших ему в Крыму белых офицеров. Тухачевский потопил в Кронштадте полосатых братишек. И мужиков-тамбовцев потравил. Потом Сталин пустил в расход Белу Куна и Тухачевского.

Значит, Сталин прав и все получили по справедливости?

По какой справедливости? По той самой, по какой матросам охота была заирать юнкеров? Какую логику можно извлечь из этой каши?

Можно и никакую не извлекать. Есть романисты, для которых все это — бесовское наваждение, и народ страдает от комис-

саров в красных галифе так же, как когда-то страдал от белоподкладочников. Проклясть и убить тех и этих, потому что понять их невозможно.

Владимов же именно хочет понять. Он выстраивает задачу загода абсурдную, решения не имеющую, но упрямо атакует ее логикой. Вся система «спутников» Кобрисова в романе — испытание абсурда логикой и логики абсурдом.

Первым сдается «комиссар с пистолетом». Самый логичный — тот самый комиссар, что вместе с Кобрисовым выводил летом 1941 года армию из окружения. Точнее, Кобрисов выводил, а комиссар в сумке нес партбилеты. Уж этот-то верил — и в коммунизм, и в мировую революцию, и в «Критику Готской программы». И — застрелился сразу же, едва увидел лица особистов.

Кобрисов не застрелился. «Критику Готской программы» он не читал и читать не будет. Он без всяких программ видит: между тем, чтобы тогда, в 1917-м, успеть ему вскочить на подножку поезда, и тем, чтобы остаться, расстояние тоньше волоса. И, значит...

И, значит, любой безумный вариант не безумен. Комиссар тот, пока шли, говорил ему, что такой человек, как он, Кобрисов, мог бы взять на себя «все руководство». И Кобрисов не спорил, выслушивал это молча. По законам сталинского времени — разговор, достаточный для «вышки». Это если эмпирически. А по художественной логике — просто логическое развитие той главной, рискованной, отчаянной мысли романа, что в полосатом братстве, называемом жизнью, «взять на себя все» может, в принципе, любой.

Именно это делает другой исторический «спутник» Кобрисова — генерал-предатель Власов. Он что, «за немцев»? Нет. Он Россию хочет спасти, в том числе и от немцев. Но для этого надо свалить Сталина, который уже успел вскочить на подножку. А Сталина можно свалить, *к сожалению*, только при помощи немцев.

Сожаление не случайно и непритворно. Потому что смертельная логика в мире абсурда. Опоздал Власов со своей логикой: не учел, что в 1943 году уже нельзя вставать с немцами рядом ни на мгновение. Потому что немцев «уже увидел народ палачами и мучителями». И уже неостановимо склонилось в сторону Сталина то неохватное, неуловимое и неотступное, что Владимов,

как верный ученик Толстого, называет «духом войска», «духом народа» и чему он, как писатель XX века, хочет найти определение.

Жуткий облик Сталина не становится от этого ни приятнее, ни величественнее. Ни Симонов, ни Гроссман, ни даже Солженицын не изображали Сталина с таким брезгливым ужасом, как Владимов — в той единственной сцене, когда «некто, обидно маленький, рыжеватый», с грубым рябым лицом, выкрикивает что-то по-грузински, злобно глядя на шеренгу только что выпущенных из тюрьмы покалеченных офицеров и генералов. По-грузински он кричит от страха: как насмерть испуганный ребенок припадает к матери, так и этот, «изнасиловавший чужую ему» Россию монстр убегает «туда, к своему горийскому детству». Однако по интонации понимает Кобрисов, что именно выкрикивает Сталин:

— Труссы, предатели, никому верить нельзя!

Это справедливо? Это правда — что нельзя верить и что боятся генералы именно того, что монстр об этом догадается? А если бы мог услышать рябой-усатый, как обсуждали Кобрисов с комиссаром вопрос о том, не принять ли Кобрисову «все руководство»? И как единственно будет Кобрисов ставить в упрек изменнику Власову, что тот со своей РОА просто «опоздал»? А если бы следователь Опрядкин, все выискивавший, нет ли в Кобрисове потенциального предательства? — если бы опричник мог бы что-то подобное *доказать* и подвел бы его под «вышку» — это было бы справедливо?

Теперь представьте себе, что Кобрисов, который все это носит в себе, слушает речь Сталина 3 июля — и различает у вождя и дрожь в голосе, и сдержанные слезы, и сердечность порыва. Было ли это на самом деле? — спрашивает Владимов. И отвечает: на самом деле ничего такого не было в голосе Сталина, а было «одно сухое бубнение с акцентом». *На самом деле* «это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нем клокотали слезы». А Сталин просто угадал и вовремя вскочил на подножку.

Так! Но тогда угадать мог бы и Власов. И сам Кобрисов. И вообще кто угодно.

Вот именно. Кто угодно. Тот, кто оказался «в середине». Тот, кто совпал с несчастной, изнасилованной страной. Тот, кого угадала и приняла она — в своем несчастье.

Огромное, фатально-неохватное человеческое бытие, которое никак не мог Владимов совместить или хотя бы сопрячь

с достоинством своего волевого героя ни в «Руде», ни в «Руслане», ни в «Молчании», — впервые сопрягается с этим Левиафаном: с непреклонной волей «мясника», монстра, слившегося с народом, — в «Генерале». Фатальная неохватность и невеняемость совпадают с образом изнасилованной страны... и традиционный герой Владимова — обычно подобранный и внутренне сжатый, как пружина (потому что задает «сфинксу» дерзкие вопросы и знает, что за это бывает), — впервые этот владимовский герой раздвигается в восьмипудового казака-генерала, который должен вместить всю русскую неместимость.

Интересная подробность. Среди идейных упреков, которые посыпались на Владимова после опубликования глав романа на родине, один упрек был не идейный, а, так сказать, фактический и вроде бы резонный: как это снес в своем чреве Кобрисов *восемь пуль* и не помер? Ну что стоило Владимову при доработке выправить числительное ради медицинского правдоподобия: заменить восемь пуль двумя-тремя?

Не стал.

И психологически я его понимаю. Кобрисов — это образ, в котором впервые нащупал Владимов соразмерность человеческих сил и того сверхчеловеческого, неправдоподобного, что на человека наваливается.

Пронякин шею себе сломал. Герой «Руслана» собакой обернулся. Алики в «Трех минутах...» не выдержали... А Кобрисов — выдержал. Все восемь пуль переварил. Ценой потери. «Спасти Россию ценой России».

Образ России становится в романе — впервые у Владимова — средоточием смысла, где преодолевается — ценой потери! — неразрешимость человеческого существования.

Власов у него — «русский, разучившийся понимать Россию». И Кобрисов все время ловит себя на том, что он ее не понимает. «Раньше не знал» и теперь еще больше не знает, «жива ли Россия или уже нет ее». Комиссару с пистолетом проще: тот понял, что все проиграно, и пустил себе пулю в лоб. Кобрисов проиграть не может. И потому он носит во чреве все восемь... нет, десять (еще две — с окружения), а лучше сказать — сколько угодно пуль, все переварит его плоть. Только тоска будет глотать душу генерала.

Сталин — изверг. Но — родной. Докажем родному извергу, что мы — не враги ему.

Жуков — с потерями не считается. Берлин взять — к празднику! «Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю и за то навсегда поселит Железного маршала в своем любящем сердце!»

Как вырваться из этого кольца? Иногда кажется, что страна спасается, когда перестает слушаться «верхов» и живет своей жизнью. «Толпа наконец приобретает право распоряжаться собою». То есть полосатые братишки начинают шататься по улицам, мордуя всех, кто им не нравится, а не нравятся им все. Революционеры разоблачают псевдореволюционеров (патриоты — лжепатриотов). Наконец, та же полосатая толпа изрыгает из своего чрева избранников: чахоточных комиссаров, железных наркомов, безжалостных маршалов и стальных вождей. В принципе, героем становится любой, лишь бы не «опоздал» вскочить на подножку. Лишь бы оказаться «в середине». Лишь бы была сила.

Владимов не был бы самим собой, если бы не испытывал абсурд логикой. Сила там — вовсе не тупая, не случайная, не механическая, а «очень даже направленная сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям стало хуже».

Ну, а раз так, то надо только угадать сволочные правила игры.

Генерал, вы на верном пути... Дьявольская сила!.. Бог эту страну оставил, вся надежда — на Дьявола.

ВСЯ НАДЕЖДА...

Дьявол, как известно, происходит из ангелов; главное — знать плацдарм, на котором происходит переформирование. Россия в этом смысле — замечательное место: «страна величайших возможностей, где возможно все».

Последнее, что шепчет Кобрисов, умирая от рака через пятнадцать лет после того, как его должен был разнести снаряд (пули, как мы знаем, его не брали):

С нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого...

При такой дислокации — что же, только замереть, отползти в сторону, а если бежать, то — в середине?

Никогда! Рок героев Владимирова — во все времена — никакой «середки»! Это они *знают* — про «середку». А сами — карабкаются, дерутся, лезут на рожон!

Откуда в них эта решимость победить во что бы то ни стало? Любой ценой! Ценой потери...

А оттуда же — из этой фатальной бездны. Владимов — сын своей земли, своей страны, своей эпохи. Бешеное чувство достоинства, изначально заложенное в его героях, так же безмерно, как и то унижение, которое им изначально предложено.

Вызов судьбы смертелен — ответ тоже. Это единственно достойный путь для владимовского человека.

Когда человек ставит крест на собственной жизни — спокойно и просто, никого не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчеты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить надежда и не надеется вера, тогда воды реки перед ним становятся твердью и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы.

Что-то софии-мудрости не слышно в этом трубном гласе. Мудрые в эту реку и не входят, ни единожды, ни дважды. Они не суются в хлябь, с которой ничего нельзя поделывать.

Хлябь, не ставшая твердью, — сам этот образ ненавистной «каши» — отдаленно напоминает образ перемешивающей все «квашни» в «Жизни и судьбе» Гроссмана. На это копошение зла в добре Гроссман смотрит как бы из отдаленного духовного космоса, из вселенской философской дали, из «вечности». Владимов же ввязан в драку. Всегда. В этом смысле он примыкает к Симонову — тот всецело внутри быющей системы, и бьется героически — по воинским законам. На другом фланге «системного» поля и как бы за краем его — Астафьев, абсолютный враг «системы», чувствующий только боль народную, а все остальное проклинаящий как козни комиссаров в красных штанах.

То, что делает Владимов, может быть, хотел и мог сделать Солженицын, начавший свою Илиаду «Августом 14-го», но увязший в 1917-м и до 1945-го не дошедший.

Это сделал именно Владимов: дал картину Великой Отечественной войны в перекрестье воинской логики и философской неместимости, столкнув то, что люди о себе «знают», и то, чего они о себе знать не могут и не должны.

Тут — его художественный секрет. Самые сильные, самые проникновенные, самые пронзительные мгновения его рома-

на — именно те, когда сквозь мастерски переданную музыку войны проступает мелодия победы, предвещающая гибель.

Подмосковный «рывок» Власова, совершенно авантюрный с точки зрения военной логики, приносит успех именно потому, что он — «немыслим». Немец встречного удара не ждет, *значит*, нужно именно это: дать ему «кулаком в рыло»; километра два пройти — уже оправдано... Прошел двести — спас столицу — так именно в эту столицу будет привезен для суда и казни! Он этого знать не может, мы — не можем не знать.

Подсвет из двух бездн разом: из «верхней», героической, и из «нижней», дьявольской, создает во владимовской прозе тот неповторимый объем, который делает уникальной его картину жизни... или смерти.

Такова ночь, проведенная генералом Кобрисовым с его походно-полевой женой, молоденькой медсестрой, накануне боя за плацдарм. Он ее любит, изменяя жене (нарушая «мораль», но это для дураков, нет — именно жене изменяя, которую тоже любит). Смысл в том, что та и эта любовь равно святы. Потому что существуют не в обыденной мути, а на грани жизни и смерти, и в тот момент, когда, прощаясь, генерал говорит сестричке: «Береги себя», — вы осознаете, что вот теперь она погибнет.

Что дает людям силы идти на верную гибель?

То, что они этого «не знают»? Нет, *это* они знают. Они «не знают» другого. А начнут узнавать, так и выяснят, что Сталин «изверг», а Жуков «мясник».

Люди просто берут оружие и идут.

Как те немцы, которые похватили автоматы и бросились на плацдарме отбивать «Фердинанды» от солдат Кобрисова. Судя по петличкам — технари: обслуга, механики, слесаря-оружейники. «Они не обязаны были идти в бой, у немцев это строго расписано». Однако пошли же защищать свои «коробочки» и «керосинки».

Зачем они оказались тут, в России? «Не знают»... Потому что это уже вопрос — Дьяволу. Если тот возьмется спасти Германию (и с ответами выскочат Геббельс, Розенберг — одним словом, кто «успеет»).

А эти — просто погибнут. В «середке». Что русские, что немцы, что власовцы — не русские, не немцы...

Когда главы романа «Генерал и его армия» появились в российской печати, реакция — если брать крайние траектории «параллельного веера» — была такая:

— Владимов так и не сумел подняться до высот христианской любви, не преодолел ненависть к врагам, не смог простить ни немцев, ни власовцев;

— Владимов воспел власовцев, восславил гитлеровский вермахт, оказался на стороне врагов.

На упреки первого рода Владимов, насколько я знаю, не отвечал.

На обвинения второго рода — отвечал яростно — в статьях, которые стали как бы приложением к роману.

Я не уверен, что они много прибавили к роману, но они много прибавили к образу Владимова-литератора, ибо в них он ярко высказался и как историк, обнаживший фактологический фундамент своего художественного детища, и как публицист, обнаживший свою гражданскую позицию, и, наконец, как критик, осмысливший свою «творческую лабораторию».

Но это уже особая тема: Владимов-публицист, Владимов-критик. В силу профессиональной принадлежности я имею к этой теме особое пристрастие — в статьях Владимова история души, воюющей против сволочной реальности, высвечена с полной ясностью.

«ДОБИВАЕТСЯ ТОТ, КТО ДОБИВАЕТСЯ»

Собственно, судьба критика укладывается в шесть ранних лет: с декабря 1954-го, когда в журнале «Театр» появилась статья «К спору о Ведерникове», до декабря 1960-го, когда в журнале «Новый мир» вылеживалась повесть «Большая руда», и Владимов, чтобы скрасить «томительное ожидание», написал рецензию на Сэлинджера (герой Сэлинджера по имени Холден на какой-то момент стал тогда светом в окошке для пробуждающихся шестидесятников).

Появилась «Большая руда», и Владимов-критик замолчал.

Странное возникло чувство. С одной стороны, все естественно. Бешеный успех повести круто переменял статус автора, разом переводя его в ранг прозаиков, притом первейших. Странно было бы ему продолжать писать текущие рецензии, оценивая литературные успехи других, когда его собственное детище лежало на весах... Но, с другой стороны, возникало ощущение как бы прерванной траектории: пресеклась работа

прирожденного критика, человека, одаренного именно для этой работы.

Вроде бы не так уж много и успел критик за те шесть лет: подюжины откликов. Ну, правда, большею частью в «Новом мире», флагмане тогдашней критической мысли. Однако даже и не это помнилось, а именно та первая статья об арбузовском Ведерникове — прорезавший литературу первый «крик души» двадцатитрехлетнего дебютанта.

Перечитываешь ее теперь, почти полвека спустя, — господи, да это же манифест! И какая свежесть взгляда, какая внутренняя подкрепленность интонации, и независимость, и достоинство в каждом слове-жесте — ничего не постарело!

Последующие работы, может, и изощреннее по мастерству, но по внутреннему посылу — слабее: откликался Владимов большею частью на проходные книжки «правого» и «левого» (по тогдашней ориентации) флангов; теперь иные из тех отрецензированных им книжек забыты; не исключено, что именно клеймо владимовского интереса несколько продлит их жизнь. Так или иначе, тогда, на рубеже 60-х, не хотелось примириться с тем, что критик, начавшийся во Владимове, на этом и кончился: на рецензии про Холдена, написанной, чтобы скоротать время.

Но когда в 1989 году изгнанник, сидящий в маленьком немецком Нидернхаузене, стал вникать в тексты, которые повезли ему «на волах» из оглашенной России, — критик в нем проснулся. Помню, как меня поразила в этих откликах Владимова-критика снайперская точность конкретных оценок, как задела глубина стратегического анализа общей ситуации, увиденной из немецкой «глубинки» (хотя беглые ответы на анкету журнала «Иностранная литература» вроде бы того и не требовали). И затем — высший класс! — отклики на рассказы Солоухина, на повесть Кабакова, — хотя Владимов и избегал «рецензионного жанра», оформляя свои тексты то как письмо в редакцию журнала «Континент», то как отклик на текущие политические события, — но это работал именно литературный критик, пусть и ангажировался как политический обозреватель газеты «Русская мысль» и радио «Свобода», что было понятно — с учетом диссидентских его заслуг.

Насчет заслуг — все логично. Логично — напечатав в 1974 году «Верного Руслана» на Западе, «оказаться в кругу диссидентов, подписывать бесчисленные обращения к мировой обществен-

ности, часами выстаивать у неприступных стен, за которыми судили инакомыслящих». Логично — отъехавши с полученным от политиков клеймом отщепенца, тем же политикам давать в «Московских новостях» советы. Логично — встать и оказаться в новой ситуации в ряду с такими апостолами гласности, как Карякин и Баткин.

Нелогично было бы при таком повороте событий — вернуться в литературную критику с тем, чтобы оценивать в «толстых журналах» чужие тексты. То есть продолжать веер траекторий, прервавшихся в 1960 году.

Однако именно их я хочу мысленно продолжить.

Я возвращаюсь к первой половине далеких 50-х годов, когда вызревала душа будущего шестидесятника, к его ранним текстам, в которых начиналась его драма.

Она начинается в статье, посвященной спору о Ведерникове.

Поражает не только нравственная зрелость «лирического героя» в этой статье — поражает исследовательская зрелость автора, его филологизм: так тонко различать реальность, которая описана в пьесе, и реальность, которую *являет собой* пьеса, — да откуда в суворовце, в юрфаковце такое чутье: врожденное оно? воспитанное? (мать — преподаватель словесности в том же Суворовском училище, так что тут, собственное, врожденное и воспитанное сливаются). Да еще анализ арбузовской пьесы дан сквозь сетку попутных мнений («споров о Ведерникове»), где критики образца 1954 года обвиняют героя (и тем самым автора) в уклонении от устоев коллективизма, от долга перед страной и от законов нашей жизни.

И сквозь все это — с писаревским напором! — такая независимость личности проповедуется, какая, наверное, ни Ведерникову, ни его автору не снилась. Это действительно манифест: человек сам себя строит, он мучительно ищет ответов на свои вопросы, в книгах так в книгах, в жизни так в жизни; ему не должно быть важно, считают ли его эгоистом, бездельником, приспособленцем, бахвалом-тщеславцем или еще кем-то, он отвечает *только перед собой*, и ни к какому «общему знаменателю» его привести не удастся. Он сам себе делает роль и сам ее играет, он сам себе судья, и нечего подступать к нему с азбучными истинами, — он, может, именно к азбучным истинам и придет, но — без вас! Если будет счастлив, то сам выстроит свое счастье, а если несчастен — значит, таков его жребий, ему не нужно чужое счастье.

«Добивается тот, кто добивается» — эта поразительная финальная фраза перекликается с учением русских философов о том, что идеал личности непостижим, и тем не менее постигается уже в то самое мгновение, когда индивид впервые пытается постичь себя, — учения этого Владимов в 1954 году, скорее всего, не знает, но — умеет же слушать свою душу!

Вряд ли он знает в ту пору и о на шумевшем когда-то споре Лескова с Достоевским по поводу словесных «эссенций» — спор тот, затиснутый в старые газетные подшивки и в полузапрещенный «Дневник писателя», помнили тогда разве что специалисты, — но наткнулся же на проблему и решил ее интуитивно безошибочно: художественную правду нельзя ни выдумать, ни «подсмотреть в жизни» (как полагалось бы по теории социалистического реализма) — правду можно только воссоздать силой ума и воли.

В соответствии с интуитивной догадкой упор делается — на «характер». Сама эта категория, вполне в социалистическом реализме законная, особенно уместна и удобна в журнале, посвященном вопросам драматургии и театра, но дело в том, что Владимов вкладывает в понятие «характер» смысл, куда более емкий и глубокий, чем полагается по ритуалу. Скажем (залетая вперед на сорок лет сравнительно с 1954 годом) «типичский» генерал должен быть носителем черт, свойственных девяти генералам из ста, но если из этих ста один попрется к соседям за бутылкой коньяку или станет, подвыпив, плясать посреди шоссе — так Владимову будет интересен именно этот «нетипичный» генерал. Потому что это — «характер». И еще (залетая во времена, когда Владимов сотрудничал и рвал с деятелями «Посева») вот вам рассуждение: если бы Петр Великий делал только то, что необходимо, мы не имели бы Северной Пальмиры, а имели бы в устье Невы «что-нибудь вроде Мурманска». Но у Петра был «характер»...

И, значит (возвращаясь ко временам Первой Оттепели), никакая «среда» человека не «заест», если он не хлюпик, никакие «обстоятельства» ему не указ, если он опирается на самого себя.

На самого себя? И только?!

И только. Это — главная загадка. И это начало драмы. Откуда является такой человек? Непонятно. Что у него за плечами? «Ничего». Ни о детстве, ни о корнях — ни слова в сочинениях Владимова. Кроме одного случая. Защищаясь в 1996 году от об-

винений в симпатиях к Гудериану, скажет: «Как я могу симпатизировать немецкому генералу, изгнавшему меня своими танками из родного Харькова?» Единственное место в статье Владимова, заставившее меня внутренне улыбнуться. Он что, только потому и не симпатизировал Гудериану, что из Харькова уехал? Да он и без всякого немецкого генерала и без всякого насилия рванул бы из Харькова в Питер, в Москву — учиться. И никаким харьковчанином потом себя не выказывал, ни украинцем (разве что иронически), ни русским. Владимов по закваске — настоящий советский интеллигент, «человек мира», и когда неизбежно развернулся он против советской власти, то вычеркнул ее из души по-большевистски — тотально-глобально. Так что пришлось в конце концов скрупулезно отделять эту советскую тотальность («режим») от плоти (от «народа»), что наполняет (а может, и порождает) режим. Начал Владимов отделять народ от системы с помощью такого скальпеля, как «КГБ», и «разыграл» для начала невиноватого в своей жестокости пса. Это, собственно, и составило драму его души: мучительное вглядывание в «обстоятельства» жизни — те самые, от гнета которых он изначально вроде бы чувствовал такую поразительную независимость.

Поразительно именно это изначально пренебрежение к обстоятельствам: в статье о Ведерникове нет ни одного даже чисто ритуального упоминания ни о «советском образе жизни», ни о «нашей действительности», ни о каких бы то ни было неперменных в тогдашней словесности «устоях»; а если упоминания есть, то исключительно в цитатах из других критиков. А от себя — *ни разу*. Для 1954 года — просто рекорд.

Потом-то Владимов эти вещи упоминал, и уже от себя, с тою неуловимой издевкой, которая входила в правила игры патентованной «новомирской критики». Но это не смазало изначальную установку и не заслонило экспозицию драмы: перед нами личность, которая «сама себя делает»: ни на что не опирается, кроме самой себя. Принципиально. Внешней опоры изначально нет, и потому вопроса о ней нет. А просто появляется, как сказано в последней, Сэлинджером вдохновленной рецензии: появляется же, черт возьми, «вот такой парень» — из обыденной мерзости появляется, из хлюпающей мути, которую мы называем «нашей жизнью».

Вопрос о том, что его породило и ради чего он появляется, возникает позже.

Отчетливо помню этот момент: в статьях Владимова-критика впервые проступает из этой окружающей мути то, что мутью не является. Тогда же, в 1960 году, в рецензии на роман К. Симонова — словосочетание, приковавшее меня:

«СПАСЕННАЯ РОССИЯ»

Где же она была, эта Россия («моя Россия», как еще раз определено при расставании)? Или дремала треть века в сознании, чтобы натрое расколоться в 1993 году? Именно в 1993 году Владимов вернулся к этому феномену. Мы привыкли думать, заметил он, что есть две России: та, что сажала, и та, что сидела. Однако что-то переменялось — не в России, нет, но в сознании писателя: «Весь расклад смешала третья Россия, которая и сидела, и сама сажала, побывавшая и в жертвах, и в палачах».

В этой-то России и вязнут «расклады». Диссиденты едут из Москвы в Калугу протестовать против суда над Гинзбургом. Толпа на их пути выкрикивает оскорбления.

Вот эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой искорверканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него бороться нужно, внушать ему начатки правосознания, человечности?

Насчет «неподдельной злобы» отвечено двумя абзацами ниже: спустя полчаса после гогота и злобы —

...я сталкиваюсь с одним из них, мы узнаем друг друга, я спрашиваю насчет ближайшей бензоколонки, он мне охотно показывает, как проехать, и я вижу два глаза, глядящие на меня с неподдельным любопытством.

Вот такой калужский парень вдруг появляется из мути повседневности.

Так где кончается «режим» и начинается «народ»?

Возникает дилемма: на какое слово отзовется скорее русское сердце — на слово «родина» или на слово «свобода»?

Не знаю. Скорее всего... и на то, и на другое в равной степени.

В принципе, может, и так. Но в реальности ежемгновенно приходится решать: что важнее?

Владимов решает так: важнее — «демократия». Стою оговоркой (мелькнувшей в радиоочерке «Свободы» в 1992 году), что

«демократию» нельзя отождествлять с «демократами»; это явления, «не совпадающие, подчас далекие друг от друга».

Опять-таки, в принципе, правильно. Однако почему бы в этом случае не очистить от плохих «фашистов» и сам «фашизм», вызывающий, однако, у Владимова святое отторжение (как и у меня, естественно)? Дело ведь не в том, на какое слово опереться, а в том, что открывается за словом. Демократия — это, разумеется, элементарно:

Прежде, чем говорить о России, прежде, чем выразить ту или иную идею или концепцию, нужно получить элементарное право слова — для того, чтобы иметь возможность эту концепцию высказать.

Элементарно, Холден. Есть вещи, которые за скобками. Демократия сама по себе не ценность, это именно элементарность, возможность вырабатывать ценности. И что там надо делать «прежде», а что «потом» — тоже от ума не считаешь, это решается ходом вещей. Владимовский герой впервые осознал себя в ситуации, в которой необходимо было отвоевывать себе элементарные права, — он их и отвоевывал с первого шага; это начало драмы и это лишь «начатки» правосознания.

Но потом, отвоевав себе эти «начатки», он встречается глазами с тем калужанином, которому и в голову не приходит за эти «начатки» бороться, и они с любопытством смотрят друг другу в глаза. Ну? И что же? Что ему, калужанину, нужнее? Свобода? Или то, чем она наполнится?

Кто отстаивал Москву и Сталинград, взламывал Курскую дугу и брал Берлин? Не такие ли, как этот калужанин? Но ведь они были «обмануты пропагандой»?

А если «пропаганда» вела их туда же, куда и инстинкт самосохранения, — спасти Россию?

А власовцы, поднявшие оружие против наших отцов и братьев, — тоже ведь не только свою шкуру, они и Россию спасали — от сталинского террора и от «жидовского марксизма»...

Ах, если бы оставался Владимов в пределах писаревского юного протеста: вырваться из этой «мути», отстоять себя, не обращая внимания ни на что!

Так нет, тянет же его «обращать внимание», и именно на то, что не втиснешь ни в какие «идеи» или «концепции». Рок, судьба. Великая неразрешимость. Та самая, что и рождает великую драму.

На уровне политического репортажа, который Владимов ведет в микрофоны «Свободы» с начала 90-х годов, эта драма часто принимает форму каверзного вопроса: а что какой-нибудь бунзотер от оппозиции станет делать «на второй день своей власти»? Обещал же один из них омыть сапоги в южном море, да заодно и вернуть кое-что на севере. «Жирик, так где ж твоя Аляска?» — иронически спрашивает Владимов. Ответить бы ему: «Жорик, так как же твоя демократия?» За что боролись?

Отвечено честно, и без ссылок на то, что путь демократии долг и непрямо:

Та Россия, которую мы приобрели в результате общих наших усилий, наших действий или бездействий, не снилась самым безжалостным преобразователям.

Для характеристики этих новых, пришедших к власти преобразователей у Владимова даже и слов привычных не хватает, и он их называет «ситуанты», то есть, как я понимаю, игроки-высочки.

Ну, а предвидеть в августе 1991 года, когда Ельцин стоит на танке, а восторженная толпа празднует независимость России (от самой себя?), — предвидеть, *кто* придет к власти на такой волне, — это так уж невозможно? Или дальше «возможности высказаться» воображение не идет?

В этот момент Владимов-публицист включается в текущую политику. В ответ на вопрос «Московских новостей» («дозвонились ко мне в Нидернхаузен») объясняет, какие ошибки сделали заговорщики-путчисты. Год спустя он объясняет уже не политические их ошибки, а технические: путчисты были просто неграмотны в военном отношении, они не поняли назначения танков, ведь из опыта Великой Отечественной войны известно, что пускать танки на улицы города — «гибельно для них»; неудивительно, что танки у Белого дома люди остановили «невооруженными руками».

Помню, меня тогда потрясла простота этого объяснения. Знают же истину танки! И еще поразило, что вместо всяких там политических мерихлюндий (недооценили Горбачева, недооценили Ельцина, недооценили народ) выставлена в конце концов эта убийственная конкретность: танки. Долго потом вспоминались мне эти владимовские «танки на улицах». Год спустя, когда вокруг того же Белого дома встали они, чтобы грамотно палить по окнам, не повреждая стен, и не нашлось же «беззащитных,

неооруженных рук» эти танки остановить. И еще год спустя, когда такие же танки были пущены на улицы Грозного, — и были-таки остановлены... чем? Беззащитными руками? Поначалу именно так и показалось: танкисты, как и в 1991 году, повывлезали из машин для природной надобности и сигарет купить... Что было потом, известно.

Самым честным образом Владимов-публицист пытается справиться с этими событиями. Дает советы, «кого похватать и какие обрезать провода». Отменяет свои советы. 5 октября 1993 года объясняет, какой «продуманный заговор» готовили Руцкой и Хасбулатов, а в конце октября объясняет, что никакого заговора не было и быть не могло по причине всеохватного российского бардака, в котором ничего не предугадаешь.

Я думаю, во втором случае Владимов ближе к истине, чем в первом, но дело не в этом. И даже не в том, чтобы, ошибившись в диагнозе, взять его обратно. Владимов вовсе не обязан быть ни политическим экспертом, отвечающим за свои политические прогнозы, ни даже политическим обозревателем, от которого требуется последовательность. Он вообще не обязан был вглядываться во все гримасы демократии, идущей к власти, — он делал все это по доброй воле и по причине темперамента. Темперамент бился в тенетах «литературно-критического жанра», потом «дремал», а потом взорвался и вылетел на свободу вместе с «гласностью».

Так это и есть самое ценное в данной истории — взрыв вольного темперамента, сбереженного под плахой, под спудом, под хомутом.

А может, условие драмы — сам этот роковой «хомут», обусловивший такую концентрацию бунтующей воли. Русская драма. Драма души, изначально не находящей себе почвы, и потому сконцентрированной до фантастической сверхплотности, и потому взрывающейся так, что опрокидываются танки.

Да, насчет танков. Мы их оставили, кажется, на улицах Грозного?

Чем так провинились они перед нами, гордые чеченцы, что мы их все покоряем и покоряем?

Что чеченцы гордые — не будем спорить. Русские, надо думать, тоже гордые: если их государству бросают вызов — они обижаются. Вопрос в том, откуда брошен вызов, почему тысячи молодых чеченцев не могут утолить свою гордость мирным тру-

дом и в рамках закона, а предпочитают силовое противостояние и независимость явочным путем. Вопрос также в том, кто этих гордых людей вооружил и сделал из них армию. Насколько я знаю, генерал этот служил до того в Советской Армии и, стало быть, приносил присягу. Наверное, суворовцам послевоенных выпусков объясняли, что такое вооруженный мятеж и как с ним бороться?

Конечно, когда доходит до войны, тогда где сила, там и правда. Тут уж лучше не спрашивать у чеченца, как проехать до ближайшей бензозаправки и вообще поменьше бы говорить о гордости и прочих романтических материях. Ибо тут истину перехватывают танки. И те люди, которые их сжигают. Они и правы. Но — ты-то чего при этом желаешь?

«Горько желать поражения своему народу, своей армии. Но именно отступления перед войсками Джохара Дудаева я желаю в Новом, 1995 году». Откровенно сказано. Но тогда пойми и тех людей, что желали поражения своей стране в 1914 году. Им, может, тоже было горько. Или не было? Те в любом случае агрессоры, а мы в глубине души миротворцы?

Никакого позитивного решения любой проблемы не добиваются оружием... Война — самая бездарная из всех попыток такого рода, и тут не должно нас сбивать с толку учение Ильича о войнах справедливых и несправедливых.

Так. А учение Льва Николаевича? *«Яснополянский миролюбец, учивший нас непротивлению злу насилеи, — и тот не возражал, что бывает святая обязанность взять в руки первую попавшуюся дубину...»*

Яснополянский мудрец был, между прочим, и воином, и воевал как раз в тех местах, из-за которых мы теперь такие вынужденные миролюбцы: на Кавказе и в Крыму. Бывает, как видим, все. То одно подступает, то другое. То дубину надо брать, то не надо.

Я, впрочем, не ишу у Владимова-публициста непротиворечивой концепции. Ее и быть не может — непротиворечивой. Я ишу другого — смысла той внутренней драмы, которая тут кровоточит. Я, читатель, слежу за терзаниями вольной души, пытающейся бороться за свободу в мире, который соткан из бессмыслицы.

Все понятно, когда вольный человек восстает против всеобщей дури и протестует против хомута, но не все понятно, когда

выясняется, что дурь («генеральская дурь» — любимое словосочетание Владимова) бывает спасительна и что хомут — приспособление для работы, без которой вольный человек погибает. Все ясно, когда свободный советский народ сражается против бесчеловечного фашистского режима. Или если свободный немецкий народ сражается против бесчеловечного большевистского режима. Но как быть, если сражаются друг против друга *два народа*, каждый из которых — в своем праве, и прежде всего — вправе иметь тот режим (подставить шею под тот хомут), который поможет ему — победить в смертельной схватке?

Насчет двух народов — это из поздней статьи Владимова — страшно, горькое, безысходное место. Но такая горечь обладает вкусом правды. Куда больше, чем советы так или эдак использовать танки на улицах города.

Танками и закончу.

Когда энтээсовцы еще не поперли Владимова с редакторского кресла «Граней», и он с ними общался, один из них рассказал, как уезжал из Днепропетровска на немецком танке и сквозь смотровые щели видел повешенных на деревьях.

Я в высшей степени понимаю то омерзение, с каким Владимов передает эту подробность.

Интересно, однако, кто были те повешенные. Может, чекисты, оставленные в подполье? Или комсомольцы, не утаившие билетов? Или просто жители, попавшие в облаву?

А что такие жители делали бы, если бы их немцы не повесили? Наверное, сажали бы картошку и ею спасались. А потом — при советской власти — выращивали бы хлеб. И отчитывались бы в таком стиле: «Только один наш колхоз продал государству в этом году 250 тысяч пудов хлеба... И потому мы с радостью встретили сообщение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора».

Это — в 1959-м. В 1977-м они шипели бы Владимову в спину на Малой Филевской улице: «А не надо было бороться за свободу!»

Человек, написавший статью о Ведерникове, не мог не бороться.

Человек, написавший «Генерала и его армию», не может не понимать, с кем и за что он борется.

Кажется, это не так просто.

Из интервью Георгия Владимова, данного им корреспонденту «Интерфакс-АиФ» в связи с выходом четырехтомника:

— Что вы можете сказать о нынешней жизни? — спрашивает корреспондент.

Ответ:

— *Это переходный период... Я думаю, он протянется до 2012 или 2015 года, если что-то не нарушит этот ход, не обрушится новая гражданская война. Хотя мой издатель уверяет, что этого не случится: уж очень большие деньги вложены.*

Слово «деньги» включает у журналиста цепочку ассоциаций опять-таки современного толка:

— Но капиталы всегда во что-то вкладывались, и до 1917 года тоже.

Ответ Владимирова:

— *К сожалению, тогда они вкладывались и в большевистскую партию. Просто из благородного меценатства. Думаю, такой ошибки сегодня уже никто не повторит.*

Кажется, тут зарыта собака, из-за которой всю жизнь у меня идет полемика с любимым писателем и хорошим другом.

Деньги, разумеется, вкладывались, по ним удобно проследить движение интересов и даже движение характеров. Иные журналисты думают, что 1917 год и все последующее зависело от того, сколько «немецких денег» перепало Ленину или из каких соображений — из меценатских или из подлых — действовал какой-нибудь Парвус.

Все это, конечно, интересно, и все-таки я думаю, что ход исторических событий зависит не от решений и ошибок этих славных персонажей. Ход событий зависит — фатально! — от состояния *народов*, втянутых в историческую драму. То есть от того, чем дышат безвестные миллионы, затиснутые в тисету повседневности, вечно мыкающиеся в бесконечных «переходных периодах». Ибо из этой массы выходят на свет божий те критически мыслящие (и бандитски действующие) личности, к которым попадают деньги (или они сами их «берут» в ходе очередных «эксиков»).

Ах, вы надеетесь, что они «такой ошибки сегодня уже не повторят»?

Повторят! Уже повторяют. Только еще общая температура до взрыва не дошла.

Дойдет — и скажут: не туда деньги вкладывали (не того Руслана прикармливали).

Кто прикармливает? Марсиане, что ли? Мы же и прикармливаем. От того, куда повернется верный Руслан (то есть: кому

станет служить, а на кого набросится), зависит, конечно, многое, и прежде всего — сюжет художественной летописи. Но спасти покалеченного Руслана в этой «сволочной» реальности будет все-таки Трезорка.

И вот она, перед нами — «спасенная Россия». Спасенная в 1941 и ждущая спасения в бессчетные годы, не исключая и будущих 2012 и 2015.

Вот она, перед ним — «третья Россия».

Что делать с ней, что делать в ней писателю, одержимому кодексом чести?

Россия — это рок, это судьба, это участь.

Счастлив человек, сознающий свою участь, понимающий свою судьбу, отстаивающий свое достоинство даже и в роковой ситуации.

А что же народ, который, как известно, имеет то, чего он достоин?

Народ имеет — «ситуантов» у власти. Народ имеет — полководцев, которым «генеральская дурь» помогает уйти от неразрешимых вопросов. И народ имеет — писателей, которые должны этими проблемами мучиться и мучить других.

1998 г.

УДАРЫ ШПАГОЙ

Воспоминания. Переписка

— Однако же вы не такие люди, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой, — возразил кардинал.

А. Дюма (отец),
«Три мушкетера». Ч. III, Гл. XIII

Все, что я хотел сказать о его книгах, я успел сказать ему самому. И сказать, и написать, и напечатать. Теперь литературной стороны я касаться не буду. Сосредоточусь на стороне человеческой: тут тоже хватает и унисонов, и контрапунктов.

ТОТ, КТО ДОБИВАЕТСЯ...

Итак, впервые я увидел его в коридоре «Литературной газеты» в конце 50-х годов. Кажется, в 1959-м. Тогда запахло очередной «оттепелью», и газета отреагировала: с поста главного редактора ушел мрачно-насмешливый Всеволод Кочетов (давно, впрочем, числившийся лишь номинально); а в дверях кабинета появился новый редактор — Сергей Сергеевич Смирнов, с широкой улыбкой встречавший сотрудников и с каждым знакомившийся за руку.

Стиль работы начал меняться. В отделе современной русской литературы — основном отделе редакции — появились новые сотрудники.

К одному из них — молодому критику Владимову — у меня были основания приглядеться. Дело в том, что я помнил ту самую его статью, «К спорам о Ведерникове».

Слух об этой статье продолжал шелестеть вокруг имени ее автора, и общее ощущение от ее чтения — в студенческие еще времена — сохранялось в моей памяти, звенящее ощущение, словно ударили в гонг:

— Добивается тот, кто добивается!

Гимн конкистадорам, ринувшимся в бой. На приступ! На последнюю разборку: все или ничего!

Теперь я присмотрелся к ударившему в гонг.

Широкие плечи. Большие руки. Осанка военного. Волна волос. Что-то уж больно красив. Но — скулы отчеркнуты багровым шрамом или ожогом. Борозды складок в углах сильного рта — то ли след улыбки, то ли гримаса напряжения. Внимательные глаза...

Я ждал, как проявит он себя в деле. В литературном деле, то есть на газетной полосе.

Проявился — статьей о Константине Симонове, о романе «Живые и мертвые». Пронзила меня фраза: «Спасенная Россия».

Как-то вроде бы спасти Россию не принято было в либеральной критике того времени. А Владимов был критик либерального лагеря и печатал в «Новом мире» статьи, гвоздившие престонародных графоманов и партократов. Это совсем другое поле боя.

А тут — спасенная Россия...

В общем, я немедля отдал ему должное. И даже не удержался от соблазна осторожно выяснить его мнение о моих работах. Одну из них он наверняка читал: с кочетовских времен болталась в загоне одна моя статейка — о Юрии Трифонове и Юлиане Семенове; с приходом Смирнова ее решили наконец напечатать, и она только что появилась на полосе; возможно, что вести ее поручили Владимову.

Каким-то ловким ходом в случайном разговоре я его спровоцировал. Он согнал усмешку в угол рта:

— Статьи бывают: хорошие, плохие и никуда не годные.

Я замер...

— Так эта была — никуда не годная.

Вообще-то он был совершенно прав: сожрать в один рот Трифонова и Семенова можно было, только начав на общепринятые литературные критерии. Полгода спустя, когда я переходил из газеты в журнал «Знамя», эта моя статья попала на глаза редактору журнала Вадиму Кожевникову, и тот отказался меня брать — за эстетическую глухоту! — еле согласился.

Но, с другой стороны, и меня можно было понять: в «Литературной газете» пробиваться на полосу было очень трудно, каждая публикация повышала рейтинг, и я совершенно не был готов так запросто признать свою негодность. Да и не очень-то я мог тогда выбирать, о ком писать.

Понял одно: что никогда больше не спрошу у Владимира мнение о моих писаниях.

МАГНЕТИЗМ АНОМАЛИИ

Кажется, газету мы покинули одновременно: я ушел в «Знамя», Владимир — в «Новый мир». С командировкой «Нового мира» он вскоре поехал на Курскую магнитную аномалию — за очерком. Но когда очерк его появился в журнале под названием «Большая руда», я понял, что это никакой не очерк, а взрывная проза и что эта проза не только переворачивает сложившуюся в моем сознании литературную ситуацию, но существенно обновляет самый взгляд на окружающую реальность.

До того момента все укладывалось у меня в веселое противостояние «отцов» и «детей»: тупые ортодоксальные «старика» против молодых остроумных интеллектуалов. А тут — ни то, ни другое. Аномалия! Мужик, схлестнувшийся с мужиками.

До этого я думал, что знаю, кто прав, кто не прав. Теперь и правые, и виноватые полетели в пропасть разреза.

Проверяя себя, я как раз и спросил Владимира, каким он писал своего героя — положительным или отрицательным.

Владимов усмехнулся:

— Такие школьные вопросы меня не занимали.

Меня они в 1961 году еще сильно занимали — именно потому, что в тогдашней критике Пронякин владимовский был мгновенно записан... одними — в положительные, другими — в отрицательные герои. Ну, понятно, что кнутабойцы из кочетовского «Октября» судили по школьному вопроснику, но ведь и власти либеральных дум принялись грозить непокорному шоферу, летуну и индивидуалисту: не словчишь!

Я метался между возмущением и восторгом, повторяя себе: конфликт настолько невыносим, что гибель героя воспринимаешь как облегчение.

Облегчения я тоже не хотел и выплеснул все, что меня мучило, в статью, с которой нечего было и соваться в столичные ангажированные органы печати. На мое счастье, имелись у меня в ту пору связи с некоторыми провинциальными журналами, не втянутыми в тяжбу левых-правых, и в одном из них, в свердловском «Урале», спасибо Нине Полозковой, мое самовыраже-

ние нашло выход. Позже статью о «Большой руде» я включил в мою первую книгу. Книгу Владимову — подарил.

Естественно, не стал спрашивать, что он по этому поводу думает.

Но вскоре это почувствовал — по одной рецензии. Рецензия, появившаяся в журнале «Москва», была не просто положительной, но невероятно теплой по тону, что на фоне довольно ядовитых суждений в мой адрес было приятно (хотя яд я находил живительным). Автором рецензии была талантливая и обаятельная женщина Лариса Исарова. Между прочим, жена Владимова.

Из трех женщин, которым довелось быть его женами, все три сыграли некоторую роль в наших отношениях, поэтому я решаюсь прикоснуться и к этой стороне его жизни.

Итак, жена высказалась — он промолчал.

Он высказался четверть века спустя, подарив мне изданную в «Посеве» повесть о Пронякине с надписью, меченой уже эмигрантским местом жительства: *«Дорогому Леве Аннинскому дарю эту старую книжку с нестареющей любовью. 24.09.1990. Niedernhausen, Germany»*.

А в «Послесловии от автора» — следующий пассаж, который довелось мне откомментировать лишь в 1990 году в письме, которое я приведу ниже. Пока — рассуждение Владимова:

«...Сдается мне, «Большая руда» так и не была понята до конца в свое время, когда о ней столько говорили и писали. Простая немудрящая история...»

Ну уж! Простая и немудрящая! Лукавит Георгий Николаевич... но тем интереснее:

«...сколько недоумений вызвала она у нашей многоопытной критики, равно и печатной, и кулуарной. Сколько ярлыков вешалось на Пронякина — побывал он «летуном», и корыстолюбцем, и штрейкбрехером, и прямым потомком хемингуэевского Гарри Моргана («Иметь и не иметь»), и «героем нашего времени», и «человеком из будущего», — но, как справедливо заметил Лев Аннинский, лучший из моих критиков, «ярлыки болтались на его тени; теней было столько, сколько точек отсчета, сам же Пронякин неуловимо ускользал от исследователей». Сам Аннинский четырежды подбирался с анализом к «Большой руде» и вот на чем утвердился окончательно: «Человек, осознавший себя личностью, либо ломается, либо ломает себе шею». Это — энергичная дилемма, но не еще ли один ярлык на тени?..»

Последняя фраза высветила рельеф ситуации. Хотя то, что количество моих выступлений о повести подсчитано, наполнило меня гордостью. И то, что я — его лучший критик. Вообще-то критиком я был только по литпрописке, а сам про себя думал «что-то другое» (нет, никаких претензий на «писательство», а именно что-то другое, я и сейчас не могу определить, что это).

Но возвращаемся в 60-е годы. Отношения теплеют, становятся теснее, приобретают личный оттенок. Как-то все само собой образуется: домашние встречи (у них и у нас), записи Высоцкого (первая кассета — из владимовских рук) и — рукопись новой повести, которая попадает ко мне из его же рук, кажется, даже раньше, чем в отдел прозы «Нового мира».

Повесть называется «Руслан».

«Спасенная Россия» — отзывается что-то во мне.

ЛАЙ И МОЛЧАНИЕ

Я прочел про этого пса и сказал Владимову... ну, точно не помню, но смысл такой: кроме грозного пса Руслана, честно и убийственно служащего подлому делу, в повести есть ведь и еще один пес: эдакий умный кабысдох Трезорка, и если для «западного» образа жизни отлично подходит первый, то в России жить приходится по образу и подобию второго, и, стало быть, Трезорка этот и есть главное в повести сокровище.

Не знаю, оценил ли Владимов мои филологические уловки: он меня выслушал, крикнул и перевел разговор на другое.

А я вдруг понял, почему мне так необходимы его тексты. Его жесткая определенность, кристаллическая точность оценок — зачем это мне, склонному как раз к компромиссам и всепониманию, чтобы не сказать: ко всепрощению. Да это ж компенсация! Оставаясь принципиальным атеистом, я увлеченно осваивал в ту пору Бердяева и Флоренского, то есть осознавал христианскую прелесть родной мне культуры. Воинские доблести мне отнюдь не грезились.

— Куда ты пристроил своего боевого пса? — спросил я, чтобы не возвращаться к началу разговора.

— Он пока бесхозный, — ответил Владимов. — В «Новом мире» тянут.

О «Новом мире» мне думать было незачем, и верный пес выпал из моего внимания.

Казалось, из попечения автора тоже. Какое-то странное молчание установилось вокруг самой фигуры Владимирова. Отсутствие новых текстов казалось не просто интригующим, но едва ли не имманентно присущим его писательскому облику. Громыкнул в «Большой руде» — и замолк, словно бы вслушиваясь в эхо. Ясно: или еще раз громыхнет, или — не проронит ни слова. Все или ничего!

Как-то он мне сказал:

— Ты очень странно присутствуешь в критике: печатаешься у черта на куличках, и доходит от тебя только эхо, как от дальней грозы.

Я подумал: это ты не про меня, это ты про себя. Я-то печатаюсь у черта на куличках, потому что мне хода нет в столичные журналы, ни в либеральные, ни в ортодоксальные, а ты-то почему молчишь? Сходил в море, выловил там селедку, сам просолился насквозь, и, кроме скупого очерка в писательской многотиражке, — ни звука.

Постепенно ситуация стала проясняться: кроме селедки, Владимов привез из рейса замысел романа, который и сотворял теперь в молчании.

На сей раз он не дал мне читать рукопись, и роман «Три минуты молчания» я прочел в том самом «Новом мире», с которым у Владимирова была давняя, можно сказать, литературно-генетическая связь.

Прочтя, я вознамерился о романе написать и для надежности (я все еще «боялся» столичных журналов) придал статье эпическую основательность: добавил к морскому писателю Владимову еще двух мореходов. Один — очень известный и не менее признанный, чем Владимов, писатель Виктор Конецкий; другой — неожиданно выплывший из северных волн дебютант Николай Рыжих.

Выстроил я из них для остойчивости равносторонний треугольник и написал статью под названием «Соль воды», каковую пустил в плавание со страниц журнала «Юность».

Поскольку в «Юности» материалы печатались тогда с портретами авторов, то помещен был возле заглавия и мой среднего качества портрет.

С ним-то и произошла незабываемая история, куда более интересная, чем сама статья, которая, что называется, булькнула и забылась.

Через некоторое время выходит у Владимова этот самый роман за границей. Если не ошибаюсь, по-венгерски. И Владимов это издание мне дарит. И выжидающе смотрит на меня смеющимися глазами.

Я раскрываю первую страницу и чуть не падаю: на авантитуле — там, где по всем законам полиграфии должен быть портрет автора, — красуется увеличенная до полной страницы моя физиономия из «Юности»!

Немая сцена.

— Они что, спятили? — говорю я.

— Связал нас черт с тобой веревочкой одной, — говорит он.

— Как это могло произойти? — говорю я.

— Очень просто, — говорит он. — Они прочли твою статью в «Юности» и решили, что раз статья о Владимове, то и портрет в ней Владимова.

— Но почему только о Владимове? А Конецкий? А Рыжих? — говорю я. — Они что, в Будапеште, слепые?

— Спроси у них, — говорит он. — Если они не слепоглухонемые...

А смотрит — торжествующе. Честное слово — победоносно!

И я понимаю почему. Он же выиграл у Конецкого! Надписал же мне на первой странице того же самого романа, только русского издания: «Леве Аннинскому с любовью...» — А ниже: «Однако вы не из тех людей, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой...» — с точным указанием части и главы.

На венгерской же книге:

«Дорогой Лева, не кажется ли тебе, что сама судьба свела тебя с «Тремя минутами» и догнала на мадьярской земле, и уж от любви не уйти никуда, не уйти никуда. Или, как здесь поется: а у любви берегов не бывает, у любви не бывает разлук. В доказательство чего позволю подарить тебе эту уникальную библиографическую редкость. Твой Г. Владимов. (А может, Аннинский?). Москва, 11 июня 76 г.»

Я на своих книгах, подаренных ему, на такие ответственные сентенции не решался. Да и книг-то у меня вышло... одна-две и обчелся. После «Ядра ореха» — с трудом вымученная издательством «Художественная литература» брошюрка о Николае Островском — для школьных библиотек. Я, впрочем, постарался прочесть роман о Корчагине как житие, то есть как текст религиозный, для чего вдосталь повиртуозничал на эзоповом языке. Бди-

тельных коллег это не обмануло, они меня сразу раскусили: обвинили в протаскивании чуждых идей и в клевете на Павку Корчагина. У меня не было никакой уверенности, что Владимов захочет разбираться в моей тайнописи, но все-таки книгу я ему подарил.

Каково же было мое изумление (и гордость!), когда через некоторое время в «Литературной газете» появилась огромная беседа Владимова с Феликсом Кузнецовым, и речь там зашла о романе «Как закалялась сталь»: Владимов высказался совершенно в том же, что и я, духе!

Он на меня, слава богу, не сослался (вернее, сослался, но по другому поводу), но явно прочел и вник.

Я подумал: все образуется. Плывет по волнам советской печати его рыбацкий «Скакун», и появляются такие его интервью — все к лучшему...

И тут из-за кордона раздался лай...

ЦЕНА ВЕРНОСТИ

Этот лай я узнал сразу, хотя пес был обложен вдвое большим количеством страниц и к своему исконному имени — Руслан — получил добавок в виде эпитета: Верный.

Куда важнее было другое обстоятельство: та конура, из которой выскочило на меня этот гулаговское чудовище, то есть та конура, в которой оно нашло себе место. Это был отнюдь не «Новый мир» (к этому времени уже изрядно растерявший репутацию журнала оппозиционного), а заграничный, антисоветский, заклеянный проклятьем, вредительский, вражеский, страшный журнал «Грани».

На титульной странице «Верного Руслана» стояло:

*«Леве Аннинскому с преданностью всяческой и собаческой.
Г. Владимов».*

Что мне делать? — думал я, приступая к чтению. Ведь теперь его телефон поставлен на прослушку. Что за удовольствие разговаривать, ежесекундно помня, что у тебя не один, а минимум два слушателя!

В общем, я решил написать письмо.

Это первое письмо в нашей переписке, и я решаюсь опубликовать его не с тем, чтобы было ясно мое мнение о «Верном Руслане», — это мнение додуманное и выверенное, обнародовано

неоднократно, но я хочу передать «окрас момента» — именно то, что Владимов тогда от меня услышал (то есть прочел в письме) и как этим определились наши дальнейшие отношения.

16 мая 1975 г.

Дорогой Жора, разговоры разговорами, их еще полно будет, и все ж под свежим впечатлением от прочитанного хочу написать тебе — и потому, что не все скажешь в лицо, особенно автору (я имею в виду и хорошее тоже), и время пройдет, боюсь, что-то изгладится, а впечатление — огромное, и я весь поглощен мыслями, вызванными во мне чтением.

Проза сильная, дышащая крайними вопросами, и вместе с тем — искусная и точная по ткани, парочка несообразностей (ну, там — что «на троих» стали после 1961 года выпивать, а не в 1956, или — что не успели бы каменный поселок построить за одну зиму—весну, впрочем, там есть и оговорка: неизвестно, сколько прошло весен, но ведь по художественному счету — одна же!) — ну, это все мелочи. Главное, что потрясло и поразило меня — в том числе и сравнительно с чтением 1963 года, — это ощущение неотменимой трагичности живого существа, обреченного своей судьбе.

Тогда этого не было. Тогда меня немножко давила чисто западная безысходность метафоры, рациональный тупик, в который вела неприязнь к герою; выход ты искал в трезорей терпимости, и этот выход — я говорил тебе — воспринимался в том контексте как переход в иную систему координат, тебе, вообще говоря, не свойственную. Переход из традиции «западной» в традицию «российскую». Эти два выхода существовали порознь и рядом. И ты был в межмнении.

Теперь чистая метафора, в которой зверь тонет среди чисто публицистических чувств и поневоле становится виноватым, — выросла в образ живого существа, почувствованный с поразившей меня чуткостью. Это более не полуаллегорический вариант Ефрейтора, где Служба доведена до уровня «чистого опыта», но действительно живое существо, имеющее не заемную (занятую у нас), а свою судьбу. Откуда — ощущение, что Руслан и виноват, и не виноват в произошедшем. Видишь, одно дело — щедринский Коняга, в котором угадывается перекрашенный человек из народа, и другое дело — Холстомер Толстого или звери Сетона-Томпсона, имеющие перед богом не меньше прав на интерес, чем мы. Трагическая расплата за судьбу, которой все живое наделено без его ведома, раскрыта тобой

теперь, на этом звере с замечательной силой сочувствия и понимания, при котором невозможно даже и сказать, осуждаешь ли ты его или оправдываешь, мстишь ему или жалеешь его — это именно тот вариант, когда природа мстит с неизбежностью, но от этого не менее больно, или, как Достоевский говорил об осужденном: он должен понести наказание, но не смейте этому радоваться!

Мне глубоко близко то понимание живого, к которому ты пришел. Мне больно, что эта вещь, достойная быть классикой (я верю, что она будет ею признана, я хочу этого), — больно, что по преходящим тематическим причинам не может теперь появиться в наших журналах. Но она никуда не денется и ляжет камнем в фундамент остающейся после нас русской культуры и прядью, нитью — в ткань душевную наших внуков.

Обнимаю тебя! *Л. А.*

Оставим в стороне саму повесть, сравнительные достоинства двух ее редакций, а также человеческие измерения собачьего сердца, составляющие ее художественный шарм. Совсем не об этом письмо! Не в этом его смысл, его подспудная мелодия, его суть. А суть в том, что с этого момента писателя Георгия Владимова отрежут от советской литературы. И от страны. И от всех нас. А я этого не хочу! И, не решаясь ничего сказать прямо, даю отвлеченные советы: потерпи, мол, все образуется, тебя еще здесь опубликуют, только не уходи!

Однако наш герой не из тех, кто позволяет наносить себе удары шпагой.

Из последовавших за этим встреч, не очень частых, но неизменно дружелюбных, — один важный разговор, отчасти мною спровоцированный, но естественно вытекавший из сюжета «Трех минут молчания» (чуть не сказал: вытекавший из пробоин сейнера, скакавшего по волнам этого романа).

— Есть лодочники и есть корабельщики, — сказал Владимов. — Это два типа поведения в ситуации, когда корабль в опасности. Лодочники кидаются в шлюпки и отваливают, спасая себя, а корабельщики остаются на борту и борются за спасение судна.

— Мы с тобой корабельщики? — я перешел на личности.

— Мы — корабельщики, — согласился Владимов, убрав усмешку в угол рта.

Лет семь еще предстояло ему бороться за спасение судна, оставаясь на борту. Команда, в составе которой он это делал, назы-

валась «Эмнисти Интернэшнл» и финансировалась какими-то зарубежными службами. Разрыв надвигался.

По рукам ходило письмо, в котором Владимов объявлял себя сторонником Солженицына в деле борьбы с режимом. «Ну, теперь ты уже почти в лодке, — подумал я. — Будет ли у меня случай спросить тебя об этом?»

Последовавший затем его звонок помню дословно.

— Лева, привет! Я хочу сказать тебе, что выхожу из Союза писателей.

Я сорвался с тона:

— Жора, зачем?! Ты же не выходишь из... профсоюза? (Господи, а в каком профсоюзе мы все числимся?)

— Из профсоюза? — он говорил очень спокойно. — Как можно выйти из того, чего практически нет?

— Но Союз писателей тоже... в известном смысле профсоюз. Какой смысл из него выходить? Что меняется? (Что за чушь я несу!)

— Реально говоря, это никакой не профсоюз. И меняется все. Поэтому я выхожу.

— Не ходи дальше, Жора, — жалко сострил я. (И это все, что я могу сказать ему на прощанье?)

— Ну, это уж как получится.

— Держись!

— Держусь.

Больше звонков не было. Ни его, ни моих. Только слухи — сквозь пелену молчания. Обыск... изъятие архива... скандал, устроенный его новой женой кагэбэшникам... диссидентская верность.

ИНСУЛЬТ КАК ФАКТОР ОБЩЕНИЯ

Не могу сказать, от кого я услышал, будто у Владимова инсульт, но это вывело меня из ступора. Черт бы их всех побрал: агентов, комбатантов, протестантов... Он дома или в больнице? В какой? Это нетрудно выяснить. Номер палаты? Часы посещения... В конце концов я иду навещать больного, и это никого не касается: ни международной амнистии, ни отечественной жандармерии. Я навещаю боль-но-го.

Больной несколько удивился, увидя меня в дверях палаты... но не более чем на мгновение. Я засек знакомый внимательный взгляд и улыбку. Владимов не походил на страдальца.

Мы разговаривали — как полагается в больничной палате. Кстати, палата была маленькая, двухместная, и сосед вышел, так что мы остались без соглядатаев. Ничего интересного соглядатаев в разговоре не было. Как самочувствие? Какое лечение? Когда выписка?

Подтекст моих расспросов я отлично сознавал: тебя добросовестно лечит та система, которой ты объявил войну? Или мстит тебе?

Нет, не мстит. Лечит добросовестно.

Я спросил о здоровье жены. (Вторую его жену я видел пару раз в Доме литераторов: миниатюрная красавица с точеной фигуркой, с огнем, неожиданно вспыхивающим в желтых глазах... или они казались мне желтыми? Чудилось что-то тигриное в ее изяществе. Наталья Кузнецова. Ввожу ее в рассказ, потому что в последовавших событиях нашего сюжета она сыграет заметную роль.)

Мы простились, а через некоторое время Наталья позвонила мне и спросила, приму ли я приглашение на день рождения Владимова, имеющий состояться в ближайшее февральское воскресенье.

Я сказал, что приму.

Подробности празднованья я, пожалуй, пропущу. Владимовского в нем было мало, — хотя пятидесятилетний юбиляр сидел во главе стола, занимавшего почти всю комнату в крошечной квартирке на «Пионерской», и отпускал шутливые замечания, которые гости почтительно выслушивали.

Гости — видные по тому времени отказники, ветераны диссидентского движения, сидельцы и страдальцы. Некоторых я знал еще до их диссидентства. И они меня знали и, как я почувствовал, несколько недоумевали, с чего я затесался в их круг. Мне казалось, что каждая моя реплика берется на просвет и взвешивается. Что-то неизбежное я говорил, но, в сущности, это были для меня три часа молчания.

Больше меня не звали.

Еще три года молчания — и неожиданный звонок. Владимов хочет попрощаться.

Что ж, к этому шло.

Когда увидимся?

В дальней перспективе — бог знает, а в ближайшей, если можно, нынче же вечером. Чтобы оставить на сохранение бумаги.

Он приехал с большой папкой. Попили чаю. Я проводил его до метро. Обнялись.

Шел 1983 год. Палестинцы очередной раз дрались с израиль-
тянами. Я подумал: хорошо, что авиатрасса в Германию лежит
севернее тех драк.

ПОЛНИТСЯ ДУША И ПРЕСЕКАЕТСЯ РЕЧЬ...

Нет худа без добра: он — в германском Нидернхаузене, я —
в Москве. Результат — около двух десятков его писем за после-
довавшие годы.

С радостью передаю ему слово, ограничиваясь отныне лишь
комментарием, чтобы высветить ту или иную ситуацию или объ-
яснить некоторые частности.

Первые пять лет — никакого общения. Полное молчание.
Ноль контактов. «Застой».

У него — разрыв с «Гранями», работа на радио «Свобода».

У нас — постепенное оттаивание. Очередная «оттепель», пе-
реходящая во внеочередную Перестройку. Публикация текстов,
до того запретных. В одном из толстых журналов появляется
«Верный Руслан».

«Литературное обозрение» заказывает мне рецензию; со-
трудник, ее заказавший, извещает об этом Владимова; я прошу
прислать мне тексты статей о повести в зарубежной прессе.

*И получаю письмо, в котором должен объяснить только одну
фразу: поразившую меня когда-то реплику Надежды Яковлевны
Мандельштам о Сталине: «Дело не в нем, дело в нас», — я это про-
цитировал в «Знамени» незадолго до того, и Владимов прочел.*

8.3.1989 г.

Л. Аннинскому.

Дорогой Лева, Канчуков из «Лит. обоза» сказал мне, что ты согла-
сился им написать о «Руслане». Полнится душа и пресекается речь...

Пересылаю просимое, а сверх того кусок и статьи Чернявско-
го (давно покойного) — он и послабее, и пожизне Терца, но дает
возможность выбора: собака или «честный чекист». А впрочем,
может быть, и не в этом суть, ежели «дело не нем, дело в нас».

Я надеюсь, у тебя все благополучно, и пользуюсь оказией
(вместе с Наташей) передать твоему семейству самые лучшие по-
желания и сердечные приветы. Бог позволит — может быть, уви-
димся в мае. «Ленфильм» хочет экранизировать «Три минуты

молчания» и приглашает в Питер на две недели. Но, как они говорят, «возможны всякие подводные камни».

«Лесковское ожерелье» я получил, был в восторге и многое понял из того, что творится на нынешнем ТВД (театр военных действий). За всем происходящим слежу внимательно, радуясь и печалюсь одновременно.

Обнимаю. *Твой Г. Владимов.*

В мае мы как следует не увиделись. В Питере Владимов побывал, а Москву проскочил проездом — мы с женой едва успели передать сувениры.

«Лесковское ожерелье» — моя книга, которую я послал ему с какой-то оказией.

Следующее его письмо — отклик на мою рецензию в «Литературном обозрении». Письмо настолько интересное, что я, с позволения Владимова, в том же «Литобозрении» его вскорости опубликовал. Привожу письмо здесь: этот документ важен для будущих биографов Владимова и исследователей «Верного Руслана».

Несколько частных комментариев. Статья А.Синявского (Абрама Терца) о «Верном Руслане» была опубликована еще в 70-е годы, после публикации повести за рубежом.

Полуболотов — герой повести Михаила Кураева «Ночной дозор». Митишатъев — герой романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Чонкин — герой романа Владимира Войновича «Приключения солдата Чонкина». Иван Африканович — герой повести Владимира Белова «Привычное дело».

Олег Михайлов — писатель и критик, с которым мы сделали диалог для «Литературной газеты» (Олег — мой университетский однокашник, а в далеком прошлом — суворовец, как и Владимов).

Остальное должно быть понятно без комментариев.

ГОРОДУ И МИРУ

30 октября 1989 г.

Дорогой Лева,

спасибо за журнал — и, конечно, за статью.

Понимаю, сколь было сложно после Абрама Терца, хотелось же и подальше него шагнуть. Но ты, собственно, и был дальше, — еще

когда отписывал мне 16-го мая 75-го. Ему, для подкрепления публицистического пафоса, все-таки понадобился «честный чекист», «строитель коммунизма», положительный советский герой в «итоговой вариации», четверолапый Павка Корчагин, у тебя же было — без аллегорий — «ощущение неотменимой трагичности живого существа, обреченного своей судьбе». Из чего, между прочим, я заключаю, что ты, в отличие от некоторых, не на одни эпитафии обращаешь внимание, но и на подзаголовки. Ведь писано было городу и миру: «история собаки». Не видать! Латынина даже посетовала, что недостаточно жесткий с героя спрос, не как с Полуболотова, — а того не заметила, что Полуболотов-то жив-здоров, а псу в первой же сцене вынесен смертный приговор, и все далее происходящее — только отсрочка исполнения. Повесть и писалась с тем ощущением, которое ты поймал и обозначил, — что Руслан свою смерть таскает с собою неразлучно, как если б ему под шкуру вшили ампулу с ядом, с антабусом, неминуемо должным когда-нибудь, при каком-то случае, его убить. Химический же состав токсина — хоть ты почему-то упорно с этим не соглашаешься — именно то, чему мы его научили и в чем он оказался первым учеником.

Дорого автору и другое твоё восприятие, что я не держу читателя лагерными ужасами, но вся суть — «в постоянном вывороте жизненной ткани с «добра» на «зло» и обратно», и весь ужас — «что из элементов добра магическим образом составляется зло», что «выстроился тот тоталитарный лагерь... еще и на честности и правде! Еще и на положительном Руслане...» Кажется, еще чуток, и мы поймем удивительный — и печальный — парадокс русской литературы: все нормуют авторы представить нам героя «положительно прекрасного», а сволочная действительность не дает ни в какую, и поэтому Гоголь свое дитя в печке спалил, Достоевский — никого лучше эпилептика не нашел, а твой покорный слуга взял и собаку восславил, которую, к тому же, «следовало отстрелить». Прошу не понять так, что я себя каким-то боком встраиваю в ряд с великими, это Абрам Терц делает, а я — просто для наглядности, для примера.

«Верный Руслан», возможно, и не великая книга, но — хорошая. Может быть, даже очень хорошая. (Почему-то не принято у нас говорить «хороший писатель», а ведь какой прелестный и точный комплимент!) И читать ее, судя по твоей статье, будут еще долго. Если столько мыслей и темперамента она возжигает у критика, еще не вечер для нее. И не абсолютно исключено, что и Л. Аннинский к ней еще вернется, как некогда к «Большой руде».

Есть, однако, вещи, с которыми трудно мне согласиться. У тебя получился занимательный, былинной красоты зачин, будто сперва слух пошел, что надвигается из восточной глубинки грандиозный и актуальнейший сюжет, и выходили на него разные добры молодцы — покуда не взялся Владимов. Было все немножко не так, скорее — наоборот. Сперва Владимов написал, и «новомирские» машинистки это распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и оттого и пошел слух о «новом шедевре» Солженицына. (Кинорежиссер Марлен Хуциев, знакомясь с ним, ляпнул даже об его «лучшей вещи — про собаку», на что бывалый зэк никак не отреагировал: смолчал), а позднее рассказ этот сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин. Но, кажется, он не стихи написал, а тоже рассказ, и это было объявлено журналом «Москва», и пришлось Б. Заксу туда звонить и разъяснять. Щепетильный Яшин свое тотчас забрал и, по-видимому, уничтожил. А я, таким образом, был 13-м, кто приступил — по второму заходу — к собственному сюжету. И ежели больше других преуспел, так потому, что не всем на пользу чужое. Пушкин, как нам известно, даривал Гоголю «сюжеты — «Ревизора» и «Мертвых душ», но он не дурак был дарить пушкинское, дарил — гоголевское.

Что о «рыданиях, выдаваемых за кашель», не зэк рассказывает, а суворовец — может статься, ты прав, но в силу твоей язвительной привычки искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается. С поезда спрыгивает все-таки зэк (и тот же Солженицын в одном частном письме признал, что написано о лагере «изнутри, а не снаружи»), но ты прошел мимо вокзальной сцены, как и многого еще, что не слишком удобно ложилось в концепцию. Вот Наталья Иванова — та не прошла, движется как-то в фарватере с автором, пока что всех параллельнее. Достоинство это или изъяс критика, я уж не разбираюсь, так давно отпал от этого жанра. Но если мне и хотелось публицистического разговора в критике, так именно такого, что в № 21 «Огонька» — о свободе, и на что мы ее тратим, и кто нам на сей счет смеет указывать. Если б меня еще при этом не переслаивали так насильственно с моим Митишатьевым — Войновичем! Как они друг с другом соотносятся, Руслан с Чонкиным, уму непостижимо, ведь они живут в разных измерениях, каждый по своим правилам игры. Я говорю о тех правилах, которые обыкновенно объявляются автором на первых же страницах, а то и в первых абзацах: скажем, садится посреди деревни самолет, и со-

бираются мужики вокруг, и какой-то мальчик вдруг палкой лупит по плоскости, то бишь крылу. Ни в одной российской деревне никакой мальчик ни при каких обстоятельствах не ударит палкой по самолету (да в те годы, начало 40-х!) — стало быть, это не простая деревня, а какая-то необыкновенная, деревня Войновича, где все возможно, «что и не снилось нашим мудрецам». Но если мы эти правила игры приняли, эту палку проглотили, то проглотим и Чонкина, которого в природе не было. Не было никакого «русского Швейка» — так его аттестует западная реклама — нечто из области чувашского Фадеева и ханты-мансийского Ильфа-Петрова, сомнительное и несуразное, ибо что оно такое — Швейк? Солдат маленькой страны, втянутой в большую чужую войну. Но наша Отечественная ни для кого чужой не была, даже для дезертиров, уклонявшихся от нее все-таки с чувством греха и вины. Да, впрочем, русский характер всякую войну примет, как свою, кто бы ее и ради чего ни затеял, потому как — надоть! Надоть его (немца, чехословака, афганца и др.) мордой об землю, больно много воображать начал!

Кстати, дорогой Лева, насчет «поворотного 1966 года» — оно, конечно; и «Привычное дело» вещь замечательная, волшебная, но с той поправкой, что и Ивана-то Африкановича этого прекрасного — тоже не было! Существовал он — как воплощение принципа, что если даже и не было, так следовало придумать. Да еояи б был он — не было бы трагедии Василия Ивановича Белова, не писал бы он «Все впереди», а снова и снова прибег бы к своей бесконечной Тимонихе. Но вся эта «деревенщина» — исключая, может быть, Матрену, шукшинских «чудиков» и можаевского Живого, — существовала лишь в головах изобретателей, в чертежах и эскизах, натурные же образцы — не работали, и в конце концов это выявил, сам того не хотя, Распутин со своими святыми старухами. Мы с тобой знаем, что пуще всего они мечтают перебраться в квартиры с газом и унитазом, но согласно Распутину они так свою «почву» любят, что даже полы моют перед затоплением Матеры. Это им не самим придумано, а заимствовано частью из «Поэмы о море» Довженко, а частью из «Гибели эскадры» Корнейчука, где боцман приказывает драить палубу перед затоплением родного линкора. Я немножко плавал и немножко знаю военных морячков, они бы этого боцмана взяли за шкурку и выкинули за борт. Правда, тогда бы не было великой драматургии.

«А Руслан — был», — как утверждает (надеюсь, справедливо) в № 7-м «Нового мира» Александр Архангельский. Кто таков, не знаю. Говорят, молодой, лет тридцати. И по молодости — отваж-

ный (т. е. не битый еще): отдал мне предпочтение перед Булгаковым. Как, впрочем, и ты. Выслушал это дело Максимов и сказал: «Что ж, это правильно. Все-таки «Собачье сердце», при всем блеске, при всех достоинствах, — фельетон...» Не решусь ни оспорить, ни согласиться насчет жанра, но, честно признаться, вещь эта корбит меня. За что, собственно, оскорбили собаку, представили ее сердце вместилищем наших пороков, гнусностей и мерзостей? Сказывают, Михал Афанасьич котов уважал, но в собаках он явно не разбирался: они таковы, какими мы их иметь желаем.

Тут я подползаю к «подсунутому долгу» и как господа испортили зверя. Почему же это «малосущественно» и чем мешает моим объяснениям «теплая кровь», сочащаяся из «тяжелой добычи»? Это ж не так надо понимать, что было травоядное милое существо, а мы его пристрастили к пище мясной. Нет, был зверь, но — заключивший договор с Человеком. И там было — любить хозяина, защищать его, даже ценою своей жизни, но не было — «пасти двуногих овец», это вставлено задним числом, жульнически. И все же он взялся выполнять и этот пункт, вот в чем он обманулся, в чем его трагедия, а наша — вина. Можно было бы написать эпизод, где бы на охраняемую колонну напали посторонние (с целью, скажем, освободить ее, такое тоже случалось) — и он бы своих эзков тоже защищал ценою собственной жизни, да, собственно, и делает это — в «собачьем бунте». Тогда бы, может быть, яснее стала суть чудовищной подмены.

Кстати, на гнилом Западе не менее остроумно приспособили пса служить «добр» — искать наркотики в автомобилях. Он все отлично унюхивает, даже в бензинном мотоотсеке, но потом хозяину-пограничнику приходится долго вырывать у него из клыков пакет с героином. И вдруг догадываешься с оторопью, что ведь пес этот — наркоман (точнее — «наркодог»), таким его нарочно сделали господа. И значит, во спасение наше дни его сочтены и полны мучения, адского наркотического голода. А ты говоришь — малосущественно.

Письмо у меня затягивается и растекается в стороны, «мыслию по древу», а главное все не сформулируется. Может быть, оно в том состоит, что мы никого не имеем права втягивать в свои грязные, полоумные кровавые игры. Хоть от этого воздержимся — и на том Суде немного заслужим прощения.

Хотел еще про украинцев огрызнуться, да вспомнил, что ты не едешь на машине, а то бы знал, что самые беспощадные орудовцы — с хохлацким выговором. Так что тут моя маленькая месть. А голод на Украине я сам пережил в возрасте 1,5 года, я же из Харькова.

Надеюсь, у тебя все хорошо, ты полон замыслов и не слишком измучен перестройкой. Наташа, как и я, кланяется тебе и всем твоим и желает всяческого благополучия. А кроме того — уложить на обе лопатки твоего друга-противника О. Михайлова, тоже больно много воображать начал.

Обнимаю тебя. *Твой Г. Владимов.*

СОСТАВ ТОКСИНА

12 декабря 1989 г.

Жора, дорогой мой!

Письмо твое ждало меня неделю, пока я догуливал со Стасом Чаплиным (вспоминая тебя) по улицам Иерусалима срок моей командировки, сотворенной самим же Чаплиным «для чтения лекций в университете». Так что образ твой был с нами и там. Письмо же обрадовало меня — и фактом, и тем, что и как написано. Включая несогласия, на каковых я, наверное, все-таки немного остановлюсь, ибо и для меня, и для тебя все это серьезно.

«Состав токсина» и тот факт, что именно мы подсунули токсин псу, — ты прав, побуждает меня к какому-то подсознательному сопротивлению. Во-первых, потому, что специалистов по токсину и без меня хватает. И, во-вторых, потому, что и нас какой-то черт подсунул в природу. Или бог. Перед которым придется каяться. Перед людьми же — в составе токсина — не хочется. Ибо токсин (то есть лагерь) людьми же и создан. И, как ты доказал, не всегда худшими людьми. Включая зверей. Что, конечно, главный вопрос. И тут главное у нас с тобой противоречие. Ты видишь то, что зверь заключил договор с Человеком, и «Человек задним числом, жульнически, вставил в договор подлость. Для меня же зверь так и эдак обречен насилию и военная (охотничья) хитрость — та же подлость; тут не различишь, ибо стережет от таких же. Мне больше говорит другая метафора: договор человека с богом. Для меня твой случай — есть именно случай, частный случай той закономерности, и соотношение природного и человеческого уходит в толщу трагедии, предназначенной человеку как существу природному, бессильному стать богом. Поэтому я воспринимаю твою повесть о звере (а не о «плохом человеке» — в парафразис басне) как драму природного бытия, в которую и зверь, и человек входят перед лицом бога. Это разные описания одной реальности. Ты пишешь, что мы никого не имеем

права втягивать в свои грязные, полоумные, кровавые игры. Я тут же продолжаю: но ведь мы сами втянуты, выброшены, всунуты в игру природы и бога. Где тогда свобода? Где ее границы? Как оправдаться «на том Суде», если мы того Судью не выбрали?

Конечно, я тебя читаю немного «по-своему», Наташа Иванова читает прямее и ближе, ты в этом абсолютно прав. И, конечно, я исследую не то, что автор говорит, а то, где он проговаривается-оговаривается.

Но, Жора, это же не от язвительности моей, у меня зрение так устроено: то, что автор **сказал** — уже **сказано**. Я ишу то, что через него **сказалось**. Я же сквозь все это так и эдак выхожу... не к тому, чтобы подчинять автора своей публицистической идее, а к тому, что нас всех порождает. И автора, и меня, и вообще **все это**.

Очень важна твоя мысль о митишатъевых вокруг точки внутренней правды. И о Белове, Войновиче, Распутине. Ты человек жесткой правды, у тебя воинский характер. Ты говоришь: они **выдумывают**. Может быть, и выдумывают, но их выдумыванием создается реальность... да, для меня это реальность, как и то, что создаешь ты, хотя ты мне ближе «их» (что я многократно говорил печатно).

Но я хочу понять и их правду. Надо понять каждого. Я не боец, я скорее утешитель. Это все — реальность, все. Но даже если вернуться к ее отражениям, — то и в этом случае обращаю твое внимание на твою же фразу в конце рассуждения о митишатъевых и о том, что глупо драться палубу перед тем, как покинуть гибнущее судно, — ты сказал: «правда, тогда бы не было великой драматургии». Жора, ведь это же **ТЫ** написал, **ТЫ** это чувствуешь! Драматургия... шут с ней, но не было бы драмы бытия... иначе говоря: соблазны неизбежно придут в мир, но горе тем, через кого они придут. «Все впереди» — это не соблазн, это просто распад и мнимость, но «Привычное дело» — это правда, это реальность, даже если она и придумана. А если это соблазн, то лучше такое горе, чем победа над ним. Вот, распадается вся наша прежняя жизнь, разваливается «империя зла»: одни этому радуются (пришел-де и на вас Суд), другие злятся и упираются («спасают Россию»), а я стою между, и горько мне, а другой реальности нет — только эта.

Не знаю я другой. Не было ее в моей жизни.

Насчет истории написания «Руслана» — очень важные у тебя уточнения. Я ж писал «воспоминание»: как это в мою жизнь входило. Ты не будешь против, если я каким-то образом твои уточнения использую? М. б., процитирую.

И вообще, письмо твое такое, что его бы целиком напечатать бы в том же «Литобзрении», но, конечно, это сначала ты должен взвесить.

Теперь поверх всего скажу тебе вот что. Для меня факт твоего письма, и вообще факт твоего возвращения в нашу реальность (печатную, духовную, умственную) — такая радость, что она перевешивает все несогласия. Не просто потому, что ты «хороший писатель», и глупо, преступно держать тебя «где-то там». А потому, что ты — часть нашей драмы, нашей судьбы, без тебя нельзя. Речь не про то, где тебе жить: жить надо там, где ты живешь. Но — все, что ты думаешь и пишешь, — это часть нашей жизни, это **нам** нужно, **жизненно** нужно, **здесь** нужно...

Да, кстати, я тут по ТВ в «Пятом колесе» разразился филиппикой, когда тебя не пустили: передачу даже повторяли; м. б., тебе рассказывал кто. У меня есть фонограмма: будешь здесь — прокручу. А что будешь — я не сомневаюсь. И потому письмо твое, и вся твоя реакция на мою статью — огромная для меня и законная моя радость.

Да и хватка в тексте — владимовская. И что отпал ты от литературной критики — не верится... ты ж рядом с действующим критиком живешь, мы ж Наталью твою читаем кое-когда, мы за нее радуемся. Она — молодчина, и чтобы ты, рядом находясь, так уж далеко отпал, — плохо верится.

Приедешь — познакомлю с Сашей Архангельским. Вот он — впрямь **язвительный**.

От нас с Шурой вам с Наташей — привет самый теплый!

Знаешь, на какой бумаге я тебе пишу? На той самой, что ты мне на прощанье оставил! Я ее, надо сказать, экономлю. Не по экономическим соображениям, а так, по эстетическим. Но на письмо к тебе — достал лист.

Ну, счастливо! Обнимаю! *Л. А.*

27 декабря 1989 г.

Дорогой Лева, звонил Канчуков из «Лит. обоза», сказал, что ты намерен опубликовать мое письмо со своим комментарием. У меня возражений нет, но м. б. стоило бы убрать насчет О. Михайлова, эту шутку кто-нибудь непременно поймет превратно.

Нам переслали кассету с «5-м колесом», не нардуемся на твой шикарный костюм и, конечно, на добрые слова... Странности моего неприяда рано или поздно прояснятся. Думаю, что даже скоро, поскольку новый министр Губенко вроде бы пробил мой приезд.

Пользуюсь случаем поздравить тебя и все семейство с Рождеством и Новым годом, пожелать, чтобы год уходящий был по крайней мере вдвое хуже наступающего.

Наташа кланяется и вторит словам моим.

Обнимаю тебя. *Твой Г. Владимов.*

СТЕНЫ ПАДАЮТ

14 февраля 1990 г.

Дорогие Наташа и Жора!

Февраль на середине, а вас все нет в Москве. Скоро уж тебя надо поздравлять, Жора, с очередным, слава богу, еще некруглым, юбилеем, — а приезд твой, видать, или отменен, или откладывается? Сегодня я, волею судеб, отбываю в Калькутту в составе делегации СП — на две недели, значит, свидание наше срывается (это если ты все-таки в феврале приедешь). Посему прибегаю к письму. Хочу поблагодарить за память и тепло, за рождественские подарки, которые вызвали в нашей семье разнообразную радость. «Руслан» стоит на живой полке (то есть — под рукой). Помним о вас и надеемся все-таки свидеться. Я, возможно, во второй половине мая буду у Казака (Вольфганга) в ФРГ. Там вроде поближе?

Письмо твое с моим комментарием идет в «Литобозе» в апрельском, кажется, номере. Имя Олега Михайлова заменили на NN; совсем снять фразу — значит снять и мой комментарий, а я там в этой связи сказал для меня важное.

У нас — теплынь, слякоть, «оттепель», жрать нечего, ленту для машинки найти нельзя, но «много стихов и песен». Шумим, гуляем и гадаем, что дальше.

Обнимаем вас, дорогие! *Л. А.*

Дальше — какой-то испанский меценат организовал поездку группы литераторов в Мадрид, меня включили. И тут во мне шевельнулся авантюрист: а нельзя ли на обратном пути сделать остановку в Кельне? Оказывается, можно. А в Кельне — профессор Вольфганг Казак, предложивший мне лекционное турне по университетам Германии, но не имеющий возможности оплатить дорогу. Так это же совпадает раз в жизни: чтобы дорогу до Германии оплатил испанец, а поездку по Германии — немец!

Точнее — по Западной Германии, потому что ГДР еще существовала, хотя стена уже рушилась.

Мой маршрут был: Кельн — Гамбург — Майнц — Мюнхен — Регенсбург — Бамберг — Аахен.

Придя в себя от свалившегося на меня счастья, я определил по карте, что ближайшая к Нидернхаузену точка моего маршрута — Майнц, и, оказавшись там, попросил сопровождавшего меня аспиранта устроить мне встречу с писателем Владимовым.

Пунктуальный немец все пообещал, только попросил меня уложиться в жесткий график, — и в назначенный час на пороге моей комнаты в гостинице появился Владимов.

Нет. Уточняю. Он появился минут на пять раньше назначенного срока. Это был, конечно, сдвиг с немецкой точности в сторону русской душевности.

Как семь лет назад при расставании, мы обнялись.

Я с ходу вручил ему номер «Литературного обозрения» с его письмом по поводу моей статьи о «Руслане», и тут — символическая картина: не сходя с места, Владимов раскрыл журнал и, мгновенно отключившись, — стал читать свой текст и, пока не дочитал, не двинулся с места. Мы стояли и ждали.

Следующие несколько часов слились у меня в какой-то вихрь. Автобан. Руслан. Пятое колесо. Достоевский в Висбадене. Горбачев в Кремле. За встречу! Стена! Разрядка! Перестройка! Свобода!

Я был возвращен в Майнц и сдан аспиранту точно в срок.

Одно обстоятельство должен отметить особо. В разгар встречи, проходившей, естественно, под кулинарным руководством ослепительно красивой Натальи Кузнецовой, произошло следующее.

— Ташечка, подожди... это будет суббота. У них выходной.

— Какой еще выходной? Придут и запишут!

— Ташечка, это же немцы, у них порядок.

— Придут как миленькие. Я сейчас позвоню Малинковичу...

— Набирает номер. — Володя! Ты в субботу при эфире? Нет? А не хочешь ли поработать? К вам едет наш друг, московский критик... В какой гостинице? Сейчас уточню...

Украинец Малинкович сработал с немецкой обязательностью: подхватил меня в мюнхенской гостинице, привез в пустующую студию, поставил микрофон — и мы со вкусом проговорили с ним полный час, получив от беседы удовольствие, сравнимое разве что с кайфом московской интеллигентской кухни периода Застоя.

Передача вышла в эфир; позднее, расшифровав ее, Малинкович опубликовал диалог в своем журнале.

Вскоре он вернулся в СССР, теперь — видный публицист в Киеве.

ПОКРАСКА РЕШЕТОК

2 июня 1990 г.

Жора, дорогой мой!

Кажется, это чудо, что мы встретились, две недели прошло, как я у тебя был, и неделя, как вернулся в Москву, а все перед глазами.

Нижеследующее послание — Наталье.

Милая Наталья Евгеньевна! Как и обещал, посылаю Вам свою книгу. Ваши тексты прочел неотрывно, нахожу, что по зубастости и по чутью к ситуации Вы — происходи дело у нас в Союзе — были бы в боевом кругу, не уступая другим Натальям (скажем, таким, как Иванова или Ильина), да, в общем-то, круги эти сейчас сближаются. Влияние Г. Владимова в статьях прослеживается, но лишь в одном пункте, а именно: я — единственный Ваш противник, в полемике с которым Вы великодушны.

Еще докладываю, что баталия моя с В.Д. Малинковичем состоялась, одни считают, что он меня «перешиб», другие — что я устоял, сам я передачи не слышал и судить не могу.

Шура благодарит за книги и за сахар, сладкий с виду и острый, когда распробуешь. Таков должен быть и характер критика.

Салют! *Л. А.*

В ответ — две открытки с видами Висбадена.

27.7.1990 г.

Дорогой Лева!

Вот тебе рулетка и казино (на другой открытке — днем и крупным планом), где Ф.М. Достоевский проматывал авансы и потиражные. Все описано в романе «Игрок» — выпей шампанского бутылку и перечти вместо «Женитьбы Фигаро».

Жаль, что не побывали тут с тобой. Но и то чудо, что хоть на полсуток встретились...

Чудом были и семь дней в Питере, — хотя впечатление очень горькое. Решетка Летнего сада — не покрашена. И все валится на

глазах. Не знаю, как в Москве, но тут ведь классика разрушается. Одна надежда — на Собчака.

Бандероль твоя шла, как до perestroiki, но все же дошла — и Наталья грозит написать рецензию. А насчет Малинковича не сомневайся, вся станция считает, что ты выиграл чисто по очкам все раунды. Правда, сам Малинкович у них не в большом фаворе, он — из неприсоединившихся, одинокий стрелок.

Шурин шарфик (зелененький) Наташа носит и благодарит за подарки. А я прошу извинения, что не позвонил ей из ЦДЛ — телефон занимали какие-то незнакомые пьяные рыла, а больше звонить — времени не было, нас увезли на «Стрелу». Все претензии — к А. Битову, организатору этого марафона.

Уже известно название Натальиной рецензии на тебя: «Отсебятина критика Аннинского» (by N. Kouznetsova).

«Острый сахар», кстати, — это имбирь. С оказией передадим еще, а также и «Большую руду», поскольку не очень надеемся на почту.

«Руслана» твой друг-противник Олег Михайлов вставил в сборник «Рукописи не горят», а «Литературная газета» напечатала моего Гудериана, сильно потрепанного (как и интервью).

Пока закругляюсь. Приветы и поцелуи Шуре и трем сестрам (твоим дочерям), коим не надо в Москву, в ~~М~~оскву, в Москву. *Г. В.*

«Мой Гудериан» — это уже первые сигналы от «Генерала и его армии». Шарфик (зелененький) — подарок, переданный моей женой Наталье. Сама Наталья прислала свою открытку:

Дорогой Лев Александрович!

Спасибо Вам за книгу, которая шла без малого полтора месяца. Я об ней хочу написать — вернее — о Вас, потому как спорить с критикой Аннинского мне не под силу. И вот интересно: только села писать о Вас — и Вы мне «встречаетесь» на каждом шагу. Например, сегодня включаю радио — интервью с И. Золотусским, и он, буквально, из моей статьи о Рыбакове — об Аннинском и «шекспировских страстях». Послушав, как Игорь Петрович «уничтожает» Рыбакова (да и после Войновича в «ЛГ»), пожалела старика: его «Тяжелый песок» я не забыла и сегодня. Пожалуй, сейчас не стала бы писать о нем статьи — и не из «великодушия», а просто не люблю в литературе кампаний (и компаний) по ликвидации.

Шуре привет и благодарности от меня и Жоры.

«Большую руду» пришлю через подругу в конце августа.
Искренне расположенная к Вам и к Вашему дому Наталья Кузнецова.

P.S. О Карабчиевском Ваша статья совсем хорошая! Н. К.

10 сентября 1990 г.

Владимовым от Аннинских.

Милые друзья!

Открыточка от Натальи пришла накануне нашего с Шурой отъезда в Болгарию, а твою, двойную, Жора, я нашел по возвращении. Обрадовался — и тому, что там написано, и самому факту, что написано. Тоска-то, знаешь сам, какая. Что решетка Летнего сада в Питере не покрашена, — так это лишь то, что ты увидел. Земля брошена, вот что страшно. Бог дал урожай, а за черным хлебом в очередях стоим: некому подвезти, некому печь, некому урожай убрать... Одним словом, некому жить. Я как раз после Германии проплыл с одной из дочерей по одной из славных русских рек, Торопа называется, из Тверской губернии в Псковскую. На лодках резиновых плыть — одно удовольствие, да еще с дочкой и университетскими друзьями, но — такая тоска от брошенной земли, боже мой. Пустые дома стоят, вот только что оставленные, хозяин подался в ближайший райцентр, мать-старуха померла, жить некому. Он еще, видно, болеет душой, наведывается, записочки пишет прохожим, чтобы не разорjali его дом, приезжает изредка — новый замок повесить взамен сбитого, а дом меж тем разваливается. В селе три старухи ждут, что им привезут молоко. Привозит на самосвале мужик в летах, я слышал их разговор при раздаче молока, беззлобный и полный юмора, состоящий, между прочим, из одного мата. После Германии замечательно было вернуться в родную страну. Обсуждаем программы быстрого спасения: 500 дней, 600 дней, управляемый рынок, полууправляемый рынок... Хорошо программы предлагать тем, кто работать хочет, да не знает как. А какие программы — когда никто ничего не хочет, и «все чего-то ждут»... прямо по Окуджаве.

Так что если вернетесь (я, Жора, все твои интервью тут изучаю), скучать не придется.

Ладно. За демократию надо платить. Хватило бы чем!

Вспоминаю вас и ваш дом. Я был в какой-то эйфории, наверное, наговорил много глупостей, но это было счастье. Рад, что не подвел Наталью с Малинковичем. Послушать бы запись, да где уж теперь.

В последнем номере израильского журнала «22» высказывания о немцах — русские, живущие в Германии. Малинкович — интереснее всех! Интереснее даже Войновича. Кстати, почему, Жора, ты не участвуешь? Эти высказывания Юлия Вознесенская собрала. Или твое я пропустил?

Обнимаю вас. Жду «Большой руды» с авторским послесловием. Жду Наташиной статьи о моих отсебятинах.

Письмо Тарковского твоего взял у меня из твоих бумаг Костя Щербаков для «Искусства кино». Намечаются и еще о тебе публикации, да я суверен. Выйдет — узнаешь.

В данном случае я имею в виду мой ответ некоему «Иванову», который в «Литературной газете» обличал Владимирова, что тот отъехал за границу в поисках «лучшей жизни», — мой комментарий вскоре появился в «Журналисте».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛА ИЗ РУДЫ

Меж тем пришла мне от Владимирова «Большая руда» с дарственной надписью и со статьей, где он называет меня своим «лучшим критиком».

Моя реакция:

16 октября 1990 г.

Жора, дорогой мой, спасибо! Твой Пронякин благополучно доехал и припарковался у меня дома. Твой комментарий, в мае прочитанный мною наскоро, теперь прочитан внимательно и вызывает к душевному отклику. Я еще рез убедился, какой прирожденно зоркий литературный критик сидит в тебе от природы и продолжает сидеть по сей день, несмотря на то, что ты с критикой «завязал». Ты, конечно, лукавишь, говоря, что тебе «повезло» со статьями, которыми ты, дескать, составил себе «некоторое» имя в критике, — ты был одним из самых ярких критиков нашего времени, и имя твое в историю русской критики твоими тогдашними статьями вписано прочно.

При твоей одаренности и осуществленности, несколько даже странна для меня та ревность, с которой ты замечаешь, где и кто у тебя что-то пытался стибрить — от человека твоего масштаба ожидаешь большего благодушия, но я отношу это на счет твоего

воинского темперамента. Хотя мне по-прежнему не кажется таким уж важным вопрос о том, кто первым разглядел собак по бокам студенческой колонны: у тебя все равно ничего невозможно украсть, потому что в твоих руках материал окрашивается, и подделать его нельзя. Совершенно не важно, у тебя или не у тебя собирался Шукшин подхватить шофера, потому что это был бы **другой шофер и другая драма**, и Шукшин это тоже знал, а про тебя говорил для красного словца.

Но это все мелочи. Тот смысл, который ты извлекаешь из параллели Владимов — Шукшин, — куда важнее авторских амбиций, и извлекаешь ты этот смысл с поразительной зоркостью, выдающей, плюс ко всему, еще и хватку именно критика: драма Шукшина — это невозможность оторваться от почвы, от родного навоза, от мафии — Шукшин настоящий русский человек, который не выносит одиночества и потому гибнет. Ты же — писатель одиночества, ты пишешь несливающуюся душу, ты по природе — одинокий боец, и поэтому я (по моим схемам) относил тебя к «западной» версии нашего предполагаемого спасения. То есть маловероятного спасения.

Для меня загадка Владимова — это именно существование одинокой души на русской почве; загадка — сам факт, что такая душа на нашей почве выросла, и выросла из каких-то наших, русских глубин и ресурсов, хотя и обречена безусловно. Обречена не «от начальства», а именно от давления низа, от диктата народа.

Вот почему твоя блистательная сама по себе эскапада в адрес сменяющихся лидеров, где и опричник, судорожно доворачивающий сорванные гайки, и дремлющий монгол на русском троне — чисто писательски врезаны в бумагу с впечатляющей силой, — тем не менее в большом контексте бьет мимо цели, вернее, бьет по совсем другой цели. Это и есть главное, коренное и давнее мое с тобой несхождение: ты всегда бился с «верхушкой», бросал вызов «структурам», требовал их к ответу, к ответственности — по всем законам воинской доблести. А я всегда чувствовал фатальную, изначальную безответственность нашей жизни, я именно из этого исходил, и потому мне всегда было не важно, кто там теперь уселся на «верхушке», для меня все эти люди были временные, статистические, я старался их не замечать, потому что они — та же почва. Губит же у нас человека не «начальство», а именно почва, «мир», народный навал, невозможность оторваться, вырваться. И это остается при всех начальствах.

Твой путь всегда казался мне героическим и несбыточным. Загадка Пронякина казалась неразрешимой на русской почве. Я, внутренне, куда больше, чем четыре раза, подбирался к «Большой руде», и не исчерпал ее, потому что для меня задача не имеет решения. В каше моих эмоций ты абсолютно точно нащупал тот предел, до которого я дошел в осмыслении: человек у нас, сознавши себя личностью, либо бывает смят и сломлен, либо сам покорятся миру и народу. Это наш рок, лезвие, по которому мы скользим и балансируем. Это наше традиционное спасение, которое уже, кажется, и не спасает.

Я бесконечно рад, что ты возвратился в нашу печать. Ты человек огромной духовной потенции, огромной стойкости и огромной дерзости, и задачи ты себе ставишь почти неразрешимые: одолеть русскую иррациональность, да еще при этом и устоять.

Обнимаю тебя. *Твой лучший критик — Л. Аннинский.*

Самый теплый привет Наталье Евгеньевне от меня и от Шуры, которая и тебе кланяется. Надеемся видеть вас в Москве.

«НОСИ И НЕ КАШЛЯЙ!»

Меж тем видим мы в Москве не Георгия Николаевича с Натальей Евгеньевной, а журналистку «Юности» Аню Пугач, которая привозит нам из Германии привет от друзей, а также пакет с шубой, от коего подарка я теряю дар речи. Потом обретаю:

5 ноября 1990 г.

Наташа, Жора, милые мои!

Ну, мы все просто остолбенели, когда раскрыли мешок, доставленный сюда к нам аккуратнейшей Аней Пугач! Сроду не было на мне такой штуки и не было бы, конечно, никогда, а теперь есть. Сначала я жутко смутился. Ну, в самом деле, представьте себе в наших условиях ситуацию, когда я вздумал бы сделать ответный дар такого уровня. Поневоле схватиться за голову. А ну, как, думал я дальше, захотел бы я теперь пополемизировать с Г. Владимовым по поводу его новой книги. А? Почешешь тут в загровке. А потом вдруг прошло от этой шкуры физическое тепло в мое тело, а потом и в душу, и враз почувствовал я себя снова в Нидернхаузене, и фотографии на стенках увидел, и простор из окна, и — пьянящий вкус пирога из «сельской пекарни», и — вообще все это неслыханное и незабываемое.

мое со мной происшествие, что я у вас, и что все это реальность — со мной, с вами — и Германия вокруг, а еще дальше — Россия. Ну, словом, как только я все это тепло и состояние в себе ощутил, смущение мое отлетело, а радость упрочилась и устоялась. И еще почувствовал я себя почти Львом Толстым — в момент, когда тот, едучи с Фетом из Москвы, продрог в карете слегка, и Фет отдал ему свою шинель — доехать до Ясной; Толстой доехал и отписал Фету: теперь, мол, я непременно напишу лирическое стихотворение.

Я, конечно, романа или повести не напишу, но непременно встречу вас в Москве в новой шкуре. Даже в летнюю жару. Но, видать, письмо это придет не в жару, а как раз в рождественский мороз. Посему — самые теплые вам поздравления с Новым Годом. Чтoб писалось. И опять возникало и писалось же.

Обнимаем вас! *Аннинские*.

29 ноября 90 г.

Дорогой Лева!

Рад был узнать, что аккуратнейшая Аня Пугач доставила шубейку до холодов, — надеюсь, пришлось впору. Насчет же «ответного дара такого же уровня» думаю, что едва ли смогу принять, так как он бы уничтожил смысл моего дара, вышел бы «натуральный обмен», характерный для крайне низкой степени цивилизации. Ну, если ты очень настаиваешь, то я борзых щенков предпочитаю, а еще лучше — кота, черного или рыжего, на тот случай, если дадут квартиру в Москве, как моему Митишатьеву — Войновичу. Без котенка в нее не войдем, а то воспоследуют всякие неприятности, вроде обысков. Равным образом страшусь любой полемики с Аннинским, поскольку у него, как теперь выражаются, «другая ментальность», а это значит — ничего ему не докажешь. Так что носи шубейку и не кашляй.

Все мы тут обеспокоены надвигающейся зимой, холодной и голодной. Надвигающейся — на вас, т. е. на нас, там живущих. А «мы» это не только эмиграция, но главным образом аборигены, рвущиеся «помочь Горби» дензнаками и посылками. Спрашивают адреса — в первый черед, конечно, пенсионеров, инвалидов, многодетных. Все очень трогательно — экстренные (заместо футбола!!) телешоу, с показом плотных очередей и пустых прилавков: «Помогите России!»; выступают «проминенты» (знаменитости) — в основном политики и киноактеры (писателей что-то не видно), подогревают энтузиазм ветераны 41 года: «Мы же помним, какие там у них,

под Москвой, ужасные морозы!» Ясное дело, наши две нации иначе не должны были подружиться, как прежде набив друг другу морды. Похоже, немцы в жертвовательном рвении опережают всех — и это скорее плата за Гитлера, чем единство, которому Горби, конечно, поспособствовал, но по поводу которого энтузиазм уже поутих. Помнится, 3-го октября были именины сердец, сплошной карнавал, ездили по городу поддамши и гудели; удалились в лес за грибами, но и там были карнавальные разезды по просекам — на грузовиках и тракторах с прицепами, хоровое пение, победные клики. Напомнило мне это оккупацию, и я по старой партизанской привычке схватился было за моего верного «пэпэша», но, к сожалению, смазка загустела, и не пошел патрон, а к тому же вспомнилось, что скорее мы теперь оккупанты, то есть не мы вдвоем и не две тысячи, но те 20—25 миллионов, что здесь ожидаются месяца через три, после открытия совграницы. А тут мороки хватает и со своими восточными братьями, которые спустя 45 лет уже как бы и не немцы, а какая-то иная популяция — «хонекеры»? «ульбрихты»? В том месте, где у немецкого немца находится предприимчивость, там у них амбиция и убеждение, что все им чего-то должны. В общем, «всюду родимую Русь узнаю». Это к вопросу о твоих схемах: «западной версии нашего предполагаемого спасения» — и «фатальной, изначальной безответственности нашей жизни...».

Вот что страшит: ну, Запад, конечно, поможет, выручит, но — одну эту зиму, а дальше что? Благотворительные порывы кратки, как все прекрасное. Боюсь, нынешняя «верхушка» лучшего не выдумает, как приучить Запад к мысли, что выгоднее ему подкармливать зверя, чтоб тот его не сожрал. Все та же ленинская «веревка», которую «сами сплетут». 74-й годок пошел изобретению, нет ли чего поновее?

И, поскольку я уже обратился к твоему письму от 16.10, то должен ответить, откуда моя ревность, когда ты «ожидаетшь большего благодушия». Постоянно чувствую агрессивность среды, которая хочет и куски от меня оторвать себе на пропитание, и в то же время доказать, что меня на свете не было. Выступает по «Свободе» дама-«культуролог» (напрашивается: «культ-уролог»), Светлана Беляева, сражается с мифом, будто в «Третьей волне» эмиграции было хоть что-то героическое; ушли б вы, ребята, с дороги, дали бы жить «андерграунду» (еще у ей любимое слово «социум»). Другой мифофоб, Борис Хазанов, таким вкрадчивым голосом жука-короеда доказывает, что «Новый мир» Твардовского — еще один миф, т. е. были они в приро-

де, и «Новый мир», и А. Т., но читать тогдашнюю прозу — невозможно, скучно. А третий, твой соавтор по «Взгляду», Новиков, тот даже сформулировал, что реализм — это лазейка для бездарности (!!!). Спрашивается, почему меня хотят съезть? Ведь я такого желания насчет, скажем, Толстого не испытываю (хотя он сам, это правда, хотел съезть Шекспира). Разумеется, речь тут не обо мне одном, обо всех нас, и в том числе о тебе. Что делать? Куды хрянстятину податься?

На сей счет Наталья, по-моему, хорошую статью сделала — ту, про твои «отсебятины», где ты и воякой выглядишь, и христианин (словом, «христоробивый воин», к тому же — один в поле), и Владимир Емельянович там ничего не ослабил, от души благословил, а выйти должно как будто в январе, в Союзе, и вроде бы 100-тысячным тиражом. Следите за рекламой, ожидается большой шумер. Наталья Евгеньевна П-я, Горбаневская, женщина своенравная, сказала с нежностью, ей, как говорят, не свойственной: «А, так у нас про Лесика идет статья? Ну, здорово!» За что купил, за то продаю.

Обнимаю тебя, желаю тепла унешнего и унутреннего, и чтоб побольше выдавал стране качественной отсебятины.

Наташа и я кланяемся Шуре и дочкам, надеемся на продолжительную встречу в году 91-м.

Твой Г. Владимов.

HERZ FUR RUSSLAND

19 декабря 1990 г.

Жора, дорогой! Со смешанным чувством омерзения и необходимости я писал текст, который посылаю тебе в прилагаемом номере «Журналиста». Я думаю, что ты, читая интервью с тов. Ивановым, испытаешь ту же смесь чувств, но что отрицательные эмоции не перенесешь бессознательно на меня. История должна знать героев литпроцесса!

Володя Максимов через Окуджаву спрашивал меня, «не обижусь ли» я на заголовок: «Отсебятины». Я изумился факту такого вопроса, ответил, что не обижусь, а главное: понял, что Наташина статья идет. Буду ее ждать.

С месяц тому назад писал вам с Наташей письмо, где благодарил за великолепную шкуру, в которую вы меня облекли. На случай, если то письмо пропало, еще раз благодарю.

С Новым Годом! Л. А.

21 декабря 1990 г.

Дорогой Жора!

Разминулись письма: только вчера отправил тебе журнал «Журналист» кое с чем, тебя касающимся, а сегодня — твое интереснейшее письмо, на которое не могу не откликнуться: посылаю вдогон.

Эта немецкая помощь и на меня действует совершенно убийственно. Именно потому, что она искренна и великодушна. Это же такой стыд, такой позор душевный, о котором и не скажешь никому. «Победители». Такая странища, такой урожай был — где все это? Почему немцы должны нас кормить? Войны полвека нет — почему мы живем в этом холуйском, нищем состоянии? Почему побираемся, у всех берем, кланчим, занимаем, отлично зная, что никаких долгов не вернем никогда — все проедем, пропьем и прогуляем?

О, немцы — это боль моя, и я тебя понимаю. В Германии-то ведь меня что убивало? Любовь их искренняя, открытая, и их доброжелательство, вспыхивавшее от одного того, что я русский, — эти их лучащиеся прощением и наивностью голубые тевтонские глаза. И моя полная перед ними беззащитность. Господи, куда делся из них гитлеризм, или его не было? Куда деть мне из своей личности того шкетенка, у которого убили отца, дядю удавили в душегубке, другого расстреляли, куда деть мне животный страх моей матери, который я вот и теперь, полвека спустя, физически ощущаю, вместе с теперешним, поздним мучением, что ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, что будет с немцами сорок лет спустя, может, они станут единственной нацией Европы, всех перерожают и перерастут, а может, — ты прав — набив с нами друг другу морды, подружатся, и придут наконец к нам не так, как Гитлер, а так, как Екатерина, — ведь из всех западных народов они, кажется, были единственным настолько небрезгливым, чтобы лезть в наше болото (теперь уж одни турки остались — «Пассаж» нам ремонтируют). Но как мне теперь пережить все это: эти посылки, и светящееся радостью лицо Гельмута Коля, и мой запрятанный ужас от мысли, что я все еще боюсь их, и они это чувствуют: чувствуют мою азиатскую заклеяемость, мою дикарскую память.

«Зверя кормить, чтобы не сожрал». Конечно! Теперь это даже и усовершенствовано: теперь зверь — рэкетира, который обещает не стрелять, если ему будут выплачивать ежемесячное жалованье.

А самим себя прокормить? За каким чертом шестую часть суши гробастали? Гулять? Жора, все так: пустые прилавки, тесные очереди, молоко по талонам, но я спрашиваю: где все это физически, что растет, мычит и блеет на нашей гигантской земле? Куда оно девается? И что значит сей хаос и призрак голода, который объявлен неотвратимым, как раньше призрак коммунизма? Я знаю, что наполовину это от того самого нежелания что-либо делать, которое ты обозначаешь восточногерманскими эвфемизмами. Но так, чтобы уж **никто ничего** не делал, до этого пока не дошло. Нет, тут другое. Это идет великая русская подначка, подсид, выжидание, перехват, юродство; оно все **есть**, но «неизвестно у кого»; и как только демократические структуры будут раздавлены, тотчас появится на прилавках все, пусть на час, пусть на **мгновенье**, и уж, конечно, тот генерал, который первым успеет развернуть войсковую кухню и разлить в котелки набежавшему народу горячее хлебово, вперед реальное, а потом и идейное, — въедет в Кремль на белом «пферде» под искренние крики народной радости.

Я знал, что демократия в России — эксперимент. Очередная проба. Знал и результат наперед: никакой демократии народ не выдержит: ни стресса, ни трепла, ни неравенства. А хочет он жить так, как тысячу лет жили на Руси, то есть тотально, «всем миром». А чтобы «гласность» наша выявила это народное настроение, я той «гласности» давал от силы год. Если же этот наш «референдум» голосит уже шестой год, — то это невероятный, непонятный перебор, говорящий не о смирении людей (его **нет**), а о чудовищной усталости, которая может смениться или яростью истерики, или... концом нации.

Жора, куда ты рвешься? Идет тьма, вал тьмы, статистический, ни от кого не зависящий. В этом контексте всякие счета, кому сколько додано или недодано по новомировским векселям эпохи Твардовского, — совершенно неважны и несущественны. Ты не смотри на Войновича — он хитрец, игрок, он и тут «квартиру получил», и там, я думаю, сохранил, он виртуозно эксплуатирует нашу русскую дурь; мало того, что целый эпос на ней выстроил, так еще и ездит, наслаждается тем, как мы тут ему задницу вылизываем, а мы это делаем страстно, с широтой, без меры и абсолютно искренне, ну ладно, он человек артистичный, он и дурака валять умеет, — но ты, с твоей серьезностью души, с твоей истовостью, прямокой, с твоей внутренней хрупкостью,

прикрытой, конечно, всякими «ППШ» и прочими воинскими панцирями, — ты ж тут сердцем разорвешься!

Не голод страшен, не холод. Дурь страшна, неизбывная, непреодолимая, потому что она — обратная сторона нашей талантливости. Неизлечимы.

Вылечиться можно — увы — дроблением. Small — beautiful — кажется, так говорят англичане? Пытаемся мы дробиться, национализм прет отовсюду, от Прибалтики до Молдавии, от «Памяти» до «Бирлика». Это мы так пытаемся разъединиться, в человеческие масштабы войти. И не можем: жаль империи, жаль «мировой роли», жаль «всеотзывчивости» и всего прочего. Завязалось.

Вот смотрю, как Коль сияет, в телеэкран не вмещаясь, как честные немки собирают провизию и тряпки нашим лукавым «нищим», — и просто столбняк какой-то внутри: все, дальше некуда.

Хотя по прејскуранту, конечно, все оформится «прилично»: даже «гласность» сохранится. Только работы не будет, смысла не будет, правды не будет. А ездить туда-сюда — пожалуйста: туда — это значит на «заработки»; интересно, а что мы такое умеем делать, чтобы у немцев «зарабатывать»?

Ну, вот, нагнал на тебя тоски, в какой сам живу.

Сменяю пластинку. Два слова про Наталью Евгеньевну-вторую. Мы с ней неважнецки расстались после 1968 года, хотя очень были дружны в студенчестве. Студенческая память сидит во мне крепко, а все ж и право на обиду есть у каждого; тем более, что мог бы я в 1968 году в связи с Прагой быть поумней и посдержаннее*; ну, ладно, как вышло, так вышло, на том закорил. А по твоему письму теперь чувствую, что она не держит на меня зла, и мне тепло и радостно от этого. Так что спасибо тебе за добрую весть.

Наталье Евгеньевне-первой — нежнейший привет. Интересно, что же там у нее в статье. Меня уже одолевает почти мальчишеское любопытство.

Обнимаю, Жора! Привет от моего семейства. Твердо верю, что повидаемся в Новом Году здесь. И уж если решишь — принесу тебе кота. Мои девицы, когда я им это прочел из твоего письма, тотчас и масти предложили на выбор. Черного, говорю, черного! Чтob было кого ловить в темной комнате и кричать: «Поймал!»

Ну, иду бросать письмо вдогон вчерашнему.

* Меня тогда взорвало, что листовки на Красную площадь Н. Горбаневская повезла в детской коляске. «Детей хоть не трогайте!». — *Примеч.* 2003 г.

Открытка — с фотографией сидящего в засаде кота:

Февраль 1991

Дорогой Лева!

Для фотографии этого гнусного и наглого кота, наверное, подошло бы название: «Добро должно быть с кулаками». Поглядывай на нее в минуты сомнений — следует ли выступить «с позиции силы». Прочел твой комментарий в «Журналисте» — элегантный и решительный, по резкости и беспощадности даже, тебе как будто не свойственной. А ведь псевдо-Иванов к жалости взывал и пониманию: «Начальство велело, чтобы этому негодяю копейки не дали заработать». А тут — предложение поступило — из «Граней»... Не вышел ли и он из «Шинели» Гоголя?

Между прочим, этого «Б. Иванова» я три года держал за отца Натальи Ивановой — так мне передал из Вашингтона (через Васю Аксенова) Лева Левицкий. И я жалел ее, и злился. Теперь, слава Богу, выяснилось... При случае передай ей мои извинения за неосновательные подозрения.

На другой открытке с пейзажем:

А это — обратно Нидернхаузен и наш дом, самый высокий на этом снимке.

Подозреваю, что свой комментарий ты писал на компьютере (на котором хорошо насобачился), он, перефразируя Козьму Пруткову, «причиняет верность тону», а это в наш век едва ли не главное. Остаться хотя бы втайне аристократом...

Здесь все продолжается Herz für Russland, то есть посылочно-продуктовая и медикаментная кампания. Но в чьи руки все это попадает?... Говорят, вагоны стоят неразгруженные, но когда студенты предлагают свои услуги, им мафиози показывают издали лом, против которого «нет приема». Но, может быть, это из области контрпропаганды, она тоже набирает силы.

С месяц назад послал тебе письмишко на 2 страницы. Надеюсь, получено. А то — пришлю копию.

Запоздало тебя поздравляю с Новым годом и Рождеством, а также Шуру и дочек.

Наташа всем кланяется.

Всех благ! Обнимаю. Твой Г. Владимов.

P.S. Были три дня в Риме! Вот куда тебе надо бы... Г. В.

МУЖСКОЙ ПОСТАВ

21 февраля 1991 г.

Г. Владимову.

Однако и темпы у тебя, воин! Уже ответил на мою посылку с Ивановым-Барановым! А теперь, наверное, получил и вдогон брошенное мое письмо в ответ на твое большое, которое пришло буквально назавтра, как я тебе отправил «Журналиста»?

Но я пока что отвечаю на твои открыточки, которые с котом и Висбаденом. Конечно, такого боевого кота у меня нет. Наши коты все хитро-ласковые и дерзко-сторожкие. Однако в ответ на Висбаден и твой дом (который я рассмотрел вполне ностальгически), — посылаю тебе наш квартал, где стрелкой указаны и наши окна, те самые, за которыми мы пили гвардейскую смесь из водки и шампанского и, уверен, еще будем пить. Потому что хоть я тебя глобально и отговаривал возвращаться, но по-человечески-то просто хочется видеться. Мне тут передали, что ты по «Свободе» добром помянул мой визит, — я обрадовался почти детски, потому что когда от Наташи по телефону узнал про твой обморок, так все ж кошки скребли, не такие боевые, как кот на твоей открытке, но все-таки: не добавил ли я тебе «нервака» своими речами? А так-то мы тут в общем оптимисты, и я уверен, что, несмотря на трудности с закусом, еще выпьем с тобой гвардейской смеси.

Насчет Баранова-Иванова — слава богу, ты спокойноотреагировал. Ты прав: этот комментарий настолько не по мне, настолько не в моем духе, настолько мне противно прикасаться ко **всякой** грязи, даже и с очистительными задачами, — вот, право, если бы не о тебе речь шла, и читать бы не стал того Иванова-Баранова, не то что комментировать. Наталье же Борисовне о твоём отклике рассказал немедленно. По-моему, у нее слезы были близко, и она сразу заговорила о том, как ее буквально извели этим подозрением, что «Б. Иванов» — ее отец. На радостях даже книгу тебе надписала, каковую и прилагаю. Скажи обратно Лева Левицкому, а через него аж самому Васе Аксенову в город Вашингтон, что предполагаемые гадости лучше всего не доводить до сведения добрых людей, а если уж чего такого говорят, то лучше не верить.

Теперь вот еще какое дело: звонит мне некто Садовников из некоего издательства «Пик» и спрашивает, не сыграю ли я роль редактора твоего избранного. Я говорю: отчего не сыграть? «Генерала и его армию», наконец, прочту полностью, да и вообще не

грех вдуматься во Владимирова заново и в целом. Статью о «Большой руде» свою вставишь? Я — заинтересованное лицо. Твой лучший критик, язви меня в душу. Хочется, чтоб все узнали.

Наталье Евгеньевне самый нежный привет. Я еще не читал ее статью в «Континенте», но чувствую, что мой лучший критик — она.

А видел, как Феликс Светов в «Литгазете» ущучил меня, что не хочу каяться (в связи с Бородиным и вообще)? Прав Феликс: не хочу. В том числе и перед ним.

Придет час, покаемся перед кем надо. И не в газете миллионным тиражом. А там и тому, где и кому сочтем достойным.

Обнимаю тебя! Шура передает привет.

А компьютер любить меня научили-таки немцы, там, где ты меня катал, то есть в Майнце и в прочих землях. Ну, до письма!

24 февраля 1991 г.

Наташенька, милая!

Слава богу, вчера я не успел отправить письмо Жоре, а сегодня принесли мне поддержать «Континент»-66», отпечатанный у нас в Москве на Большой Переяславской (чудовищная печать по чудовищной бумаге), и теперь я успею вложить в пакет письмо Вам: с благодарностью и обоснованием оной.

Прочел я статью не просто залпом (что понятно), а с **возрастающей** скоростью. Построена она плотно; петли сюжета соединены общим движением; цель в финале обернута на начало (закольцована); для меня все это важно, именно: **качество вещи**. Притом я сделал усилие забыть, что это — «про меня». Хочу отметить богатство и неожиданность материала, привлеченного в «фон»: я не думал, что там у вас можно достать все те публикации, которые Вы выгашили и используете. «Фон» делает музыку не менее тона. Контекст страшно важен, и он широк у Вас.

Хочу также отметить уровень техники письма; пассаж с Беловым, например. Я, разумеется, не стал писать про «Все впереди»: мне скучно перетрясать труху, пусть она сыплется даже и из крупных писателей. Ну, ладно бы еще немного, но из Белова сыплется так густо, что я почти потерял к нему интерес. Хотя когда-то успел опубликовать (в «Доне») большую статью о молодом Белове. Так что «встреча с прекрасным писателем» у меня все-таки состоялась. Но о романе его писать — невозможно. А вот если бы вздумал ответить ему на попрек в «отсебятинах» (такой ответ в принципе возможен для меня), то лучшего хода, чем Ваш с допросом Бархвостова, — и не найти, наверное.

Ну, это я все про технику. Есть вещи еще более важные. Ощущение роли. Свою-то роль как узнаешь? Вот и смотришься в такое зеркало с большим интересом. Что-то совпадает, что-то почти совпадает, а что-то и не совпадает, и это несовпадающее — самое ценное и нужное. Что я христианский проповедник, — это я «знаю». Это особенно остро почувствовалось, я думаю, когда я из «любви к врагу» старался понять «положительность», переходящую в «отрицательность» у верного Руслана, чем, увы, положил-таки грань между собой и своим учителем А.Д. Синявским, для которого борьба с соцреализмом была в тот момент важнее страданий лагерного охранника. Но и это я делал достаточно осознанно, и даже не без подначки. Есть вещи, Наташенька, которые про себя действительно не знаешь. Не знаешь, как быть с собой.

Я объясню сейчас на примере. Не так давно мне сказали про мои «межнациональные» книги («Контакты», «Локти-крылья» и проч.): ты, мол ~~опростоволосился~~ со всеми этими твоими прекраснородушными «диалогами», с «взаимодействием и обогащением», — все это обернулось у нас межнациональным мордобоем, и книжки твои сейчас читаются как идиотские.

Признаюсь, это меня ударило крепко. Наверное, надо было за пять лет до мордобоя ~~предсказать мордобой~~, тогда бы они сейчас читались?

И я подумал: ну, тогда и черт с ними, с книгами, пусть подыхают. Я лучше все свои книги отдам, раз так, — но с места своего не сойду: кончится нациобесие. Пусть народы бесятся — я не буду.

И тут у Вас: «только в такой книге и можно сберечь место для встречи разодравшихся народов».

Прочел — и понял, как необходимо мне было услышать это. Не «изнутри», а именно «со стороны». Уставшему пловцу не надо спасательной лодки — ему надо на одно мгновение подать «палец» — дух перевести, дух укрепить. Дальше сам выплывет.

Кланяюсь Вам, Наташенька, и целую — последнее с великодушного позволения Г. Владимова.

5 марта 1991 г.

Дорогой Жора, посылаю тебе в очередной раз письмо Андрея Тарковского, теперь уже отпечатанное тиражом в 66 тысяч в «Искусстве кино».

Получаю отзывы людей, читавших Наташину статью. Три мотива:

1. Это лучшая статья обо мне. А писали еще: Чупринин, Гусев, Марина Новикова, Камянов, Бежин и другие корифеи и корифейши.

2. В Наташином тексте отмечают «мужской постав» пера.

3. Отмечают удивительное, до тонкостей, знакомство с моими текстами и с самой моей «аурой», что дается не скорым чтением, а долгим наблюдением, при коем чтение обретает особое чувство контекста.

Сам я перечитал, получая удовольствие уже от чистой техники. Особенно точно истолкована манера вживаться в оплошности, искать объяснение опискам и обмолвкам. Подсознательное — лучшая часть сознательного! На том висим.

Получил ли ты предыдущие мои пакеты? «Ожог очага», письма? Обнимаю! Л. А.

«СЛИШКОМ ДОБРЫЕ СЛОВА»

6 марта 1991 г.

Дорогой Лев Александрович!

Спасибо за все добрые, и даже слишком добрые слова — я ими не избалована. Писала я не только сама, но сначала Жора меня отговаривал: «Очень трудно писать критику о критике, ты с этим не справишься!» — это я о «мужском поставе пера». И все равно Жора считает, что даже попытка портрета не удалась.

Конечно, читала я Вас не единожды и даже многое «позычила». Материалов много и не было, но когда сосредоточен на чем-то, то почему-то нападаешь на нужное.

Благодарная Вам Наталья.

16 марта 1991 г.

Дорогой Лева!

«Мужской постав пера» получается, когда есть редактор-мужчина, который удаляет из текста женские хромосомы. Может быть, перестарался...

Твоя статья (о фильме «Дамский портной». — Л.А.) мне очень понравилась... Даже пожалел, что нельзя было ее Наталье пристегнуть к статье о тебе. И еще пожалел, как ты не заметил, как «Борщ» (сценарист фильма Александр Борщаговский. — Л.А.) у меня-таки спер эпизод из «Руслана» — с кишкой на морозе. Это он нигде не мог вычитать — как-нибудь объясню, почему.

В дополнение моего «алиби» скажу, что к К.М. Симонову отношусь нежно, так как он меня прописал в Москве.

Н. Ивановой — спасибо за подарок, я ей напишу.

Привет всем твоим. *Жора.*

Л.А.! Прочла, что одновременно со мной писал Г.Н., и хочу добавить, что его редакторского постава в Л. Бородине больше этак процентов на 90!.. А он, Бородин, за это еще и премии отхватывал! «Хромосом» этих у Бородина было до черта. Нет правды на земле! *Наталья.*

27 марта 1991 г.

Дорогой Лев Александрович!

Вот уже прошло более двух недель после Вашего с Жорой телефонного общения, а от Вас по-прежнему ничего нет. И вообще советская почта нас не балует. От аккуратнейшей Ани Пугач нет обещанного февральского номера «Юности». Кстати, разговаривая сейчас с Малинковичем, выяснила, что он Вам еще в прошлом году, по выходе номера, выслал экземпляр «Форума» на «Дружбу народов».

Огорчило меня, что Наташа Иванова так близко к сердцу приняла недоразумение с «Б. Ивановым» — она все-таки боевой критик и должна бы понимать, что если ты кому-то даешь по морде, то и тебе тем же ответят — бывает, что и не совсем честным способом.

Я не читала Жориных открыток, но уверена, что самое интересное в этой истории осталось, как говорится, за кадром. Когда вышла еще первая статья этого «Б. Иванова», Жора заподозрил авторство Фели Кузнецова, о чем и объявил по «Немецкой волне». Через несколько дней позвонил из Вашингтона Вася Аксенов и сказал, что Жора ошибается, недавно гостил в США Лева Левицкий и просил передать, что Б. Иванов — имя подлинное, это отец критикессы Натальи Ивановой. Еще он (т. е. Лева, а не Вася) сообщил, что в самой «Литературке» все этой статьей возмущены, даже устроили Чаковскому обструкцию, так что более это не повторится, поэтому отвечать Б. Иванову не надо. Жора, конечно, доброго совета не послушался, подозрения свои повторил в «Континенте» — насчет Фели — и получил в ответ вторую статью за той же подписью.

Ну, что Лев Абелевич Левицкий — не самых честных правил и сплетник редкостный, это я знала, но Вася-то Аксенов после его информации встречался с Наташей Ивановой в Луизиане,

да и раньше был с нею хорошо знаком, — почему же не выяснил? Это — не по-джентльменски!

Любопытно, что видеокассета о луизианской встрече (в том числе и разговор Васи с Наташей) к нам попала, мы долго всматривались в «дочку того Иванова», и надо отдать должное Владимову, он нашел, что она не очень похожа на своего отца, каким он его себе представлял «по почерку», и совсем уже усомнился в словах Левицкого. А когда у покойной Раи Орловой увидел книжку Ивановой об Юрии Трифонове, то высказался в духе Порфирия Петровича: «А не от зависти ли это Лева на нее клеветает?» Ведь Лева числился ближайшим другом и спикером Юрия Валентиновича (которого запросто звал «Юркой») и как будто сам собирался написать о нем книгу.

Ах, Лев Александрович, да разве же это сплетня? Все обмельчало. Вот 27 лет назад — это были Сплетни (настаиваю на большой букве). Согласно изустным преданиям автора «Чонкина», мой папа был то ли цирковой каскадер, то ли клоун (на самом деле входил в редколлегию журнала «Жизнь искусства» с М.Ф. Андреевой и Б. Асафьевым, к цирку имел то отношение, что писал о нем исследования), а дочь его, т. е. слуга Ваша покорная, плясала голая на столе — перед вышеупомянутым автором «Чонкина» и Б. Сарновым (которого никогда жизни не видела и даже не знаю, брюнет он или блондин). Но через 27 лет, признаюсь Вам, даже этим горжусь — несколько постарев и отяжелев, как Айседора Дункан...

Согласно другому классику 60 годов, я даже собиралась замуж за академика Сахарова (правда, не будучи с ним знакома), но когда все выяснилось, то послужило даже на пользу: в его книгу воспоминаний я-то попала, а оба упомянутых классика остались, к своему недоумению и большому неудовольствию, за бортом ее.

Ну, хватит об этом, а то получается какой-то плач Ярославны. А, как говорится в пьесе «Интервенция», «у Белой армии есть другие задачи, чем возвращение пропавших брюк неудачникам». Это я к тому клоню, что самое важное происходит все-таки у вас, в России и ее окрестностях, нам же, в провинции, остается только переживать за вас и тревожиться. Испытала прямо облегчение, когда услышала от Жоры, что не совсем у вас голод, есть кое-что в холодильнике. А вот у Вашего оппонента Малинковича даже язва открылась 12-перстной кишки — от частых интервью со Звиадом Гамсахурдиа. Ловим — что можно поймать — и по радио, и телевизору, и из частных бесед от кое-каких наезжающих. Все хотят из Керчи в Вологду, а мы, как Несчастливцев, из Вологды — в Керчь.

Звонил Бакланов, что он договорился со Станкевичем насчет кооперативной квартиры для нас, в которую «Знамя» же и вложит свою долю, но говорят, и сам Станкевич не сегодня, так завтра повалится...

Коли увидите Анатолия Петровича Ланщикова, передайте ему мой привет. Часто вспоминаю, как он пришел к нам прощаться, и всегда бываю этим тронута.

Вашему семейству — Шуре (Александре Николаевне, ведь так, кажется?) и девочкам, из которых я себе представляю только Машу, кланяюсь, желаю мира и любви. С наступающим Христовым Воскресением!

Искренне к Вам расположена *Наталья*.

P.S. Жора к моим приветам и пожеланиям присоединяется и говорит, что напишет отдельно. Н.

P.P.S. Володя Малинкович еще раз послал «Форум» на «Дружбу народов» неделю назад. Н.

В том же конверте — открытка с рисунком, на котором два немецких джентльмена, сняв шляпы, упираются взглядами в необъятные груди светской дамы. Подпись рукой Владимова: *Мужской постав*.

15 мая 1991 г.

Г. и Н. Владимовым

Дорогие ребята!

Видел сегодня Женю Сидорова: поговорили о вас: как славно, что осенью вы будете в Москве, и не проскоком, а протяженно, так что пообщаемся без подпора.

Спасибо сердечное за книгу Сахарова; я кое-что читал из нее в периодике, но теперь, конечно, совсем другое чтение; да еще и с домашними фотографиями, что для меня, при моей страсти к родословиям, особенно важно, и придает чтению другой вкус.

Смеялись с дочерьми: как в открытке интерпретирован «мужской постав». А то значение, которое, как я понял, придается в вашем доме соотношению хромосом, побудило и меня получше вдуматься в то беглое замечание, которое я вам почти автоматически пересказал. Тут, наверное, вот в чем дело: в контексте ожидания. Критик с именем «Наталья» попадает с неизбежностью в сильнейший у нас теперь контекст, где царят женские души. Иногда это у нас называют критикой остервенелых баб, хотя, на-

до сказать, что они, и стервенея, не теряют обаяния (Латынина, Марченко и еще с полдюжины Ивановых во главе с Натальей же). В таком контексте ожиданий любая мужская хромосомина врезается в сознание по логике неожиданности. Не знаю, откуда у Наташи такой «постав»; если ты, Жора, влезал в текст, даже как автор примечаний, то ты делал это напрасно, но этого как раз не чувствуется: «вкрапленный» не видно, текст единый и «свой». Я думаю, что мужской постав в Натальиной руке появился сам собой: находясь все время в твоём агрессивном духовном поле, такой постав обретешь из одного инстинктивного чувства самосохранения.

Но, задумавшись обо всем этом после ваших писем, я мысленно поставил Наташину статью в другой контекст, а именно: в контекст «владимовской агрессии», и достаточно так мизансценировать текст, чтобы в нем высветлело все то, чем Наталья тебе, Жора, противостоит.

— Теперь, господа, когда мы уже вполне доверились благородству этого человека и целиком находимся в его руках, все это мы оставим до другого раза....

Да разве Владимир так кодирует фразу? Да разве это чисто женское коварство интонации ему по силам? Это же совершенно другая игра: более тонкая, в том смысле, что и дыханье тоньше, и яд тоньше, и оперируемый вроде бы не «поврежден», а только слегка отстранен «легкой ручкой», однако отстранен твердо.

Ты, Жора, как критик — всегда открыто и круто соперничаешь с автором; ты соперничаешь и с его героями, и с его идеями, символами, эмблемами; ты в его тексте соперничаешь **со всем, что там есть**, и в конце концов торжествуешь, иной раз и изломав там все, что тебе мешало.

Наталья же аккуратненько так снимает кожу, снимает ткани слой за слоем, обнажает пульсирующие сосуды, а чаще — закупоренные, **демонстрирует** все это себе и нам, с полной прециозностью улавливая запахи и с полной вежливостью отводя нос, — тут, конечно, чисто женское чувство живого и мертвого под руками, и чисто женское же сбережение того, что в руках, но: все мерзостное иссечено и брошено на свалку, все паразитическое убито и удушено, а иллюзия такая, будто все эти сосуды и узлы, обнаженные и разъятые, продолжают жить «как ни в чем не бывало», что ничего не сломано, а все грубое «отложено до другого раза». Глаз женский, и рука женская, а инструментарий...

У тебя, Жора, в руках палаш, а у нее — опасная бритва, и чем острее лезвие, тем безболезнее рассечение: можно все исполосовать, а боли вроде бы нет.

Но это все — «фершалские» разговоры. Главное-то — система ценностей. Та самая, которая вот-вот перешагнет порог третьего тысячелетия. Тут прочно, и это главное.

Рейтинг у Натальи прочный, и, насколько я могу судить, он тут у нас растет. А если кто решит, будто Владимов лазил в ее текст и что-то там на свой мужской лад устраивал, — так, я думаю, по **тайному счету** это тоже комплимент. Ибо у Владимирова-критика — свой рейтинг на Руси, и этот рейтинг еще не забыт, несмотря на то, что Владимов с критикой завязал.

Еще два слова насчет «Борща». Борщ-то Борщом, однако же и Горовец кое-что значит, и Смоктуновский, и Зайцев! Кино — это хеппенинг, тут можно сварить борщ даже и из топора.

Касательно сцены с поливом из шлангов — у меня подозрение **шевельнулось**. Но — притормозил: побоялся. Он ведь сидел, а я нет, ну его к черту: налетишь еще на лагерный угол. К тому ж такой пассаж трудно было вставить в мой текст по тону и ритму: не вписывалось.

Но я рад, Жора, что статья тебе — прищлась.

Обнимаю!

В надежде на встречи и общение. *Л. А.*

«А ЗА ОКНОМ ЧЕРТ-ТЕ ЧТО»

10 июня 91 г.

Дорогой Лев Александрович!

Ваше письмо от 15 мая пришло неожиданно быстро — 3 июня. Да, книга Сахарова только в том виде, как ее выпустило издательство имени Чехова, и смотрится — в «Знамени» не то что хуже, но пропадает обаяние семейной книги-альбома. Посмотрите, какая у него прапрабабушка — лицом на А.Д. похожая, стоит брюхатая — месяцев 7, не меньше. А Клава как хороша — та, что за три недели до родов с отцом ночью шла через весь город, чтобы утром рано сесть на поезд и еще несколько часов ехать домой, — и сам он на той же странице внизу — князь Мышкин...

Я знала, что книга Вашей семье понравится, и хорошо, что Женя Сидоров довез. У нас их две оказалось — одну Жоре прислало издательство на рецензию, другую — «Русская мысль», где

я теперь активно печатаюсь (про «Континент» уже забыла). Вырезку об Елене Ржевской вкладываю в письмо.

Насчет того, что Владимов «в текст лазил» — это не так, но помог он мне очень. О Юре Карабчиевском я долго не решалась писать — знала, если напишу, то это уже полный разрыв на всю оставшуюся жизнь. Что между нами произошло — расскажу при встрече. В примечании я ничего лучшего не нашла, как написать что-то вроде: сейчас, когда такие погромные настроения в России, у каждого оказался свой еврей, персональный, за кого боишься. Для меня — это Юра Карабчиевский. Когда слышу, что могут быть погромы, вижу Юру и боюсь за него и молюсь за него, как умею. Уж очень он для нашего быдла уязвим.

Жора сказал: либо вообще не пиши, либо без этих слюней, жалеть надо, когда пишешь, только читателя. И слава Богу, что я послушалась. Ну, и наконец Жоре принадлежит (из его конногвардейского прошлого, где они с Ланшиковым рубили лозу по верхушкам) образ «бедного Евгения», который «повалил Медного Всадника».

Ну, а в другом случае не послушалась — о К.М. Симонове. Владимов как суворовец и дитя военного времени стихи его не то, что высоко ценит, но помнит, как их тогда читали и переписывали в тетрадки, и бранить его не может, не хочет.

А вообще, написав о Юре, я сделала невозможным никакое объяснение между нами — и уже никогда, а я его любила, и был он мне другом. Вот так, Лев Александрович...

За окном у нас сейчас черт-те что: гремит оркестр, бургомистр толкает речь (ту самую, «лающую»), много нарядных женщин, гудят машины, украшенные цветами и ветками. Жора бегал узнавал — это, оказывается, открывают новый маршрут автобуса! То был один у нас, теперь будет два. Тьфу ты, а я думала — военные покидают наш город, сейчас Вершинин придет прощаться, а Тузенбах убит. Но «в Москву! в Москву!» — уже не воскликнула, как в прошлом году, так как потеряла я уже надежду.

Желаю всех благ Вашей семье и Вам — расположенная к Вам — Наталья.

Жора всем вам низко кланяется и обещает написать отдельно.

26 июня 1991 г.

Милая Наташенька!

Спасибо за письмо и за вырезку из «Русской мысли» — вот уж где, кстати, контраст Вашего стиля и стиля Г. Владимирова виден

воочию: никак эти варианты не сталкивая, отмечу, что Вы работаете очень тонко; что на большую политику уверенно выходите через тончайший срез индивидуальных решений (Владимов предпочитает удары прямые и доводы — глобальные); что юмор подзаголовков прекрасно уравнивает свинцовую жуть материала, у Ржевской почерпнутого, но переинтонированного Вами; и сюжет Ваш — очень важен и интересен мне. Я имею в виду тот факт, что Ева Браун, какую бы там роль ни играли чувство долга и невозможность отвилиться, — отвилиться от своей судьбы и не хотела, а главное: она любила, и перед ней за это следует снять шляпу. Хотя она нас-то уж, наверное, тогда за людей не считала, но мы-то ее должны же как человека понять. Через ненависть, через кровь. И уж, слава богу, полвека спустя после начала войны, — можем уже, кажется, переступить через себя, через тогдашнее.

Вот это Вы и выявили — женскую душу, втертую в дьявольские военные шестерни. И нашу девочку — в них же вцепленную: в эти государственные игры. А муж под Новороссийском погиб, а песня осталась, а дочь растет... Одно дело — когда маршал маршала надувает, другое дело — девочки, со своими несчастьями, со своею любовью... Иной раз думаешь: а шли бы они к дьяволу, эти полководцы с зубами, — девочек жалко.

К смерти нельзя привыкнуть, как привыкаешь к старости.

К старости я уже привык — недавно. Как-то вдруг смирился, сказал: «это так» — и стал следить за собой, вести себя поближе к «образу». Ничего, жить можно. Место уступают, хмят меньше. Это я про нашу жизнь, здешнюю. У Вас там, знаю, все иначе: автобусную линию открывают с оркестром, и, соответственно, в салонах автобусов ног не отдавливают.

Рад за Вас, Наташенька, что в хорошей Вы форме, что есть где высказаться. Я думаю, предстоит Вам (и вообще всей «тамошней» критике) влиться в нашу. Интересный будет коктейль. Если, конечно, наша критика как класс до того не ликвиднется. От отсутствия бумаги, субсидий, меценатов и смысла.

Бывшему конногвардейцу, рубившему с Ланшиковым лозу по верхушкам, — мой салют! Рад буду получить от него — и письмо, и по верхушкам.

Женя Сидоров говорил про «семестр в Литинституте» для Жоры. Если я правильно понял и ничего не перепутал, — это будет шанс пообщаться без спешки. А то, правда, физика за спехом не поспевает. Я третьего дня (или уже пятого?) свалился в Шереме-

твево из Штатов (симпозиум в Беркли, Сан-Франциско и проч.) — так до сих пор сплю на ходу, вернее, на бегу, никак биочасы не перекручу на нашу реальность.

Привет от Шуры!

А Юра Карабчиевский — человек настолько чистый и добрый, что, я думаю, никакие обиды тут не будут долгими. Я мог бы помочь в этом? *Л. А.*

Открытка:

Дорогой Лева!

Рад, что ты посетил Америку (правда, не в ее минуты роковые), но с твоим привыканием к старости у нас выходит конфуз. Здесь тебя держали за «хорошего мальчика Лева», который все делает правильно: «Лева бы сейчас не лежал, не читал, не слушал бы радио. Сходил бы в лес, в бассейн, непременно об этом бы написал» — и т. п. Как же теперь быть? Неужто привыкать к плохому мальчику?

Посылаем для твоего архива свои опусы: Наташин получше, мой — похуже, но тут, как говорится, «общество требовало высказаться о передачах Юрьенена, где выступления Рассадина или Сарнова воспринимаются как праздник. Все остальное, как теперь у вас выражаются, «тусовка». Между прочим, отвратительное слово. Хорошие мальчики его не употребляют.

Привет всем твоим. *Твой Г. Владимов.*

ТАНОЧКИ ЯЗОВА МЕЖДУ ЖЕНСКИХ НОЖЕК

2 августа. Вместе с вырезками из «Русской мысли» — очередная открытка от Владимова. С картинкой: полуобнаженная дама, стиль 1900-х, в юбке — две круглые дырки, если с той стороны вставить пальцы, — эффект, будто дама вытянула голые ножки и шевелит... Немецкий юмор.

Владимовская приписка:

А в эти отверстия вставляются пальчики (не твои, а девичьи) — и не бойся, ничего неприличного ты не увидишь. Мужчины начала века были столь целомудренны, что получали удовольствие от этого, а не от «Плейбоя» или «Русской красавицы». Целуй семью!

(Замечу в скобках, что литературоведы могут извлечь из этой шуточки точку зрения Владимова на роман Виктора Ерофеева. — *Л.А.*)

Ниже дырок: *Посмотрел? А нынче — погляди вокруг: одни остервенелые бабы-критикессы...*

(Это — явный комментарий к моим суждениям о фронте Наталий в русской критике).

Еще открытка, с отгибом: дама в ванной, видны две коленки; отгибаешь край и видишь, что это не коленки, а лысины двух стариков, которым дама принесла выпивку.

Текст:

9 августа 1991 г.

Дорогой Лева, Наталья умоляет послать тебе сей опус ее (она поехала на три дня в Цюрих), что я выполняю с присущей мне аккуратностью. К моей великой досаде, эта Кузнецова пнула ни за что ни про что О. Михайлова, которому я очень благодарен за антологию.

Письмо тебе напишу отдельно — о ситуации, конгрессе соотечественников, королях и капусте.

Обнимаю. Целуй семью! Твой Жора.

Письма я не получил. Получил — не помню уже, как — маленькую записку, написанный наскоро листочек, свидетельствующий, что грянула новая эпоха, в свете которой сменяются короли, в ши идет совсем другая капуста, и опус Кузнецовой, где она пнула Михайлова, попадает в новый исторический контекст:

Дорогой Лева! Радуемся за вас, что таночки Язова ушли. И завидуем — что не были при этом военно-историческом событии. Из-за этого чертового конгресса, на котором не хотелось быть.

Обнимаем тебя и все твоё семейство. Письмо — следует. *Твой Жора.*

Письма нет. Открытка получена 19 или 20 августа 1991 года. Я отвечаю днем позже:

22 августа 1991 г.

Дорогие друзья!

Спасибо за письмо и вырезки, а также за деваху с пахитоской и дырками для ног, впрямь повергшую меня в состояние «мужчины девятнадцатого века», каковое (состояние) одновременно жутко меня перед самим собой смутило. Непонятно, почему. Ведь живу в атмосфере «воркующей материны» (Г. Владимов о Т. Щербине); привык. Нужна молекула целомудрия из «прошед-

шей эпохи», чтобы так непривычно смутиться. Загадочна человеческая психология.

Ваши блестящие статьи показывают, как вы были бы хороши здесь, у нас, сейчас, «в числе драки». Обе являют высокий класс, хотя Наташина, — ты, Жора, в этом прав, — «получше»: в том смысле, что повеселее. Владимов все как бы сердится, он на каждого воробья готов пушку развернуть. А Кузнецова смеется, ей весело, и в этом контексте явление, которому посвящена статья, не приобретает излишней масштабности. А класс, повторяю, такой, что надо бы — в нашу бучу, боевую, кипучую...

Я теперь в эту бучу попал, как кур — прямо из отпуска. Вел я себя совершенно по Владимову, то есть «не лежал, не читал, а ходил в лес», а точнее — на Кавказ, в горы со средней дочерью в поход; и там, в горах — соответственно: «сiju (в палатке), не шалю, никого не трогаю, починяю примус» (буквально, потому что в Балкарском заповеднике костры жечь нельзя — таскал примус). Возвращаюсь — батюшки, ЧП, ГКЧП, диктатура! Полдня полной неизвестности (но уже начал себя готовить к худшему: к цензуре и проч.), наконец, с четырех часов 20-го прорезалось Московское радио. Единственная ниточка контр-информации. Опять-таки, владимовскую формулу употребляя, — сутки сидел и это радио слушал. Говорухин в эти качающиеся полдня, когда неясно еще было, чья возьмет, по этому единственному радио сказал: «Кто сейчас не выйдет на площадь — тот го-в-но!» — Радиокomentатор подхватил: «Станислав, я с радостью пропускаю ваше крепкое слово в эфир!» Уже в качестве говна и продолжал я слушать радио, а с полдня 21-го — ТВ, отвоеванное у Красной площади Белым домом.

Утром стало ясно, чья взяла: **Белый** одолел **Красную** (так и скатывает нас к этой цветовой альтернативе). И уже — ликование, все поздравляют друг друга с тем, что свобода спасена: реакционеры сломлены, путчисты арестованы, и уже грозно спрашивают в эфире: кто что делал с вечера 19-го по утро 21 августа: кто отсиживался, кто от-малчивался, а кто и успел поддакнуть «заговорщикам».

Меня же, честно сказать, другое мучило: вот сотни тысяч людей двое суток митинговали и стояли под дождем на улицах; другие тысячи — в военной форме — сидели в металлических машинах или ездили туда-сюда, корежа асфальт. Первые просили: принесите нам еды! — и им несли. Вторые, конечно, имели еду в «боезапасе».

Сквозь всю эту музыку демократии торчал в моем сознании вопрос: кто всю эту массу будет кормить? Земля брошена, никто ничего не хочет делать, господа, когда, какое, насколько страшное

будет за это возмездие? Ведь все это было: все эти братания с армией, эти праздничные банты, только в феврале 1917 тряпочки были красные, а теперь трехцветные, — так забыли, что ли, что за этим в 1917 году последовало?

Впрочем, нет, с Февралем аналогия не проходит. И с Августом тоже — с Корниловским мятежом. Что-то другое брезжит. 1605 год — бессилие Годунова, близкая смерть его... и что впереди? Шеренга Лжедмитриев? Шат Руси в Тушино и обратно? Разгул казачкования по всей стране? Ведь проблемы остаются! И той власти, которая усилилась и укрепилась теперь, в результате всей этой конвульсии режима, придется решать те же неразрешимые проблемы.

Почему неразрешимые? Потому что не просто режим развалится, но государство расщепится, разделится, империя исчезнет. И значит, навсегда уйдет ситуация великой культуры. Когда на чих московского радиокомментатора кричали «будь здоров!» радиослушатели в Будапеште и Гаване, а «каждое слово» московских «остервенелых баб-критикесс» из «Литгазеты» претендовало на мировой резонанс и на отповеди в «Русской мысли».

Все, кончается этот исторический фестиваль. Будем жить и работать, «как все», скромно и усердно. То есть, если праздник, то конкретный и местный: открытие автобусной линии в Нидернхаузене. Ура! И никому нет дела, убили Тузубаха или нет. Что же до людей, которые теперь требуют крови «заговорщиков», то я, владимовским же словом говоря, «отшатываюсь» от них: и от тех, побежденных, и от этих, победивших, мне среди них не место, я «по своей слабыхарактерности могу там только навредить».

Милые друзья, рад нашему обмену и контакту. Посылаю вам в ответ одну мою вырезку: из газеты, на которую вряд ли можно за валюту подписаться через фирму «Кубон и Зангер» в Мюнхене. Так что вряд ли газета оная вам попадалась. Правда, это беседа, то есть я не писал, а болтал, но болтал то, что думал. Другое мое — в «Новом мире», «Литгазете» и «Литобозе» вы и так получите. Впрочем, могу прислать то, что скажете. Дайте знать!

Обнимаю вас! От Шуры привет. Л. А.

За это письмо Владимов впервые гласно назвал меня своим другом и немедленно процитировал по радио «Свобода», а потом в «Московских новостях» то место из этого моего письма, где Говорухин обзывает говном сидящих по домам граждан. Видно, ему это суждение запомнилось. Мне тоже. На всю жизнь.

КОЛЕБЛЕМСЯ ВМЕСТЕ

Наталья меж тем написала следующее:

Дорогие Аннинские! Наконец-то сегодня в Висбадене мной был обнаружен магазин «Еmil», где Жора покупал открытки и куда, как он говорил, женщин не пускают. Оказалось — пускают. И я Вам выбрала открытку «со значением». Ваша Наталья.

P.S. Ведь предсказал же Нострадамус в «Центуриях», что в октябре вспыхнет великая революция... и это продлится 73 года и 7 месяцев.

Если у Вас, Лев Александрович, остались «Грани» № 96, где «Руслан», то стр. 282—283...

Открытка «со значением» представляла ангела, несущего букву «А». Написано было следующее:

11 сентября 1991 г. Желаю, чтоб в это смутное время дом Аннинских стоял неколебимо. Желаю всей душой — поэтому верю, что устоит.

(Как Россия! — Г.В.) — приписал в скобках Г.В.

Целую всех вас. *Наталья.*

Вскоре она прислала мне еще несколько своих вырезок. Я ответил:

8 сентября 1991 г.

Наталья, милая! Спасибо за «Операцию-Эмиграцию», о какой могу сказать многое как в смысле профессиональной техники, так и сверхзадачи. Технически — блестяще: по готовности памяти, по игре тонов. Временами думаешь: у вас там что, в Нидернхаузене, филиал библиотеки Ленина, что ли? Я бы и здесь не уловчился до такой точности старых цитат, приведенных к месту и лихо работающих на нынешний момент, как срабатывают, например, инвективы Полевого Пастернаку или Михайлова Бунину. Не прав Г. Владимов, когда жалеет на сей счет Олега. Дело же не в том, чтобы клеймить человека или поминать старое; я сам с Олегом вступал в диалоги и искренне салютовал ему, но сказанное — сказано: забвенье — плохое лекарство; люди должны знать, что помнится — все, и все, что ты вякаешь, может быть помянуто хотя бы ради действенности арсенала памяти. Арсенал у Вас блестящий, синьора! Но для меня не это главное, а — сверхзадача. Мелодия. Общее ощущение нашей жизни. Сквозь все петли литературного быта. Иначе говоря: хоть бы де-

сяток премий еще навешали тому же Василию Павловичу, пусть кушает, это меня не касается; не мое, и ладно.

, А трогает — вот что: что антиутопия его крымская — на черноморской воде вилами писана; что ни черта не подтвердилось; что вместо титулованного рая в оруэлловско-замятинском стиле мы продемонстрировали всему миру дурь и пьянь; что вместо могучих воинов явились Западу вороватые попрошайки. Вот она, суть, Наталья Евгеньевна, и там, где Вы ее берете, — все литературные операции и репутации оказываются чистой игрой, потому что суть и есть суть.

Насчет игры — тоже не так просто. Игра Ваша текстовая — интуитивно-безошибочна, и на сей раз я ее оценил в высшей степени, потому что личная причастность (как объекта критики) мне уже не мешала. Игра Ваша заключается в некоторой тончайшей отстраненности «лирического героя», который выпущен на авансцену и тончайшими же нитями связан с авторским «я», но — этот просвет всю игру и обеспечивает. Ну, скажем, подвела и вывела так, что тот сам заваливается, надо только чуть подтолкнуть... но вместо последнего толчка — неожиданное пожатье плеч: «впрочем, не буду, не буду...» Могла бы так приварить, что тот не отмылся бы, но... «молчу»...

Может, они, балбесы, нарочно всех в кучу сваливают, чтобы в этой куче их дурь не так видна была, а может, это **само собой** так у них получается, чтобы знали, балбесы, что и свобода — не самоцель... У нас, синьора, на Руси все «само собой» получается, и Вы это отлично знаете, и высший смысл этого знаете, однако когда Вы в самый патетический момент пожимаете плечами: «не знаю, не знаю», — это и есть тот подкос махины, от которого она идет пылью.

Отсюда — и Ваша неуловимая веселость, о которой я уже писал Г. Владимову и которой мне именно теперь в его критике не хватает. Владимов шутить не любит, он если бьет, то уж из главного калибра, от чего цель его иной раз разлетается воробьем (другое дело, когда он Андропову в «глубоком» уважении отказывает, а «должное» — отдает; то есть личности отказывает, а должности — нехотя — отдает; тут — масштаб!); я понимаю, что его жесткость — тоже «авторское Я», тоже «лирическая роль», без которой вообще **нет текста**: но в повседневной критике процесса, которой Вы занимаетесь, конечно же, нужна маска «веселой контактности», и она лучше, чем угрюмая безжалостность Аллы Ла-

тыниной или заполошная ярость Натальи Ивановой, с каковыми, хотите ли, нет ли, Вы, синьора, становитесь в конкурентный ряд, или чем ледяная дотошность Татьяны Глушковой, с которой Вы, конечно, ни в какой ряд встать не захотите. Но контекст-то современной критики существует; женский шарм в ней играет сейчас огромную, беспрецедентную роль; на сей счет есть уже у нас тут и глобальные гипотезы (сочиняемые, естественно, уязвленными мужиками); я же, никогда чувства уязвленности не зная, гипотез на сей счет не сочиняю, а просто читаю Вас с удовольствием и с большой для себя пользой. Prosit!

Пришла Ваша веселая открытка — спасибо!

Россия неколебимо самораспускается.

Колемлюсь вместе.

Если приедете в декабре (как обещал Сидоров), то рады будем видеть Вас с Жорой в нашем сувереннейшем Гагаринском* районе на Юго-Западном рубеже самостийно сохранившейся Москвы, бывшей столицы спившегося Российского государства, распавшегося Совсоюза, разбежавшегося Соцлагеря, дрюкнувшего Мирового Коммунизма и прочая, и прочая, и прочая.

Генерал! Где твоя армия?

Ваш Л. А.

Открытка:

Дорогой Лева, Наталья-то, конечно, права насчет Васиного «Крыма», но и он одну сцену написал пророческую — где два могучих советских человека в вертолете «шмаляют» ракету куда-то за горизонт, а только не в беглецов, и матрос-наблюдатель докладывает начальству, что задание выполнено. Спасение от армии пришло от самой армии, от старшего офицерства, не пожелавшего крови. Что и я полностью предсказывал.

Твой во имя справедливости — Жора.

P.S. Вот так-то критики нас, прозаиков, не слушают и диалектику изучают не по Гегелю, а по Александру Нострадамичу Кабакову, у которого все наоборот.

Твой Г.В.

Приписка Натальи:

Дорогая Шура, помогите! А то моя и Жорина квартира пока дальше, чем месяц от этих херувимов. Наталья.

* Если к тому времени его не переименуют в Гжатский.

Имеется в виду жильё, которого Владимов лишился при выезде и которого тщетно добивается у московских властей; вскоре он попросит быть на этот счет его официальным «представителем».

Месяц и херувимы, которые к нему тянутся, — на обороте открытки

18 октября

Н. и Г. Владимовым

Дорогие друзья! Пишу, не дожидаясь вашего отклика на последнюю мою эпистола, а не дожидаясь, потому что есть срочное дело до критика Натальи Кузнецовой.

Наташенька! До нашего журнала («Лит. обоз.») дошли слухи, что Вы читали «Философа и девку» Оли Кучкиной в «Знамени» и — **отнеслись**. Так вот: мы хотим Вам заказать статью. Про «Философа и девку», а также, если Вы читали повесть Оли, принимаю в «Континент», — то и о ней тоже. Официальный заказ Вам сделает Женя Канчуков (я не имею права, потому что не зав, а обозреватель), но Женя просил меня на Вас подействовать в смысле смягчения Вашего сердца: чтобы Вы не отказывались. Мол, журнал мы хороший и т. д. Ну, вот, я прошу Вас не отказываться, а журнал хороший, правда! Единственный профессиональный журнал критики! Между прочим, ноябрьский номер весь посвящаем «потаенной русской литературе» от Баркова до Хармса, то есть неприличной. Среди читателей жуткий переполох, среди желтой прессы тоже: готовятся пиратские перепечатки. Пусть Юз Алешковский трепещет со своим «Николаем Николаевичем» — он более не монополист русского мата.

Недавно слушал, как Малинкович по «Свободе» полемизирует с каким-то украинским журналистом, по фамилии, кажется, Набока; тот твердит, что надо от москалей отделиться, а демократия «сама собой» устроится, а В.Д. бьется, доказывая ему, что «сама собой» сделается нечто другое. Меня поразила убедительность, с какой Малинкович полемизирует: гибкость, находчивость, уверенность... Ну, я подумал, теперь бы я против него не выстоял, с **таким** Малинковичем бы не совладал, у **такого** бы не выиграл «по очкам». Неужто, думаю, за полтора года он так прибавил? А может, дело в том, что на Украине побывал, своими глазами увидел, что такое у нас свобода?

И вдруг сообразил, почему аргументы В.Д. кажутся мне такими сильными: да он же, споря с тем украинцем, занял позиции, почти неотличимые от моих!

И то верно: побывал, посмотрел и все почувствовал.

Хотелось пожать ему руку, да жаль, он далеко.

Недавно Мариэтта Чудакова по «Свободе» так прокомментировала отпад Прибалтики: наконец-то Европа к нашим границам приблизилась!

Мне бы в голову не пришло.

Обнимаю вас!

«СПЛЕТНЯ — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»

21 октября 91 г.

Дорогой Лев Александрович,

получили Ваше письмо от 21 августа (из Москвы оно ушло 15 сентября) и вырезку из «Моск. комсомольца». Так долго не писали Вам, так как были в Цюрихе — то я, то Жора — о нем пишет монографию славная молодая женщина-славистка, родом из Питера, автор хорошей книжки о Вене Ерофееве (я о ней писала в «Русской мысли» маленькую рецензию). А я там в одном хорошем издательстве сдерживаю поток нашей метропольной серятины (но это тайна почти военная, которую разглашать я не имею права).

Ничего Вашего, кроме статьи в «ЛГ» о Корнилове, я не читала, а мне это *очень важно*, потому как перед каждой своей работой перечитываю Ваши статьи — для подзарядки аккумуляторов. Пришлите, пожалуйста, все, что можно, кроме статьи в «Неделе» — ее купила на вокзале во Франкфурте, заплатила 2.50 валютой. Я, как и Вы, боюсь победителей, которых не судят (в отличие от Жоры, который говорит, что побежденные страшнее, поскольку — «подранки»), в чем с Вами совершенно солидарна — тоже бы сидела дома «в качестве говна», потому как фаталистка и судьбу принимаю, но не вызываю. Однако, ввиду неразрывной связи с известным Вам Г. Владимовым, пришлось бы мне, как Рудину, лезть на баррикады — с термосом, сердечными лекарствами и теплым шарфиком для Жорика.

Мое диссидентство далось мне так трудно — труднее, чем все ошибки юности, чем все неудачи в любви и даже чем эмиграция... Но мой мужественный муж говорил мне: «Ничего, привыкнешь. Я на СРТ тоже сначала думал, что не выдержу, сбегу».

Выдержала и обыски, и допросы, и положение изгоя, и филиал КГБ под названием «НТО», но как говаривал Ваш персонаж

П. Корчагин, «ожжет позор за бесцельно прожитые годы». Действительно необходимо было одно — видеть, и близко, Сахарова, да и того безбожно перебивал каждый, кто мог..

Жора видит в Вашей позиции избыток пессимизма насчет русского народа, я — нет.

На книжной ярмарке видели Приставкина... Андрея Черкизова... (Вынужден опустить некоторые подробности. — Л. А.)

...Немного поняла обстановочку, в которой живете, и всех слезно пожалела.

Лев Александрович! Уже дважды в разговоре со мной Григорий Бакланов (которого французское телевидение показывало среди «путчистов» вместо того Бакланова) говорил, что квартира для Владимова есть, и надо приехать ее посмотреть. Я **сейчас** приехать не могу. Дам у меня в Москве нет, кроме Веры Индурской и Вашей Шуры (наверно, сказался мой дурной характер и нелюбовь к женской дружбе). К Вам огромная просьба — содействовать сближению вышеупомянутой Веры и Шурочки на предмет дегустации: что же это такое? Вера — женщина масштабная, а Шура, конечно же, понимает, что нужно писателю, не всякому, а именно Жоре. Я знаю, что у вас там очереди и вообще разруха, и время красть у кормилиц семьи грех, и все же очень на Вас уповаю. Вернуться-то все равно придется, так уж лучше раньше, чем, как Ирина Одоевцева, — на инвалидном кресле.

Мы и думать боимся, как вы все перенесете надвигающуюся зиму. Здесь будет в ноябре зять Елены Ржевской, попробуем через него хоть что-то передать к Новому году.

О, Господи! Только что Жора пришел с почтой — в ней Ваше письмо и газета.

Мне очень дорога Ваша оценка «Операции-Эмиграции», и в особенности — ухода «от ответственности» в патетический момент, а то меня уже корили (Вл. Марамзин) за отсутствие финала.

Библиотеки у меня нет никакой, но есть за 40 километров, в городке Эшборн, у Даши Чернявской, чей покойный муж Володя Чернявский писал о Владимове в «Гранях». Он закончил вместе с Лакшиным филфак, думал здесь заняться «настоящей критикой», но сдуру влез в НТО, где его до смерти извели. Вот туда и езжу за цитатами или звоню. Ну, и в детстве, до сумбурной юности, много читала — у отца библиотека была огромная.

Что касается гипотез о моем, с Вашего разрешения, «творчестве», то последнюю мне поведала Кира Сапгир (чей девиз:

«Сплетня — лучший подарок»): Марья Васильна Розанова-Синявская сказала, что это не стиль Владимова, он пишет значительней, за меня же пишет... правильно Вы догадались! — КГБ. Но так как эту организацию, вроде бы, распустили, то я уже, верно, ничего больше не напечатаю. А Марья Васильна сказала у вас там по телевизору, что Владимов подозрительно хорошо знает психологию овчарок. Надо ли понимать, что служил вертухаем, или сам был овчаркой?..

И ОПЯТЬ ШИНЕЛЬ ДЗЕРЖИНСКОГО?

...Жорин «Генерал» покуда отдыхает, а он пишет прелестную вещь, может быть, впервые о себе. Случайно в дни путча я обнаружила в «Неве» за 1988-й год (вот так у нас в эмиграции циркулируют журналы) в мемуарах В. Каверина, в главе о Зоценко, рассказ последнего о трех суворовцах и девочке, пришедших к нему выразить свое сочувствие после доклада Жданова. На самом деле, суворовцев было два, и один из них — Ваш старинный объект критики, тогда еще 15-летний. Столько же было и красивой девочке, которую он любил трепетно лет десять, а может, и посейчас любит, ведь память о любви — тоже любовь. Название (пока) — «Шинель Дзержинского». Замысел возник в те минуты, когда телевидение показывало свержение «Железного Феликса» во всех ракурсах и подробностях. Я на это смотреть не могла, Жора смотрел с грустью и сказал, что это все другие вышли из «шинели Гоголя», а он — из шинели Дзержинского. Ведь он погоны носил не алые, а голубые, учился в училище «войск НКВД» и мечтал стать великим разведчиком, вроде полковника Лоуренса Аравийского, но на платформе советской власти. Да все испортил Жданов, назвавши Зоценко «подонком литературы», чем была задета и честь будущего Лоуренса, поскольку он тогда писал стихи и даже какой-то утопический роман.

Вы очень точно подметили (в статье о «Руслане») две доминанты автора — одиночество и чувство чести. Обоих мальчиков сломили тогда, пригрозив сорвать с них перед строем училища погоны, которые они «опозорили». Наказание — всего на месяц, все-таки не исключение, но тем не менее заставили отречься от своего поступка, сказать на комсомольском собрании, что были у Зоценко до постановления о «Звезде» и «Ленинграде».

Мне кажется, на основе 26-летнего бесконечного знакомства, что Жора — человек личностного, точнее — единоличного, по-

ступка; в стаде он пассивнее, даже глупее, во всяком случае размышлять может лишь наедине с собою, равно как и решения принимать. Наверное, сказался тогдашний слом, поселивший в душе страх перед «правосудием» коллектива, когда пришлось встать и заявить: «Нет, я вас не опозорил», — тогда как позором и было это отступничество.

И вот теперь, спустя 45 лет, сам Зошенко через Каверина — возвратил ему тот поступок: вы были у меня после.

Занят он этим сюжетом чрезвычайно, портрет красивой девочки (впрямь — красивой!) прочно утвердился на столе, перед машинкой, и время от времени писатель мне задает вопросы: как это называется, когда волосы подвязывают красной лентой? А я отвечаю: это называется «с лентой в волосах». Или еще что-нибудь в этом роде.

Ладно, закругляюсь. Еще раз благодарю Вас, Лев Александрович, за письма, они мне действительно необходимы!

Мой поклон Вам и Вашему семейству. *Наталья*

31 октября 1991 г.

Милая Наталья Евгеньевна!

Пришло Ваше подробное письмо и открытка от Г. Владимова, на сей раз с ослепительно приличным рисунком.

Пишу, не дожидаясь экспедиции моей жены и Веры Индурской на Вашу новую хату. Вернее, результаты экспедиции пришло, а теперь отвечаю на некоторые интереснейшие Ваши вопросы.

Конечно, Наташенька, Вы были бы на «баррикадах», куда принесли бы Георгию Николаевичу шарфик и ужин. И, конечно, он был бы «где-то там». Возможно, впрочем, не на самих баррикадах, а внутри Белого дома, где, подобно Ростроповичу, Карякину и другим героям, был бы интервьюирован, а возможно, и расцелован недремлющей Беллой Курковой. Но вряд ли в подобной ситуации Г. Владимов имел бы то одиночество, которое необходимо для правильной мироориентации. Скорее, он там был бы элементом декора. Впрочем, еще не все потеряно. Возможно, что, вернувшись сюда, вы поспеете как раз к очередной героической странице. Даже скорей всего.

Я ведь тогда Жору не то, что отговаривал ехать: я бы никогда не взял на себя такое, — но просто рассказывал о том, что я теперь тут чувствую. Это не та страна, которую мы с вами знали, в которой

выросли. И даже не та, которую вы покинули восемь лет назад. **Той страны нет, ее больше нет в реальности, есть другая**, мне совершенно не знакомая. И жить в ней надо учиться заново.

Мы по-русски упрямо и слепо прем в положение колонии. Возьмите **любые два факта теперешней русской жизни** и свяжите линией: линия покажет направление именно «туда». Без конца — конкурсы красоты: девахи ходят голыми по сцене, прячут неловкость за улыбками; американцы набирают фотомодели; со всей страны съезжаются провинциалки — не упустить шанс, то есть вырваться отсюда любой ценой. У одной журналист спрашивает: «А ты знаешь, что такое фотомодель?» — Та отвечает: «Нет». Мимо идет старая гримза, из парттетушек, мрачно уточняет: «А чего тут не знать? Проститутки это; туда вас и вербуют». — «Ну и что? Тебе-то, старой гримзе, что за дело? Тебя не купят, и сиди, а меня купят».

Что верно, то верно: девочки наши пока еще как товар идут.

Ну, какой второй факт привести?

Английский фильм «Молодая Екатерина». Смысл: умные немцы и еще более умные англичане дают стране русских дураков великую государыню... Моя русейшая супруга мне, полуеврею, говорит примирительно: «Но ведь ничего дурного там о русских не сказано». Верно, не сказано. Там русских просто нет. О них сказано даже «хорошо»: они, мол, боготворить должны Софью-Августу-Фредерику: хорошая будет императрица. Вот и славно. Аборигенов всегда надо похваливать, чтобы не бунтовали по дурости. Я ей говорю: как же ты не чувствуешь, что это насквозь **колонияльная картина**? А «ЛенФильм» как шестерка подыгрывает: участвует, статистов собирает, съемки организует для Ванессы Редгрейв и Франко Неро.

Через две эти точки проведите сами линию. Через **любые две**.

Теперь хочу насчет «Острова Крым» Жоре ответить. Не то, что спасение от армии придет от армии же, а это частный случай всеобщего нашего лукавства-попустительства. Сейчас офицер сбредал, что задание выполнено, когда ему велели брать штурмом Белый дом, а завтра он так же сбредет, когда его позовут на помощь от погрома. Армия — часть народа, и когда разваливается народ, разваливается армия. Я Аксенова не порицаю, у него вообще много точных частных; писатель-то хороший. Но я об общем ощущении. Общее же ощущение, помимо того основного промаха, о котором точно написала Наталья, такое, что Василий Павлович пишет по воображению такую картину: как он жил бы в Крыму, если бы там все сделали на западный манер. И он уверен,

что вместо засиженного быдлом пляжа и заветренных столовских котлеток имел бы люкс в небоскребе и ананасы в шампанском, а также трех девок в одну ночь, плюс автогонки. Я знаю, что жизнь Васина, сравнительно с моей, сложилась куда как горше; но все-таки: он даже и в горькой реальности воображает себя среди элиты, а я даже в благополучной реальности воображаю себя с «быдлом», и это не переменить, это изначально, это у меня в крови: я с «быдлом», и я «быдло», мне от этого не уйти. Поэтому все его полеты в цивилизацию меня не греют, и все его блестящие писательские находки воспринимаются только на этом фоне.

Владимов — совсем другое дело. Он может вообразить себя Лоуренсом Аравийским или сторожевой собакой, но остается человеком, боль которого мне родственна. Даже если он в голубых погонах. Меня потрясла история с посещением Каверина, и я понимаю, **почему** эти парни попятились перед комсомольским собранием. Их «сломали»? Полноте, Наталья Евгеньевна, да где ж это видано, чтоб на Руси «ломали»? На Руси **в порошок стирают изначально**, там и ломать нечего. Но и другое скажу: ломать нечего, однако и убить трудно. Согнулся — распрямился. Сколько ни бьют, ни унижают, ни «опускают», — а распрямиться у нас человек может всегда.

Это мой старый диалог с Владимовым, еще по первой редакции «Руслана»: есть «западный» тип мироориентации: закон чести, — и есть «русский», западно-восточный, не по Руслану, а по «Шарику», или как его там: когда вместо чести, которую надо **хранить**, потому что **однажды сламывается**, — вместо этой холодно-стальной струны — лелеется в людях нечто теплое, русское, влажное, бесформенно-рыхлое и неопределимо-живучее: **совесть**.

С нею и живем. Конечно, Владимову с его суворовским кодексом чести в этой ситуации непросто, и он **должен** мучиться, думая, что его молодого героя сломали, но те, кто его ломают, совершенно же так не думают! Они его отечески любят, эти полковники, они его **спасают**, выдумывая лазейку, что-де к Каверину пошли до ждановского доклада, хотя отлично знают, что не «до», а **вследствие** доклада.

Такая страна, Наташенька, и вы в нее, бог даст, вернетесь. Может быть, найдете в ней какое-то сходство с той страной, в которой выросли и мучились. Во всяком случае, «перестройку» сейчас двигают те самые люди, которые во время оно сидели в парткомах и на Лубянке, и делают это так же искренне-лукаво, как тогда, когда грозились сорвать погоны с молоденького юнкера и шуровали в столе у маститого писателя.

Кстати, Лубянка теперь символ не Гос-Ужаса, а милой старины. Станция метро «Дзержинская» теперь — «Лубянка». Как-то даже не верится, что два месяца назад толпе, привалившей громить архивы Госбезопасности, подсунули железного Феликса, и пока она двигала железку, пар весь вышел.

Нет, ребята! Вы меня в эту толпу не заманите.

Вот в очередном номере газеты «Совершенно секретно» будет мой этюд «Зубная боль» — там я все про это объяснил. Постараюсь, чтобы к вам сей опус попал. Пока же шлю Вам, Наташенька, для «подзарядки аккумуляторов» очередной номер «Литобоза» — там мой портрет «Нез-Газеты».

А названия станций метро у нас теперь очень поэтичные. Вместо «Кировской» — «Чистые пруды». Вместо «Калининской» — «Александровский сад». Вместо «Площади Ногина» — «Китай-город». Вместо «Площади Свердлова» — «Театральная». Ну, и, как я уже сказал, «Лубянка». Душа поет!

Да. И о собаках. В 1940 году я в фильме «Подкидыш» сыграл советского детсадовского ребенка. Диалог был патриотический:

- Хочу быть летчиком!
- Нет. Для летчика ты еще маленький.
- Тогда пограничником!
- Нет, и пограничником рано.
- Ну, а пограничной собакой я могу быть?
- Собакой можешь.

Фильм вышел. Год спустя я оказался в эвакуации в Свердловске (ныне Екатеринбург). В школе меня узнали какие-то шпаниского вида местные ребята. Зажали в угол и спросили: «Ты играл? Хошь, морду набьем?». Или как-то еще, точной формулировки не запомнил: очень испугался.

Так едва не пришлось расплатиться за соцреализм.

Ваш Л. А.

МЕГАБОМБА № 1

Не знаю, урон ли, понесенный мною в детстве, или уверенность Владимовых, что мы в наступившую зиму загнемся от голода, продиктовал им это, но мы неожиданно получили от них... большую продуктовую посылку. Плюс лекарства, которые в тот момент действительно помогли моим близким выбраться из

очередной эпидемии гриппа. В подборе суповых концентратов, консервов, приправ и прочих намазок на хлеб насущный (хлеб в ту зиму стал отнюдь не фигуральной, а вполне реальной и основной едой) — во всем этом ощущались и владимовская воинская хватка, и Наташина душевная щедрость.

Мы были растроганы до неловкости.

Сама передача посылки была обставлена с таинственностью разведздания: мне были даны координаты, и в чистом поле незнакомый человек передал мне вынутую из багажника машины коробку..

21 ноября 1991 г.

Милые друзья, Наташа и Жора, заботливые люди, дорогие добрые человеки! Мы растроганы до глубины души вашим Рождественским подарком и тем, сколько труда и любви вы в это дело вложили. Теперь-то уж знаем, что доживем до весны, а там, бог даст, и до «прихватизации».

Очень все было обставлено таинственно: звонок от незнамого деда-мороза; свидание с ним на Коровинском шоссе, у автобусной остановки, среди пустынного окраинного квартала; и то, что он не мог назвать ни одного имени (от кого? как?), а только говорил скупно, что «людей надо любить» и «людям надо помогать», — я сразу понял, что без Лоуренса Аравийского тут не обошлось. А когда взвесил коробку, то просто ахнул.

Аханье продолжилось и дома: дети вытащили немецко-русский словарь... и, конечно, тем же вечером уже пировали на вишбаденский лад.

Всем семейством благодарим вас!

Всякие наши новости вы, наверное, раньше нас узнаете. Разве что некоторые мелкие пакости печати могут пройти мимо. Посылаю тебе, Жора, статейку экс-смога Батшева, который в 41—42 номере «Столицы» объявил, что у Владимова плохой характер. Не знаю, я не замечал. Сверхзадача этого всенародного объявления остается для меня смутной, но, может быть, ты что-нибудь во всем этом поймешь.

Наташа, получили ли Вы от «Литобозрения» заказ на статью об Оле Кучкиной? Напишите? Послали ли мне указания насчет того, где и каким методом обследовать Вашу потенциальную хату: адрес, ключ, консьерж и т. д.? Вера Индурская на сей счет ничего не знает.

Обнимаю вас обоих. И еще раз — переступая чувство неловкости, что пришлось вам столько заботы принять о нашей бренности, — дружеская вам благодарность!

Ваш Л. А.

7 декабря 1991 г.

Дорогой Лева,

несказанно обрадовались твоему и Шуры подтверждению, что посланное дошло. Избегаю говорить «все» и «посылка», ибо не знаю, в каком виде дошло. Как ты понимаешь, у нас тут нет проблемы изготовить боеголовку хоть и на 20 мегатонн, проблема — средство доставки. Приходится доверяться первому попавшемуся.

Наташа до конца не верила, что все не будет «расхищено, продано, пропито», — она сильно травмирована после того, как Серж Шмеман, корреспондент солидной газеты и позднее лауреат Пулицеровской премии, то ли американец русского происхождения, то ли русский — американского, сын священника о. Александра Шмемана, взялся перевезти ее колечки и иконки и в награду за перевоз оставил их у себя (Правильно Владимир Ильич говорил: «Первая пуля мне — от интеллигенции!»). Ну, а мне почему-то казалось, что этот кроманьонец (что, кажется, на порядок выше неандертальца), впервые пробуящий на слух словосочетание «Людей надо любить», — человек чести. Он из автогонщиков — стало быть, делом занимался, — а теперь как будто переквалифицируется в бизнесмены, у коих первая заповедь: «Купецкое слово твердо». Правда, ему было наказано груз подвезти к дому — Коровинское шоссе — это уже его ленивая инициатива. Но я смотрю, ты человек рискованный — отправился по первому звонку от незнакомого деда Мороза на какой-то чертов пустырь, не имея при себе пистолета или хоть газового баллончика! И как же легко тебя выманить из твоей крепости...

Не знаю, дошла ли моя открытка, где я писал, что все координаты нашей будущей московской квартиры — у Бакланова. Шура просит не торопиться — оно и правда, страшновато с отвычки, да еще когда по «тиви» показывают растерянное лицо Михал Сергеича, попросившего у четырех республик, тоже несъятых, продуктов для москвичей, прилавки с банками какого-то темного сока, вроде бы гранатового, и мерзлой рыбой, вроде бы пикшей. Все это подробно облизывается операторами, особенно — «лица из народа». Лица, правда, не очень исхудалые, и одет «народ» неплохо. Страшна вот эта полнейшая безынициативность, слезно-покор-

ная, женщины так привычно всплакивают перед камерой, и кажется — сейчас это все взорвется «шумом и яростью». Но, пожалуй, не взорвется. Некуда. Бесполезно.

Ты мне писал, что Россия — уже не та страна, которую мы покинули восемь лет назад, и в пример приводил голых девах, которые вербуются в фотомодели, спокойно при этом принимая, что так эвфемически зовутся проститутки. Но эту-то страну мы как раз знали — по некоторым нашим знакомствам; просто это все нарывало в «андерграунде», а нынче взобралось на подмости. Страшнее — эта непонятная для меня, терпеливо ждущая толпа, ну и сам «андерграунд», с шарлатанством Дмитрия Александровича Пригова и Лерочки Нарбиковой, которых зачем-то Битов вскармливает грудью.

Листочки из «Столицы», что ты прислал, — о моем плохом характере, — тоже оттуда. Журнала не читал, но слышал, что он интенсивно желтый, и Мальгин заманивает подписчиков хоть трупом Ильича, хоть оплевом фронтовиков (мне и то, и другое одинаково омерзительно), вот и меня хочет втравить в скандалчик с теми же благородными целями. Это даже приятно — обо мне, значит, помнят еще, если скандал с моим участием кого-то потянет раскошелиться. Но я, пожалуй, такого удовольствия Мальгину не доставлю. Мне, конечно, охота высказаться, что за шайка-барайка этот НТО, но лучше бы это сделать в твоём «Лит-обозе» — как интервью с Канчуковым. Такой вопрос он мне уже задавал, так что ему это будет интересно, а мы бы с Наташей детально разработали его вопросы.

Сама она очень оробела, прочитавши несколько номеров «ЛО» (нам тут еще подвезли), и говорит, что не доросла до этого «журнала гамбургского счета».

Очень сильное впечатление — и у меня тоже — от твоей статьи о «Независимой газете». Взвалить такую тяжесть неподъемную на плечи — и выйти из положения так щегольски-изящно! Очень хорош прием вынесения имен в конец — я бы сказал, аристократически-небрежный. Солженицын им как-то пользовался, но с гораздо меньшим числом имен и куда грубее, т. е. даже хамовато. Ну, и конечно, ясен портрет газеты, что уловить было нелегко при нынешней текучести. Подозреваю, что ты готовишься произвести такую же конногвардейскую атаку на «Столицу» (что даже обещано на обложке «ЛО»), в таком разе не упusti жемчужин этого Батшева. Очень хорош мальчик, плывущий в ледяной воде

к норвежскому берегу за советским гражданством. А не прекрасен ли редакционный врез насчет трехсот рассказиков, сценариев, пьес и романов? Что ж это все было, упрятанное под псевдонимом, — сплошная антисоветчина? Т. е. антисовковость?

Сейчас позвонил мне режиссер из Киева, делавший «Руслана», сообщил, что 29-го ноября прошла премьера в Доме кино — вроде бы хорошо. Слышал ли ты что-нибудь на сей счет?

Обнимаем тебя с Шурой, очень рады, что снаряды на плацдарм подброшены, желаем стойкости пережить все беды и дожить до «прихватизации».

Счастливо вам всем в 1992-ом, високосном (а других, как Наташа говорит, не-високосных — на Руси не бывает)!

Твой Жора.

10 декабря 1991 г.

Дорогой Жора, верный человек, как и полагается, доставил мне твою теплую открытку и «должок». Память у меня стала никуда; я не помню, когда ты брал у меня марки, но, надеюсь, когда надо будет, возьмешь; спасибо за этот добрый привет. Надеюсь, что дошло мое новогоднее поздравление: одиннадцатый номер «Литобоза», неприличием которого я пытаюсь хоть немного отблагодарить тебя за ту коллекцию открыток, каковая у меня составила по мере нашей переписки, дай бог ей продолжиться.

(Номер «Литературного обозрения» — посвященный абсценной литературе).

«ЭТА СТРАНА»

1 января 1992 г.

Дорогие ребята, с Новым Годом!

Встретили мы его по настроению весьма кисло — в силу всесоюзных усилий в деле ликвидации Союза, — а по угощению весьма сладко — в силу вашей мегабомбы, доставленной автогонщиком в абсолютной сохранности на Коровинское шоссе. Кстати, по секрету скажу тебе, Жора, что из-за этого я пропустил телешоу Максимова в Останкине, куда был зван: по времени почти совпадало; договоренность с неведомым гонцом уже была, когда максимовское шоу подтвердилось, и отменять свидание с незнакомым человеком я не рискнул. Коровинское от Останкина неда-

леко, и я надеялся прямо со свидания успеть туда. Но когда на том пустыре взвесил коробку... ну, вы представляете, как с нею было бы добираться до Башни на перекладных автобусах и, главное, — как было бы, добравшись, проявиться с коробкой там, среди советских людей, притом во множестве — знакомых. Тут уж точно все было бы «расхищено, продано, пропито». Помню, стоя на остановке, когда автогонщик укатил, я загадал: если подойдет борт в сторону Останкина, еду на шоу, если в сторону метро — домой. Вышло — домой. Ты только, ради бога, не проговорись когда-нибудь Максимову о причине моего прогула, еще обидится.

А что до ликвидационных комиссий, из которых состоит теперь бывший СССР, — привыкаем понемногу. Ко всему можно привыкнуть: к тарабарским названиям, к новым ценам. Нельзя привыкнуть к состоянию народа, когда он — твой.

Вообще говоря, с ума несколько съехали все. По грузинам это особенно видно. Армяне «были первыми» — все началось с Карабаха, по поводу объявления независимости которого в Ереване «плясали на улицах», и никакими силами от этого пляса отговорить армян было невозможно. Главная подножка таилась в украинцах, это теперь ясно. Ничего, истина обнажится. Не тогда, когда они привыкнут к двухветному флагу, а тогда, когда они почувствуют присутствие у себя в доме немца и попробуют к его логике привыкнуть. Но, боюсь, почувствуют они это, когда дойдет до шеи, не раньше. Мы этого уже, наверное, не увидим, и слава богу. Так что мне на мой век теперь хватит русских. И родимой дури.

Конечно, весь этот хипеж гнезвился в андерграунде. И черт бы с ним, но общая ситуация такова, что андерграунд претендует на... апграунд, то есть стать «законной властью», а народу до Феньки: пусть станет. Меня Пригов в качестве шарлатана не занимает, но он интересен в качестве знака реальности. Это переворачивание захватанных словес, жонглирование засиженными чужими игрушками. Такому труположеству и мародерству придумано теперь заграничное название «постмодернизм»; это теперь почти истеблишмент.

Русских до боли жалко. Веришь ли, я в принципе знал, что не смогу уехать; всегда знал, почему не смогу: язык, литература и т. д. Сейчас чувствую, что вот не могу оставить эту родину, потому что она жалка. Этот народ, который хуже малого ребенка.

Да кто я такой, чтобы думать так? Не знаю. Стыдно это чувствовать; как будто берешь на себя слишком много, но вот уехать

сейчас — как немощного бросить. Я это чувствую тихонько, про себя; говорить вслух это нельзя, это будет людям обидно.

Ты спросишь: как же при этом я тебя-то отговариваю возвращаться?

Чисто житейски вам с отвычки будет трудно тут. Но это пустяки. Главное: ты, Жора, с твоим характером, с кодексом чести, с неумением гнуться и отступать — ты же тут непременно врежешься в какую-нибудь «борьбу», а в результате «правая сторона» окажется неправой, как это всегда бывает в России, и душу выжжешь, и толку никакого. Я-то другой, я «форму сосуда» принимаю, я и хама понять могу, я приспосабливаюсь к общему строю чувств, не столько судя, сколько переживая внутри; в общем, мне легче. Хотя, конечно, возвратиться тебе не миновать. И не только тебя здесь не забыли, но для многих людей (не только для меня) твое присутствие в духовной ситуации есть светлый полюс, что ли.

Ну, вот, понимаешь: в Вермонте сидит пророк: мечет молнии; его и слушают как слушают грозу: бушует, и ладно, лишь бы не в нас ударило. А тут — реальный выбор линии поведения. Войнович пересмешничает, Аксенов наслаждается жизнью, Максимов вроде «умнее всех», и врзается в нашу жизнь всерьез, но тоже немного пророк, во всяком случае, как бы «обещает», а значит, может быть, «обманет». А ты — что-то вроде «чистого варианта», в тебе то рыцарство, которого всем не хватает; и несбыточно, а вот — есть. Так что место твое в нашем сознании прочно. Вернешься — займешь.

Спасибо, что прочел мой опус про «Независимую газету». Ты уловил, какое это физически неподъемное дело: читать такие массивы. Я уже не рад, что взял на себя эту серию, но теперь делать нечего, не отказываться же. Да и положение мое в «Лит-обозе» отрабатывать надо: посещение раз в неделю и полную свободу рук.

В февральском номере будет портрет мальгинского еженедельника: «Асфальт Столицы». То, что они на трупе Ленина и на костях фронтовиков делают себе «подписчика», ты уловил точно. Но тут, кроме «подписки», есть и свой андерграунд. «Подпиской» все трехнуты, и Третьяков тоже, это общее помешательство; за подписчика душу заложить готовы. А вот: что за душа?

В «Нез-Газе» — чопорный эксперт отрабатывается, член коллегии директоров, пассажир «Мерседеса». А тут — полуголодный хват, подхватчик, он и в подворотню юркнет, и в могилу залезет, и там кусок отковыряет, и тут.

Между прочим, в августе на танки бросались именно такие. Те, что претендуют на «Мерседес», — они присылали толпе «термосы с чаем». А кто плаш на смотровую щель набросил, ослепив водителя БТР? А вот: мальгинский герой. Это — «народ» грядущий. И Батшев — того же темперамента. Хотя я его не трону: поздно заметил, когда уже все было написано, да и более существенные вещи есть, кроме его обид.

Насчет твоего диалога с Канчуковым — он **знает и хочет**. Тебе стоит только позвонить ему в редакцию и назначить практические пункты: как и какие вопросы выслать.

Да, еще насчет «Литобоза»: Наталья зря робеет! Она в блестящей форме. Ее статья о Генатулине — безукоризненный пример того, какие вопросы можно задать тексту и какие ответы получить, когда чувствуешь не только текст, но и то, что его породило. Давно ей надо становиться постоянным автором в «этой стране», а начать лучше всего с «ЛЮ», потому что по смерти «Воплей» это теперь единственный журнал литкритики.

О киевском кино-«Руслане» не слышал. И не мудрено: заграница все-таки. Если услышу (увидю), — напишу непременно.

«Заграница»... Просто взбесились все. Повально. Топчут и ликуют, рушат и вопят от восторга. Не могу.

Ну, хорошо, ребята, будем жить и выполнять свои обязанности, как сказал когда-то классик соцреализма.

Обнимаю вас!

На хату съездим, как только возьмем координаты у Бакланова: этим занимается Вера. А то у меня с ним несколько натянутые отношения.

Еще раз: счастья в Новом году! Л. А.

МЕГАБОМБА № 2

Открытка:

Дорогие Аннинские — Лева, Шура, Маша, Катя, Настя! С Новым годом! Лишь час назад узнали, что есть робкая оказия, а нынче воскресенье, и все крутом закрыто, лишь на аэродроме, но туда не успеть.

Едем чествовать Дашу Чернявскую, у которой 50-летие совпало с Крещением.

Наташа посылает, что дома нашлось: кое-какие вырезки.

Целуем всех вас — Г. Владимов.

Р.С. В мой день рождения — 19 февраля (мнемонически — в этот день «демократы» освободили крестьян) выпейте за меня. Поскольку поллитру достать на Руси трудно, купите в валютке. Сумму прилагаю. «Я угощаю», — как говаривала моя супруга, когда какая-нибудь посторонняя дама оказывала мне внимание, — и тем прекрасную знакомку отгоняла. Г. В.

От Натальи:

19 января 1992 г.

Дорогой Лев Александрович!

Пишу наспех — до Даши от нас ехать 40 км плюс еще 25 км к Юрию Петровичу Рудневу, человеку глубоко верующему и церковному. Христианские праздники он чтит (а сегодня Крещение) и Дашу тоже любит, так вот Юрий Петрович и его жена устраивают нынче застолье.

Письмо Ваше от 1 января пришло вчера — спасибо, нам Ваши письма больше объясняют ситуацию и дух, чем газеты...

Ну, ладно, скоро ехать, а настроение не праздничное...

Большой привет всем Вашим. Шуре посылаю лекарств — говорят, весной, когда язва обострится, лучше него нет.

Посылаю кое-какие вырезки из «Нового журнала» эпохи Романа Гуля, того самого, который писал «Прогулки хама с Пушкиным», где отчаянно ругал А.Д. Синявского и Д.И. Писарева.

Наталья.

Р.С. Колбасу и тушенку это Даша принесла!

9 февраля 1992 г.

Наталья, Жора, милые друзья!

Ваша мегабомба, пролетев положенные тысячи километров, разорвалась, произведя в нашей кухне потрясающие приращения. Способ доставки и на сей раз был экзотический, но совершенно в другом духе. Тогда я имел свидание с гонщиком в чистом поле у столбика, а теперь путь мой пролегал в недра Патриархии. Я был встречен и обласкан женщинами с медовыми голосами, причем меня весьма любезно и настойчиво спрашивали, к кому и почто иду, не к Владыке ли. Насчет Владыки я отвечал уклончиво, ибо помнил, что Любовь и Голод правят миром, так что шел я, в этом смысле, пожалуй, все-таки к Владыке.

Голода у нас, правда, теперь нет: после отпущения цен и вовсе можно 250 грамм творога купить за 12 рублей без драки и оскорб-

лений; слегка подголаживали мы только в Малеевке, где я десять дней пас дочерей-студенток в Доме Творчества (там, иля навстречу пожеланиям трудящихся, отменили полдники, овощной шведский стол, а заодно и систему заказов), но дома, слава богу, стало полегче. Так что даже немного совестно перед вами: получать еду, не находясь в Голоде. Но Любовь вашу мы все очень чувствуем, и это очень греет все время. Это очень важно для нас. Спасибо.

Посылаю кое-какие вырезки. Тебе, Жора, — обложку от нашего «Литобоза»: найдешь там кое-что про себя. Правда, надо будет немного поломать голову (и глаза). Такая теперь графическая мода. И Наташе кое-что — «ПН» (с извинениями за опечатки): тоже найдет кое-что интересное для себя, если до конца дочитает.

А я пока сажусь читать присланное вами. Про царскую фамилию и Башкирцеву Катя моя уже выхватила и унесла: она у нас больна историей (на письменном столе: Наполеон, Ленин, Горби и все русские государи от Рюрика до Алексея Николаевича. Горби не убирает *из принципа*). А я для начала прочел твой «Напоследок» из лубянского цикла. К финалу ты великолепно взлетел, и именно туда, где и ждешь тебя! Круто и резко, и ясно. Но когда разбираешься с дамами, все ж мне как-то не по себе: кажется, что ты теряешь ощущение своей полной несоизмеримости с оппонентшами. Они же совершенно не в твоей стратосфере. Еще, поди, отвечать тебе начнут, словят на чем-нибудь. Одна радость: чувствую, как у тебя чешутся руки (засиделся? застоялся?), и это, правда, радует.

Само же «агрессивное поле», открытое Аллой Николаевной Латыниной, меня не влечет; я бы назвал это поле скорее «аллергичным». Мне, в отличие от нее, действительно все равно, где живет русский писатель; вне индивидуального подхода этот вопрос смысла для меня не имеет, а поставлен он в этом «поле» именно *вообще*, то есть, «прописочно». Все это сейчас воспринимается, увы, мелко в масштабе того, что произошло и происходит. — **Так меняется глобальный масштаб бытия России**, что все, вчера существенное, сегодня кажется неважным: кто кого недооценил и т. д. И ты же, сквозь все — вышел к этой боли: судьба России решается, а без нее все мы... что-то другое, чем думали о себе раньше.

Жизнь, совершающаяся в Англии, совершается несомненно в Англии, но судьба Англии решается там, где есть люди, эту судьбу считающие своей. Почему нам, чтобы признать такую же аксиому *о себе*, надо изойти комплексами? Что мы за люди! Это сейчас просто непрерывная боль моя, болевой фон, я ничего сделать с этим не

могу, с этим ежесекундным ощущением оскорбленности и краха, гибели великого дела, я это ношу, как рак, и все стараюсь привыкнуть.

Нет ничего унижительнее чувства бессилия твоего народа. А другого нет. Это такой фатальный подрыв всего, в чем жил, что на все остальное хочется просто рукой махнуть, либо всем все разом простить, чтобы не качали прав, либо не заметить, чего мелют. Все стало «неважно» про лодочки — корабль кренится.

Помнишь наш разговор о лодочниках и корабельщиках? Я его часто вспоминаю. Наверное, деление это тоже искусственное. Но дело в том, кто как чувствует, а не как и на чем плышет.

Мой русейший зять говорит: зря вы, Лев-Саньч, за державу переживаете, будет только лучше.

Не могу, чтобы «лучше». Мне — хуже.

Простите, если нагнал тоску. По существу-то сегодня день радостный. Кате нашей — двадцать два; вчера гости были; так что ваша мегабомба — прямо ей в подарок. А девятнадцатого — выпьем, Жора, за твои шестьдесят один, непременно выпьем, а там, бог даст, еще и с тобой выпьем.

Наташенька, Жора, обнимаю вас! *Л. А.*

Да, чуть не забыл. Письмо к вам от дочери Ивинской — не случайно ко мне в газете попало? Вернуть? Боюсь, она и мне напишет: я в «Литобозе» опубликовал послание одной читательницы к Ольге Всеволодовне по поводу того, как та в своей книге живописала Анну Баркову. А может, не прочтет.

Последняя новость: Вера Индурская стала министром (в смысле: женой министра культуры России). Вчера, однако, мы, встретившись в ЦДЛ, общались весьма демократично. Я ей выразил соболезнование, что Женю упекли в министры. Она приняла. И сообщила насчет вашей хаты следующее: никакой хаты пока реально нет; Бакланов заручился только «разрешением» Ю. Лужкова оную хату вам выделить, но само выделение произойдет тогда, когда кто-то из вас окажется тут, и состоять будет (выделение) из таких российских традиционных компонентов, как «выбивание», «выдирание» и «выколачивание». Увы, это то самое, о чем я Жору предупреждал: вы, наверное, отвыкли от нашей реальности. Говорю Вере: это что, уже сообщение на министерском уровне? Смеется: «когда я с Баклановым говорила, Женю еще не назначили министром».

Вот так: ни на секунду нельзя отвернуться; глядишь — а оно уже вон как.

Целуем вас! *Аннинские.*

ФИРМАЧИ

Наталья:

22 февраля 1992 г.

Дорогие Аннинские!

19-го утром наш письмоносец Карл-Хайнц принес от Вас телеграмму, Жорик был очень доволен и тронут, а бывший политзэк Ник Драгош, один из столпов «франкфуртского общества»... решил, что Вы — бизнесмены. «Аннинские, — говорит, — слышал, это фирмачи-бизнесмены, еще у них дядя в КГБ работает, а кто же сейчас, кроме бизнесменов, телеграммы из России посылает?».

Жаль Ваших денег, хоть и чрезвычайно приятно было, а особенно Жоре, который, как и его бывший начальник поэт Константин Симонов, уверен, что тех, кого в России вспоминают, пуля трижды бережет и т. д.

Правда, нынче театр военных действий (так, кажется, говорят?) именно в России. Так что, может, все наоборот — кого в Висбадене вспоминают, тому «третий раз еще не вышел».

А впрочем, прав Жора: жизнь — у вас, а здесь — прозябание. Недавно Арина Гинзбург ездила в Москву, маму хоронила, — то же самое говорит, что тут — провинция, тижая заводь (и вонючая притом), а она не в Нидернхаузене живет, а в Париже...

Лев Александрович! Читали интервью с Вами в родной «Русской мысли». Сперва было пропустили (чуть не поели на этой газете копчушки, по-немецки шпроты), но позвонил Юрий Петрович Руднев: «Познакомился я со Львом Александровичем, серьезный человек...» — «Где, — спрашиваю, — Вы его видели?» — Думала, что Вы приехали, а поскольку Руднев в свои семьдесят с гаком носится, как я в шестнадцать не носилась (дай Бог ему здоровья) — он уже Вас повидал. Отвечает, что статью в «Р.М.» прочел, и с удовольствием бы с Вами поговорил, так как человек Вы, Лев Александрович, **реальный**, то есть не болтун.

Вообще шум даже в нашей провинции был изрядный; очень **не понравилось**: Крониду Любарскому — человеку, наверно, достойному, но узкому и комплексующему, Владимиру Тольцу, женатому на внучке академика Дм. Лихачева, Герману Андрееву, Борису Хазанову; этакому жуку-короеду и директору русской службы «Свободы» Владимиру Матусевичу — не путать с моим

другом Владимиром Малинковичем — тот прочел «с интересом и пользой», в следующий раз обещал Вас **переговорить**.

Еще понравилось Але Федосеевой, той самой, о которой Великий (без юмора) Василий Иванович Белов писал в романе «Все впереди»: **что станет говорить княгиня Аля Федосеева**. Понравилось и в Париже Гинзбургам и Ирине Алексеевне Иловой-ской — тетке очень душевной и весьма образованной.

Не понравилось — некоему Дедюлину, но его уволили из «Р.М.», за другие прегрешения, впрочем.

Я, как и Трифонов, всегда Вас читаю с удовольствием, тоже нахожу «своеобычную мысль», но в этот раз меня задело про Астафьева, грузин и Вашу «ответственность». Это что же выходит — тогда грузины за Сталина отвечать должны?

И еще: почему **интервью** в «Р.М.»? Вы можете сами статьи писать — вот мне за такую же по площади статью платят 2000 франков, Жоре побольше — 3000 франков. Расплачиваются они аккуратно, это не «Континент». А две тысячи франков — это 580—590 марок. И Ирина Алексеевна сказала, что с удовольствием будет Вас печатать...

Закругляюсь, а то Жора говорит, что я Вас загружаю, а у Вас и так жизнь тяжкая.

Всех обнимаю. *Ваша Наталья.*

В том же конверте — открытка — от Владимирова:

Дорогой Лева, днями засяду тебе ответить подробнее на твои письма и интервью в «Р.М.», а сейчас торопимся с оказией. Посылаю тебе (как члену редколлегии «Литобоза») статейку о будущем президенте России — по крайней мере кандидате и сопернике Жириновского. Если до тебя дошла моя предыдущая статья («А напоследок...»), то, может быть, дать их обе? А если совсем не интересны «Литобозу» наши эмигрантские дразги, то не отдать ли в заботливые руки Ольге Мартыненко в «Московские новости»?

Но прежде всего хотелось бы знать твое мнение.

Иловойская (редактор «Р.М.») очень тебя ценит и хотела бы видеть своим автором. Того же и я желаю всей изболевшей душой. Тут есть от кого отбиваться и кому противопоставить свое (как ты говоришь) «агрессивное поле».

Привет и поклон твоим домашним. Обнимаю. *Твой Жора.*

МЕГАБОМБА № 3

28 февраля 1992 г.

Дорогие Наташа и Жора!

Вы неистощимы и изобретательны: утром — звонок; в дверях малый изрядного объема, рот до ушей, в руках сумка: «Я к вам от Домашнего...» Ну, думаю, все: накололи... Раскрыл сумку — отлегло: понял, кто скрывается под столь уютным псевдонимом, кто прислал сумку, полную материальных и духовных ценностей. За то и за другое спасибо. Шура специально напишет вам, отдав, я думаю, должное практической и житейской точности, с которой все это выбрано, а я теперь коснусь текстов.

Сначала — Наташино письмо.

Я, правда, не очень хорошо помню мое интервью (то, что в «РМ») — пришла милая девушка, ленинградка, представилась, мы с ней поговорили, потом она прислала расшифровку, я по тексту прошелся, отправил почтой в Ленинград (в Санкт-Ленинбург, как у нас теперь говорят). «С тех пор ее по тюрьмам я не встречал нигде...» То есть, текста у меня вообще не осталось. Но по памяти, Наташенька, насчет Астафьева и грузин — тут есть та тонкость, что грузины за Сталина отвечать **не должны**, конечно, но того грузина, который **захочет** отвечать за Сталина, — я пойму. И я не **должен**, разумеется, отвечать за Астафьева; и когда из Грузии я получал письма с жалобами на «Ловлю пескарей», — то мог, естественно, сказать: а я, мол, тут при чем, это его, астафьевские дела, я за других не ответчик. И мне очень **не хотелось** за него отвечать (тем более, что он вовсе и не думал обижать грузин, а просто не учел тонкости ситуации). Я не могу объяснить, почему я должен брать это на себя. Должен, и все тут.

Так и со Сталиным. Если грузины захотят, — то возьмут на себя эту боль. Нет — не надо. Я — беру. Потому что Сталин — это один процент грузинской «крови» (да и то — осетинской, крутой, а не грузинской, мягкой) и девяносто девять процентов русской готовности отдать «всю власть» дяде. Русская сила его напитала, а не грузинское происхождение. Так что вряд ли я и Сталина отдам на чужое покаяние. Это все мое. Моя беда.

Но «Русской мысли» с моей беседой у меня-таки нет. Даже не знаю, в каком номере опубликовано. Может, пришлете? Если не выкинули оный с остатками шпротов.

С величайшим интересом прочел у Наташи список сторонников и противников этой публикации. Даже не ожидал такого резонанса. Тольц... Федосеева... только по голосам их и знаю. Матусевича с Малинковичем — разве ж я спутаю? Матусевич когда-то (накануне того, как подорвать отсюда) покорежил мою статью в газетке «Сов.кино» и тиснул, не показав (не прощаю таких вещей), а о Малинковиче у меня теплейшие воспоминания (привет ему самый нежный) — рад буду еще обсудить с ним наши тупики, он человек здоровый и страстный (сочетание нетривиальное), а я ж тоже понимаю, что сам торчу в тупике, и он это видит. Во всяком случае, его последние радиокomentarии в «Барометре» почти абсолютно совпадают с моим ощущением событий. И чего мы с ним спорили?

Жора, теперь к тебе. Антимаксимовская филиппика — в своем роде шедевр. Особенно вся «толстовская» линия, мотивы отъезда и анализ его романа. Прессинг отменный. Плотность боя для нашей нынешней свалки (развалки) уже и непривычная. У нас тут через многое просто переступаешь — чихов столько, что не наздравствуешься, а кренится «весь корабль»; будем в воде — еще не так зачихаем. Так что насчет того, кто отсюда бежал в страхе, а кто просто хотел в теплый Париж, — точно. Хоть и безжалостно. Я вдруг понял, читая тебя, что должен чувствовать хранитель заповедника при виде боя передравшихся насмерть зубров стоимостью миллион долларов каждый.

Соображаю, куда бы это здесь показать. Препятствие совершенно стихийное: бумага подорожала вдесятеро; журналы в крахе. «Литобоз» приостановлен по финансовым соображениям; второй номер не печатается, хотя готов (у меня там портрет «Столицы»), а на будущее принято решение выпускать сдвоенные номера, то есть раз в два месяца. Таким образом речь может идти о номерах, которые в лучшем случае выйдут осенью («Вопли» через месяц обещают отпечатать номера 1—12 за 1990 год!! — у них мой Андрей Белый). Вот такая у нас теперь журналистика.

Сунулся я в «Знамя», рассказал о твоих текстах, послал посмотреть. Но у них — та же ситуация: журнал не выходит, будущие номера сдваиваются. Однако взяли читать. Вопрос «до чтения»: а максимовская инвектива — опубликована? Или это его частное письмо тебе? Профит для наших прессменов не в том, чтобы взять одну сторону против другой, а в том, чтобы представить обе позиции.

Словом, буду тебя держать в курсе, а ты дай мне знать, где Емельяныч разразился. Или разразится.

Да, вот еще что: из финчасти «L'Express» пришла мне бумага насчет каких-то 2000 франков. Может, это как раз за то интервью (хотя вроде за интервью не платят?). Я на всякий случай написал им и попросил перевести эту сумму, Жора, тебе. Не откажись принять — я все равно ее не получу, а у тебя хоть не пропадет. Аналогичный гамбит я предложил и лейпцигскому «Reklam-Verlag», где, оказывается, уже третий год «пылятся» (как они меня **только что** оповестили) какие-то дойчес-марки за перепечатку моей статьи, — я тебе выслал доверенность, а им — соответствующее распоряжение. Теперь же посылаю доверенность на франки. Не сердись, что нагружаю тебя этими делами, надеюсь, они не займут много твоего времени, а то жаль, если гроши пропадут. Если же удастся их спасти — подтверди, а то ведь ни немцы, ни французы ничего мне не сообщат — занятые люди.

Посылаю тебе также вырезку из «АиФ'а», свидетельствующую о том, что твой верный Руслан бытует в народе, успешно оттыпывая лавры у Вани Чонкина.

Мы все обнимаем вас! Сегодня — пируем, мысленно — вместе с вами — чувствуем, как через таинство трапезы свершается перетекание духа. Это я — в стиле Гачева, о котором написал только что для журнала «Свободная мысль», под каковым псевдонимом продолжает существовать бывший «Коммунист».

Прочел «Маэстро» в «Стрельце» — очень крепко. Хотя есть «угол зрения», под которым высвечивается и «другая сторона» (косой свет, моя слабость). Руки чешутся написать. Сейчас мне предложили вести рубрику в «Согласии» (ежемесячник, еще, кажется, не севший на мель), может, туда. Есть еще Эхо в «ДН». Ну, посмотрим.

Оно, конечно, тут — «жизнь», да уж больно крутит. И дури много. Талантлив народ, но дурен без меры. Страшно тут, но и уехать невозможно. Уважения ни в ком ни к кому ни на понюх, просто даже понятия такого нет, одна декорация, а вот любви и ненависти — пудами.

Обнимаю вас. Пишите!

Дорогой Лев Александрович!

Сегодня, 4 марта, пришло Ваше письмо от 24 января. Вы спрашиваете, получили ли мы письмо. Если от 1 января, то по-

лучили, и об этом я пишу в записочке, приложенной к пакету, где лекарство для Шуры, там же открытка от Жоры и его статья.

Если лекарство подошло Шуре, то еще вышло, и, наверное, нужны витамины?

Всех обнимаю. *Наталья.*

«Письмо от 24 января» (если Наталья не путает), видимо, было написано от руки (на случайно сохранившейся бумаге мадридского отеля?) — копии у меня не сохранилось; нижеследующая открытка Владимирова — явно ответ на письмо, посланное 28 февраля:

Дорогой Лева, твое письмецо из мадридского отеля «Pintor-Goya» меня и порадовало, и удивило. Порадовало, что тебе понравился «Маэстро», и ты даже захотел на него посветить «косым светом», но странно, что ты его прочитал в «Стрельце» — а «Сельская молодежь» на что (№№ 6—7 за 1989 г.)? Недаром тут бродили параша, что Попцов из своего журнала устроил могилу для неизвестных солдат, и тираж 1,4 миллиона — фикция. Они набирали и «Руслана», но «Гриша» (Бакланов. — *Л.А.*) с его малость гангстерским характером, его захватил себе. Слава Богу, что Сашок Глезер (у которого я — член редколлегии вместе с узурпатором свободы Звиадом Гамсахурдиа) это тиснул, а так бы и не прочитала Россия мой ернический, писанный летом 1982 года между двумя обысками рассказ.

Что до твоего лейпцигского гонорара в марках, то есть два варианта — можно его переслать тебе с оказией, а можно в банк положить на проценты, чего твоя издательская фирма не догадалась сделать (то есть догадалась, конечно, но процент берет себе). Все-таки я не теряю надежды вытащить вас в Германию, несмотря на подскочившую дороговизну билетов. Жить есть где, но надо бы еще и заработать — в «Р.М.», где тебя готовы расцеловать, и на «Свободе» в Мюнхене, где Малинкович жаждет тебя «переговорить». Как только твой гонорарчик придет, я тут же сообщу — сколько, и тогда будем думать.

Очень волнуемся, читая ваши мрачные газеты, ходим в сумеречном сознании — как вы только там живы?

Держитесь!

Обнимаю, кланяюсь. *Твой Жора.*

**ЕСЛИ МОЖНО МАКСИМОВУ,
ТО ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ПРОХАНОВУ?**

12 марта 1992 г. Эшборн, итальянское кафе.

Ах, Лев Александрович, Лев Александрович, плохо Вы меня знаете, коли думаете, что выкинула газету с Вашим интервью. То есть на той я действительно поела шпроты, а потом уж прочла, но немедля попросила выслать еще экземпляр. Высылаю.

Сегодня напишу в «Р.М.», чтоб вставили Вас в компьютер — вдруг будут доходы... Мы думали, что Вам это неинтересно, и так прессы навалом.

Письмо Ваше от 28-го получили сегодня. Слава богу, Домашнев довел, а то вид у него «крепко пьющий»...

Малинкович Вам кланяется — его на «ширу Украину» не пускает лично Кравчук, и квартира, купленная Галей за 30 тысяч германских марок, тоже пропала: какие-то аферисты попались. Он в жутком состоянии: не так из-за квартиры, как от всего, что происходит. Кроме всего — язва...

Вернулся из Москвы Алик Гинзбург — рассказывал, как с Олей Окуджава ездил выкупать продукты на задворках склада гастронома «Новоарбатский», специально для писателей: кило вермишели, кило сахара, кило муки, 300 г масла, майонез и кусок мяса (по 60 руб. кило!), а также про злость: что «у общества злые глаза», но я смотрю телевизор и этого не вижу — несчастные, обманутые — это я вижу, но чтоб злые?

С журналами и впрямь беда, вдруг останемся без толстых журналов? И.И. Виноградов с 72-го номера становится главным редактором «Континента». С одной стороны, это, наверно, хорошо, но знает ли он, что ему придется отвечать за то хотя бы, что, по словам Вл.Ем. Максимова, Федор Абрамов лично пытал и прикончил четырнадцать «изменников родины» (см. «Континент» № 37), что многие люди погибли при содействии Михоэлса, Квитко, Маркиша (№ 45), что «Вас. Гроссман до конца жизни носил в кармане партбилет с силуэтом великого вождя» (№ 45) и вообще был конформист (№ 46). Если можно выдумывать Максимова, то почему нельзя Проханову?

Позиции могут быть различными, но нравственные критерии должны быть одинаковыми.

Что Жорина статья застряла — даже удачно, он кое-что переделает, хоть и жаль его — от прозы письма этого охломона увидят Жору.

Всех обнимаю! *Наталья.*

Как Шура, как ее язва? В это время всегда обострение бывает. От Жоры поклон, он еще работает.

ТЕЛЕ-РУСЛАН

18 марта 1992 г.

Дорогой Жора!

Пишу тебе по свежему впечатлению от телефильма «Верный Руслан», любезно доставленного мне в виде видеокассеты режиссером по имени Владимир Ильич и по фамилии Хмельницкий (в наши символические времена сочетание, не лишнее вызова).

Фильм трехчасовой, телевизионный, ритмично-свободный, как и полагается на голубом экране. Вообще моей душе ближе экран кинематографический, более плотный и резкий, но — принимаю закон жанра.

Повесть донесена с точностью, тщательностью и явной любовью. Главная съемочная удача — пес. Я поначалу даже обрадовался: моя старая идея насчет того, что правда природная, «прямая», должна превалировать над правдой человеческой, то есть «метафорической», — подтверждается. То есть не «охранник», замаскированный под пса, а именно пес! Потом на этой песской почве начали произрастать эффекты, наверное, неизбежные, но и не-владимовские. Сквозь Владимова стал просвечивать Сетон-Томпсон, сквозь Руслана — Лесси (не помню, при вас или уже после вашего отъезда на нашем ТВ шел популярный сериал о такой умной доброй собачке-колли). Вкупе с этим зооэффектом выперли прелестные пейзажи... Одним словом, стало проступать нечто умиротворенно-подкупающее, в чем потерялась жесткость, подспудная неразрешимость твоей темы и ощущение лагеря как образа жизни.

Тут лагерь — эпизод, воспоминание, контроверза жизни. А у тебя — петля на самой жизни, ее изначальный смертный абсурд, и верность долгу — неизбежная гибель души. Абсурд жесточайший. А тут — из абсурда выход есть: некая вольная жизнь «на природе», и пророк ее — Инструктор.

Баталов читает текст от автора в спокойной округлой манере, давая тексту дышать, давая ему звучать свободно и вкусно. В тексте проступает «русская проза», но ослабляется чисто владимовская внутренняя жесткость, то самое железо долга, которое и держит, и душит разом.

Кое-где фильм все-таки входит в связь с этой жесткой правдой. Сильно сделана сцена расстрела убийцы, и хорошо эта сцена срифмована с финальным выстрелом в Руслана (пес там, в это последнее перед выстрелом мгновение, снят потрясающе). Этим бы и кончить, так нет, по законам ТВ надо еще и песню; песня современная, крутая, на фоне рапидом снятых собачьих гонок звучит красиво; но рядом — сусально — церковь (по нынешним законам массовых зрелищ убиенного надо же еще и отпеть); церковь смотрится роскошно и глупо вяжется с ситуацией 50-х годов, да еще и фонограмма, где «святой бессмэ-эртный» произносят с такой неподдельно украинской певучестью и так не-сибирски, что сразу хочется обратно в атеизм.

Еще из слабостей — сцена полива: общие и средние планы статичны; тут ждешь резких крупностей, мощных деталей; а на экране — какая-то «репетиция»; ждешь мороза, и чтоб пер пар из орущих глоток, а на экране «оттепель» и водичка.

Но это я — отсчитывая от повести. Все ж картина в общем трогает; в ней есть одно качество, вынесенное из повести и переданное на экране: чистота. Бездна пропала, затянулась, резкость сгладилась и затуманилась, а чистота — есть.

Я думаю, что картина будет смотреться. Шура, сидя рядом со мной, смотрела все три часа. И люди, у которых мы крутили видеоролик, попросили его оставить на «посмотр». Тоже признак.

Еще немного о делах.

Твоя антимаксида у Оли Мартыненко. Что до нашего журнала, то он в безденежье и безбумажье приостановлен. Если оживем, то не ранее, чем через полгода. Номера будут выходить сдвоенные, то есть уполовиненные. Если Оля текст не опубликует быстро, я тогда попробую его дать в «Лит.обоз.» (если тот, повторяю, оживет), — но надобен для этого текст Максимова, а где он и есть ли он, совершенно непонятно ни из твоего письма, ни из статьи. Дай знать.

Получилось твое заказное письмо, где ты пишешь насчет тех марок и франков, которые могут получиться от моих статей. Ты их, главное, получи, а насчет того, чтобы положить их на мое имя, не знаю, как это там делается. У меня уже «лежало» и пропало преотличнейше: и кроны в Праге пропали в 1968 году, и фунты

в Лондоне в 1989-м: банки же тоже и «лопаются» или как это там «у них» называется, и сроки выплат ограничены.

Насчет приехать и потратить — в ближайшее обозримое время это вряд ли реально; без Шуры я не поеду, а цены такие, что двоих не поднять.

И тут мне те деньги тоже не светят — ни получить, ни потратить: из письма вынут на почте, и не дойдут, а если официально переводить, так уполовинят официально.

Словом, моя к тебе просьба: чтобы эти деньги не сгнули, получи их и потрать. Или дай Наталье, она потратит. Поверь, я не держу и тени мысли о каком-то возмещении того, во что обошлись вам с нею прилетевшие сюда к нам «мегабомбы», ни в ту, ни в эту сторону это не измеришь никакими суммами, а вложенные труды и заботы, и отношение — я и так чувствую, но именно поэтому без всяких счетов возьми и потрать. Если согласен сделать так, как мне хочется, как мне будет внутренне по сердцу, — то поступи именно так, как я прошу.

Ну, вот, вроде все дела и новости.

Вчера все ждали «штурма Зимнего», но, кажется, у Ромма получилось убедительнее.

Обнимаю вас с Натальей.

ЧТО НА БАРОМЕТРЕ?

20 марта 1992 г.

Дорогой Лева,

спешу тебя уведомить, что звонил Малинкович и просил привлечь тебя к его программам — «Барометр» и «После империи». Первую ты слышал, и вроде бы она тебе по душе. Практически это бы выглядело так, что он бы тебе звонил заранее (ему предпочтительней утром в субботу) и справлялся, о чем бы ты хотел 15 минут поговорить и когда будешь готов к записи. Инициатива и темы — твои, а он будет тебя расспрашивать, местами возражать и вообще «подыгрывать». Платят за такую беседу 250 «дэмэ», что, наверное, поболее твоей зарплаты. Ну, и надо же, чтоб тебя 60 миллионов слушали — сначала каждый месяц, а как выдвинешься в прима-балерины (я надеюсь, очень скоро), то и раз в неделю. Предлагают это далеко не каждому, был у них Чупринин, просился — не допросился, а вот тебя хотят. Только он просит, Малинкович, учитывать, что

это эфир, и на вопросы отвечать выстрелами одиночными, а не очередями, как ты любишь, и тон желателен как раз не соглашательский, а задорно-боевой.

Я попутно выскажу надежду, что ты не будешь настаивать, будто в наше время заводские цеха все уменьшаются, а микросхемы собирают пинцетами. Все наоборот, цеха увеличиваются, поскольку в них размещают чуть не километровые автоматические линии и сборочные конвейеры, а также строят «Боинги», «Русланы» и стеклопластиковые суда; микросхемы же изготавливают в «сверхчистых» цехах, без участия рук и похмельного дыхания, так что станок со всеми приспособлениями, обеспечивающими эту «сверхчистоту» — и точность, — не влезет в комнату, где писалось насчет пинцетиков. Ну, это я из ехидства, перенятого у Саши Архангельского, а вообще твоё интервью в «Р.М.» очень даже значительно (хоть и грустно читать о твоём «отступничестве»), и я оттуда тоже имею заказ — чтобы в дальнейшем твои выступления сделались не редкостью.

Теперь — как распорядиться этой СКВ? Можно её оставлять на станции, где ты сразу получишь, когда они тебе устроят приглашение в Мюнхен и на радостях встречи ещё дадут заработать марок 800 или 1000. Можно переводить мне, а я бы эти деньги клал в банк на проценты (не очень большие — 3,5 % годовых) или — третий вариант — пересылал бы тебе с оказиями (с тем же Домашневым, который есть не мой псевдоним, а бизнесмен, организующий здесь какое-то СП по защите «ноосферы» — убиться мне, если я знаю, что это такое). Но «надежных человек» надо искать и передавать с ними понемножку, чтобы не ввергать надежного в соблазн. Кстати, мы так и не знаем, отдали тебе вторую такую же картинку или где-то запропастилась. (Картинки — дойчмарки; это «тайнопись». — Л.А.)

Я думаю, лучший вариант — чтоб хранилось на станции, но куда СКВ ещё в перспективе, хотелось бы знать о твоём согласии (или несогласии), которое можно мне сообщить, а можно напрямую Малинковичу:

Dr Wladimir Malinkovitsch. George Mauerer-Weg 11, 8000 Munchen 50.

Памятя слова одной нашей приятельницы: «Сплетня — лучший подарок», — расскажу тебе про Матусевича, некогда искорёжившего у тебя статью (чего ты не простил ему!), а меня — отлучившего от микрофона за обращение к нему по поводу Т. Щербины

(в виде статьи напечатано в «Р.М.», а затем в «Столице»). Так вот, недруг наш имел глупость обозвать печатно или эфирно своего недруга, некоего Тельникова, то ли фашистом, то ли расистом. Правда и то, и другое, но недруг его обиделся и подал в суд на возмещение ущерба его чести и достоинству. На днях высшая инстанция британского королевского суда постановила взыскать с нашего недруга в пользу его недруга 100.000 (сто тысяч) фунтов стерлингов, а в пользу короны — еще 250.000 фунтов судебных издержек. В переводе этой СКВ в доллары выходит 600.000. А где ж их взять? — как пел Галич. А вот где — наложен арест на виллу нашего недруга, стоимостью в 1 млн марок, вроде бы должно хватить. Интересно, что бы платил его недруг, если бы проиграл? — виллы у него нет, пришлось бы сесть в тюрьму и оттуда выплачивать, глотая слезы обиды. Наш недруг ходит по станции очень молчаливый и наружно спокойный (хороши здесь транквилизаторы), а вся станция справляет именины сердца — такую внушил он любовь своим подчиненным.

Ты, конечно, не радуешься, ну, а мне — чего греха таить — приятно. И какие же еще радости у нас по нынешнему времени? Кому-нибудь в рыло захватить или же кто другой ему заедет — вот и на душе отрада!

Естественно, вспомнил про Максимова, зубра № 2 стоимостью в 1 млн долларов (правда, Наташа считает, что я стою все 2 млн., а он ничего не стоит, ну и я, конечно, против жены не попру). Я делаю новый вариант, в связи с его же сообщением мне, что на «Континент» приходит с 72-го номера Игорь Виноградов, — стало быть, мне из редколлегии вроде и незачем выходить. Так что в «Знамени» пускай отложат пока или же тебе отдадут. Конечно, лучше было бы дождаться, когда Емельяныч разразится (тем более, что он уже знает о статье, он все и всегда наперед знает!), но, думаю, этого недолго ждать.

Тебе показалось, что я в статье «А напоследок...» обошелся с дамами не по-джентльменски? Это верно в отношении Беллы Ахмадулиной, чью строчку я по причине предстарческого склероза приписал Марине Цветаевой. Впрочем, не Куняеву же приписано, а великому поэту, так что отчасти извинительно. Что же до Аллы Николаевны и ейной «подкулачницы» Беляевой-Конеген, так они же у нас амазонки свирепые — значит, от своего пола отрекаются. С Натальей Ивановой я бы, конечно, так не обошелся, поскольку у Бондаренко вычитал, что такие, как она, «реализуют свои жен-

ские комплексы». Вот как хорошо сказал человек! Не беспольные реализуют, не чуже- и не двое-польные, а именно свои женские!

Но, между прочим, с «Напоследком» вышло так, что начинала Наталия Кузнецова, блестящий критик наш, и — не справилась или же ей что-то расхотелось дружить, а поскольку статью в «Р.М.» очень ждали, то пришлось заканчивать мне. Я, конечно, прошелся «рукой мастера», много там перелопатил, но кое-какие разработки Н. Кузнецовой все же использовал, а с ними проникли в текст женские хромосомы. За всем не уследишь. Так что ты верно почувствовал некое двоевластие — то ли в стиле, то ли в отношении к оппонентам. Самое смешное, что Емельяныча не я задираю, а она, я просто по лени этого не выбросил — за что и пролилась на меня чаша его ярости, и пришлось отругиваться в другой статье.

Твои сетования насчет бумажного кризиса принимаю тем ближе к сердцу, что уже больше года лежит в «ПИКе» моя рукопись — три повестушки и кое-какая критика и публицистика, никак не превращающиеся в книгу. Спрашивал по моей просьбе Гладиллин, когда был в Москве, — говорят, что нет бумаги и нет типографии. Ты не мог бы узнать у Жоры Садовникова, есть ли какое движение? Или — пускай тебе отдадут, а дальше будем думать, что с этим делать. Потому что есть какой-то интерес ко мне у кооператива «Текст», и бумага у них как будто имеется, так я бы к ним крючок закинул.

Вырезку из «АиФа», свидетельствующую, что «Руслан» бытует в народе, оттыпывая лавры у «Чонкина», мы, к сожалению, не нашли — может быть, вынул интересующийся товарищ из расформированного ведомства, а может быть, ты забыл вложить. Доверенность же твоя — пришла, но, кажется, и не понадобится: достаточно твоего письма-поручения в то издательство или журнал, чтоб они перевели твои гонорары туда-то и тому-то чеком. А вот подпись твоя заверенная — нужна в таком письме, если у тебя раньше не было с ними переписки и они твоей руки не знают, не с чем сравнить. Но вот о чем я думаю — не лучше ли, чтоб франки эти остались в «Экспрессе», ведь не поставил же ты крест на Париже, а там они очень даже понадобятся. При переводе немецкий банк слерет, к тому же, свое за операцию и на конвертации ты потеряешь, а франк в Париже, как говорят французы, это франк! То же — и с лейпцигским «Реклам-Ферлагом» — если будешь в Мюнхене, они тебе туда вышлют по телефонному звонку.

И вообще, не очень вы там переживайте по поводу наших трудностей с «гуманитарной помощью», мы рады узнать, что все дошло

по назначению, а главная трудность у нас — «средство доставки», т. е. «надежный человек». А таковых можно лишь среди тех найти, кто рассчитывает еще раз в наших краях побывать.

Наташа очень тебе благодарна за высокую оценку, очень смущена, а вообще — пребывает в депрессии: в довершение к тем нашим потерям, о которых сообщалось в Шурином письме, пришла весть о кончине ее подруги, еще со студенчества, и тоже от рака. Умерла еще в начале декабря в Берлине. Бедные наивные «эсэнгэвцы» (или, по написанию здешнему, «гузовцы»), кто вам всем внушил, что в Германии лучшие медики, нежели в нашем отечестве? Ведь все приезжают только умирать — что, разумеется, вполне достижимо и в России. Даже больше скажу — в России, бывает, что и вылечивают, как было с Солженицыным. Какими-то народными средствами пользуют, вроде вытяжки из березового гриба — чаги, ну а здешние эскулапы — исключительно по «науке», поэтому гроб гарантируется уверенно.

Наташа снимает с меня самообвинение в предстарческом склерозе и принимает его на себя, поскольку это она придумала название для статьи и указала источник. Опять же — не иду супротив любимья жены. А еще она просит сообщить возраст внуков, так как тут много можно раздобыть очень задешево детской одежды-обувки. Стесняться не нужно, ибо вы сейчас держава великая, но — бедствующая.

Наши приветы и поклоны Шуру и девочкам. Постарайтесь, как в армии говорят, «усилиться» и выстоять.

Обнимаю. *Твой Г. Владимов.*

Наташа:

Дорогой Лев Александрович!

Хочу Вас проинформировать: «бывший дантист, укравший золото», что фигурирует в «Колонках» В.Е. Максимова, — это и есть наш друг Малинкович. Правда, он дантистом никогда не был (он военный врач) и золота никогда не имел, разве что кольцо обручальное, и то — у жены. Но редактор «Континента», уже давно пишущий «блоками», болеет то ли генеральской дурью, то ли — и впрямь — предстарческим склерозом, так что пора ему уступить дорогу молодому Виноградову.

Еще хочу сказать, что жить в Мюнхене можно у Али Федосевой, у нее 3-комнатная в центре, и живет она одна, в разводе с мистером Федосеевым после 39 лет брака. Если Шура не при-

едет, пусть не волнуется — никакой опасности мадам для нее не представляет.

У Малинковичей тоже можно поселиться, но там тесно. Чтоб Вы не поехали «на красный свет», скажу, что Малинкович с Федосеевой не сочетаются, а я с ними обоими сочетаюсь.

Прочла в «Знамени» статью Натальи Ивановой — прав, увы, Золотусский... Я, в отличие от Жоры, не ее поклонница.

Желаю Вам, Шуре и девочкам всего самого лучшего. Обнимаю и женскую половину целую. *Наталья.*

P.S. Пришлите фото девочек.

ПИНЦЕТИКИ И ПНЕВМОМОЛОТЫ

5 апреля 1992 г.

Дорогой Жора!

Письма получены: сначала твое Шуре и Натальино мне, очень теплые, теперь твое большое мне, очень важное, за каковые спасибо! Добавлю также сразу, на твой вопрос: картинки тоже дошли, обе: одна через Коган-Ржевскую, другая через Домашнева, за которые тоже спасибо, впрочем, о получении я уже сигнализировал.

Наверное, ты уже получил и мою депешу о фильме Хмельницкого; видеокопия фильма лежит у меня в ожидании оказии, а предназначается тебе от автора.

С упоением ношу сумку, в которой была доставлена последняя мегабомба (Канчуков, миллионер, увидев, сразу сделал стойку: «Откуда у вас такая сумка?!» Ну, да! так я ему и сказал!). Хорошо еще, второпях не вернул сумку тому парню от Домашнева, что мегабомбу привез, — я сначала подумал: возвратная тара (а он стоит, лыбится и как бы ждет, то ли когда я опорожню и верну, то ли вообще ждет, пока я угомонюсь от ахов-охов), хорошо, Шура вышла и сказала, что, мол, не твое дело головку от ракеты-носителя отделять, а прилетает это все вместе. Вот теперь ношу сумку, благословляю тебя и вспоминаю анекдот про тачки, тот самый, который любил всем рассказывать Емельяныч, когда еще обретался в столице бывшего СССР.

А как мы теперь называемся? Судя по твоим конвертам: GUS? Ничего не скажешь, хо-рош ГУС.

Ну, ладно, теперь о деле. Раз ты мне дал санкцию, то я позвонил в «Текст» редактуру, у которой делал статьи к однотомникам Ба-

шевиса-Зингера и Юриса, и сказал, что в ПИКе у Садовникова имеется твой сборник, что ты готов вести переговоры (а они у меня про тебя как-то спрашивали: когда приедешь?) и что я готов быть составителем, редактором, автором вступ-статьи, комментария и проч. Им надо не менее 15 листов, так что тремя повестями тут не отделаешься. Сейчас они думают над моим сообщением; по мере поступления от них сигналов, я тебе дам знать.

Вышел мартовский номер «ДН», где мы соседствуем с В.Д. Малинковичем. Посылаю. Может, передашь ему, когда прочтете (если охота будет читать)? А то не знаю, достанет ли он журнал.

Насчет предложения Малинковича: оно лестно. Но у меня, в отличие от Сережи Чупринина, есть сомнения на мой счет. «Барометр»-то я слушаю, и «После империи» тоже, но именно поэтому я знаю их (то есть станции) общий стиль агрессивный и суд скорый, но я-то так не могу. Говоря твоими словами: они снайперы, а я и впрямь трещу очередями когда и как охота; они вспарывают «реальность», а я ее знать не хочу: расставил руки — и парю; они боевики, а я соглашатель, утешитель, мечтатель и т. д.

Так что ни о каком прочном сотрудничестве не может быть и речи: я все время буду чувствовать, что не совпадаю с их ожиданиями, и платят мне не за дело, а из «хорошего отношения», — от такой ситуации можно застрелиться. Другое дело, если В. Д. сам появится на нашем горизонте — в диалог с ним я вступил бы не задумываясь, но никаких гарантий, что это будет в их стиле, дать не могу. Так что если бы мы договорились, то лишь о пробном шаре, после которого может последовать, а может и не последовать (с их стороны) продолжение.

Да и программу не вдруг сообразишь в нынешней ситуации паралича привычной печати. Единственное, что я сейчас «вижу»: это просмотр русскоязычной прессы бывших советских республик (ну, вроде «Литвы литературной», «Зари Востока», «Немана») — теперь такое чтение у нас называется: «отслеживание» — и там возможны какие-то сцепы с моим совершенно свободным настроением. А настроение мое В.Д. знает: я человек «имперский». Чем глубже входят в грызню народы, тем важнее для интеллигенции — сохранять общие узы. Называй их хоть «имперскими», хоть «общечеловеческими», хоть «всемирно-историческими». Пока плаха лежала, только и делал, что искал щели для дыхания, а теперь — шиш. Теперь все рассыпалось — дыши не хочу! — не хочу дышать этой пылью. Хочу «крепить связи».

Насчет пыли — это, извиняюсь, из Саши Проханова: они нас до состояния пыли перетрут, до пудры! И он прав. Перетрут.

Так хоть камешком в эту машину.

Жора, мне неловко писать В.Д. напрямую: он ведь мне еще ничего официально не предложил. Может, ты ему неофициально объяснишь мои сомнения? Он должен сознавать, что я — не тот человек, который будет решать их задачи. А мои симпатии к нему — неизменны.

То, что ты пишешь мне насчет пинцетиков и похмельного дыхания, — не ехидство в духе Саши Архангельского, а очень существенное мне возражение. Должен признать, что я плохо чувствую общую в этом смысле ситуацию и, конечно, глубоко провинциален в своих надеждах на «миниатюризацию». Я, видно, просто не осведомлен насчет мировых тенденций, и километровые автоматические линии, а также «Русланы» из пластика, о которых ты пишешь мне (а ты по Русланам главный спец), — находятся за пределами моей интуиции. Я-то исхожу из чего? Самое жуткое — это наши российские толпы, орущие, агрессивные, — вот их бы растащить. Похмельное дыхание у нас так и эдак смердит, — так пусть уж смердит при «пинцетике», чем при пневмомолоте. Может, в малых масштабах протрезвеем, наконец? Все это, впрочем, мои интеллигентские мечтания, и ты здорово их вывернул.

Общим разумом чувствую, что должно быть какое-то спасение, но как впорешься в эту нашу реальность... так уж от нее — расставил руки и — паришь... «Реальность»? Я не знаю, где сейчас реальность. На улицах **не пройти**: везде торгуют, стоят стеной, предлагают **все**: от губной помады до деталей станков, от кроссовок до пакетов молока, от автоответчиков до домашнего варенья. Первое потрясение: оказывается, в нашей стране **все это есть!** Где оно лежало? И как его теперь покупать, когда не сообразишь, где что искать, а сообразив, не протолкнешься! А протолкнувшись, не сообразишь, нормальна ли цена и не хотят ли всучить пустой кожух вместо автоответчика и денатурат вместо водки.

И в чем еще сюрреализм: торговля эта тотальная идет прямо на улице, под дождем, под солнцем, под колесами машин, на парапетах, на перилах, на подоконниках, а выстроенные для торговли помещения — пусты: или заперты, или зияют порожними полками при озлобленных бездельничающих продавцах. Значит, девять десятых должны разориться, а оставшиеся должны купить те помещения, так я понимаю?

Надеюсь, вырезку про Руслана (Имрановича) ты получил? Я ее хотел вложить в первое письмо, да Шура воспротивилась: мол, подумают, что в конверте купюра; а на почте, говорят, при подозрении на купюру письмо вскрывают, купюру берут, а все остальное — в расход как **свидетельство**. Не знаю, так ли это, но страха ради иудейски вырезку мы извлекли, и я сунул ее в Шурино письмо, которое она написала только через неделю (ибо крутится между тремя работами, тремя дочерьми и двумя внуками). А возраст их такой: Марье 35 (ты ее помнишь девочкой; как-то мы у нас в ее присутствии пили с тобой «гвардейскую смесь», и я был хорош, как GUS). Катерине 22 (медичка, четвертый курс, одна научная публикация); Настасье 18 (архитектурный, первый курс, первый проект: Дворец Дожей (!) — сейчас сидит чертит). Внукам Сане и Ане десять и три с полтиной.

Но, надеюсь, вы с Натальей их всех увидите воочию. Пора бы уже и посетить наши палестины.

Обнимаю! Л. А.

ЕЩЕ О БАРОМЕТРЕ

2 мая 1992 г.

Милые друзья! Душевное вам спасибо за посылку, которую доставил нам обязательнейший человек Юрий Диков. Отдаем должное чутью и практической хозяйской сметке (очевидно, более Наташиной, чем, Жора, твоей) — все очень, очень кстати. Шура напишет об этом детальнее и с большим знанием дела, а я скажу как человек «едящий»: особо спасительны сейчас всякие приправы-присыпки; лежат они долго, места занимают немного; а поскольку рацион наш сейчас строится во многом на хлебе и каше, — то чтобы оное единокашие скрашивать, замечательны всякие вкусовые иллюзии вроде сырно-перечно-чесочно-ванильного и прочего охмурежа. Покупаем хлеб (хоть и с нервами, с перебоями, но в конце концов покупаем) — а ощущение такое, что едим и то, и се... Словом, замечательно.

Хотел вам написать тотчас по получении посылки, но решил подождать «Литгазеты» с моим этюдом про Жорин рассказ; теперь посылаю; надеюсь, ничем не задел; а в подкрепление присутствия Г. Владимова в литературной ситуации — годится.

Теперь два слова о литературной ситуации. Я говорил с Н. Войсунской из «Текста». Их позиция такая: они хотят издать «Генерала

и его армию», а потом — готовы и однотомник. Объясняют это так: мы, говорят, **первыми** переиздали «Большую руду», и дублировать ее нам не с руки; если делать однотомник, то **новый**, а если традиционный, то есть с «Рудой» и вокруг «Руды», — то **после** «Генерала».

Я думаю так: если твой генерал увяз в авторских передислокациях вместе с армией, — то дай им новую повесть про то, как вы защищали Зошенко от Жданова. Может, вокруг нее и выстроится однотомник (если она невелика по объему)? За «Генералом» дело не станет — был бы готов. А однотомник в новом виде стоило бы предложить не откладывая. Само собой, если мои услуги понадобятся (составление, комментарий, статья) — я готов. Все-таки Владимов — самый близкий мне писатель из нашего поколения, и мои ядовитые намеки про диссидентство этого не отменяют, а даже, напротив, удостоверяют.

Господи, какой тусклый, какой тоскливый у нас перваямай! Гаснет в людях мелкая агрессивность, испаряется последний интерес к политике, и проступает то самое, что ты учуял по телерепортажам: утрюмая апатия. Чем она обернется? Что ожидает русских? Не впервой стране сжиматься до предела, но опять вечный стоит вопрос: что за сжатием? Коллапс? Распад народа, дробление его в этническую пыль, исчезновение русских с исторической арены? Счастье под другими именами? Или — чудовищное распрямление пружины? И тогда — каких жертв это будет стоить? Какой кровью будет оплачено величие? И как это вообще будет возможно — при той апатии, которая охватила всех? Вернее, при том, что сила, которая еще не иссякла в миллионах людей, оскорбленных глобальным унижением и не умеющих покаяться, — сила эта непонятно куда ударит.

Я понимаю ваше настроение: вы смотрите на нас «издалека» и мучаетесь, что без вас здесь происходит что-то важное, страшное, гибель вашего народа; у вас — ностальгия, чувство обрыва, потери, которому вы не можете помочь. А я хожу тут, среди людей, в самой гуще, и чувствую, что происходит важное, страшное, гибельное, и ничем не могу помочь, и эта ностальгия у меня — в самом нутре того, по чему ностальгия. Надо «умереть» вместе со всеми — и не готов. Остались силы, мысли, дух живой — и никому не нужно. Потерялась жизнь, в которой я имел смысл. Какая-то другая реальность вокруг. Не моя.

Что-то занесло меня опять в эмпирию: Жора будет смеяться.

Вернусь к ближним планам.

Собираю для вас прессу: кое-какие журналы, еженедельники, «Литновости». Но придется подождать, пока Диков полетит к вам по своей химической орбите. А то пакет объемистый.

А может, часть пошлю, не дожидаясь.

Вы никогда не догадаетесь, какое препятствие. На почте нет марок. Цены взвинтили вдесятеро, а марки по-прежнему печатают копеечные. Отправить бандероль — пол-Москвы исходить.

Какой, спрашиваю, выход?

«А не посылайте».

Боже, как весела наша Россия.

Обнимаю вас, милые.

Да, чуть не забыл. Владимир Дмитриевич Малинкович нагрнул в телефон давешнюю пятницу, давай, мол, в субботу запишем диалог? Я говорю: диалог — с нашим удовольствием (только вопросы наперед не обуславливать, ибо на неожиданные отвечать интереснее), но на штатное сотрудничество я, рыхлый русский разгильдяй, не способен. Ладно. В субботу позвонил, записал, а уже в понедельник — во, темпы! — на всех углах мне рассказывают, что слушали. Сколько я в те дни «Свободу» ни ловил, — так и не поймал «Барометр», прямо беда. Так и не слышал, как получилось. Но, судя по тому, что он ее прокрутил в эфире раза три (по слухам), — что-то он в этом нашел. Мне «изнутри» не очень ясно, что.

Поскольку Жора, ты меня сватал, то и докладываю.

До письма! Или, надеюсь, до встречи. Л. А.

АВТОР УДАЛЯЕТСЯ ЗА ЗАНАВЕСКУ

25 июня 1992 г.

Дорогой Жора!

Ломал я голову: «что ж молчишь ты?» Грешным делом уже подумал, не сердись ли на мой опус про «Маэстро». Утешал себя тем, что, может, ты охотишься на слонов в Южной Германии, а тут звонит Оля Мартыненко (звонит по смежному поводу: прочитать мне читательское письмо) и говорит, что вот только что говорила с тобой по телефону, и что ты мне послал два безответных письма.

Ну, раз так, то это уже по-нашему: я не получил ни одного. Тут уж, наконец-то, логика проглядывает: наша, российская, воровская. Но не полная неизвестность, наконец.

Интересно, а дошла ли моя канадско-английская книжечка, где в английском же переводе напечатана моя статья про «Руслана» и твое ко мне на сей счет письмо, опять-таки по-английски же? Или и это пропало?

Можно восполнить. Но не худо бы все-таки связь наладить.

В ожидании оной подтверждаю тебе свою любовь, передаю Наташе самый горячий привет и рад буду получить от тебя весть. Надеюсь, хорошую.

Обнимаю. *Л. А.*

13 августа 1992 г.

Дорогие Наташа и Жора!

Итак, очередная оказия: посылаю вам кассету с фильмом Хмельницкого. И не знаю, что думать: от вас по-прежнему нет вестей. Получили ли мою английскую книжку с твоим, Жора, письмом ко мне? Получили ли прессу, которую я послал с Диковым? Не могли же не получить. Не знаю, правда, дойдет ли это мое письмецо. Но отсюда, вообще-то, все доходит. Оттуда действительно не доходит: на почте ищут купюры, рвут подозрительные конверты, а письма выбрасывают. Об этом даже в газетах у нас писали. Может, вправду в этом все дело? Или у вас что-то случилось? Или обиделись за что-то, так ведь вроде бы не за что?

Я только что вернулся из отпуска: сплавился на лодке по Шлине к Вышневолоцкому озеру. Там в глубинке везде висят красные флаги, старые, выцветшие. Ору из лодки: «Это какой же державы флаг у вас, родимые, не вспомню, как называется!» Смеются: «А у нас еще СССР». Возвращаюсь: в «Известиях» статья с объяснением, отчего в Вышневолоцком районе триколоры не висят нигде более трех дней: их крадут и шьют кофточка. А старые выцветшие красные флаги — висят себе.

Никак не решу, что лучше: когда государство гибнет от встречной глобальной дури или когда гибнет от попутного здравого смысла.

В «Литобозе» пока еще зарплату дают, но печатать журнал не на что, ждем со дня на день то ли банкротства, то ли самоликвидации.

Никак не привыкну жить в новой реальности. Вроде жив, но каждое утро не могу понять, почему еще жив.

Обнимаю вас и надеюсь, что это письмо дойдет и что получится на него ответ. *Л. А.*

10 августа 1992 г.

Дорогой Лева! Сообщаю, что получил твои деньги: 100 марок из лейпцигского издательства и 712,50 со «Свободы». Не имея твоих распоряжений, думаю, что самое разумное — переправить их тебе, благо нынче не расстреливают за валюту, но — не все сразу, дабы не искушать. Вскорости будет оказия — перешлю 200, а там поищем еще какого-нибудь ангела... Нынче так худо с ними! Из твоего лаконичного приложения к английской книжечке «Гобелен культуры» (так дословно) выплыли два удручающих обстоятельства: что ты, во-первых, не получил моего письма на двух открытках в конверте (прощупал ценитель французской живописи), а во-вторых, не доставлен чемодан с кое-какими шмотками и Наташиной цидулькой Шуре. Беспредельщина одолела! Занимаются люди международным «бизнесом», а нет в них обыкновенной «вексельной честности» (она же — мафиозная). Вот почему не войдем мы в Европу, «как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек...».

На твою статью о «Маэстро» не только что не обиделся, но перечитывал с наслаждением раз 5. Или — 6. О, разумеется, она вводит Г. Владимова в сегодняшний литконтекст как нельзя лучше, хотя все в ней — наоборот.

На такое мелкое обстоятельство, как то, что писано от первого лица, вы же, критики, уже лет 70 не обращаете внимания, поэтому диссидентское злорадство (оттого, что поставили раком) **приписано автору, хотя я там удалился за занавески** и только одну фразу произношу про елочки. Ну, ладно, пусть злорадство, но — преодоленное писателем, это у тебя ясно.

Второе: папа, конечно, знает, что никакие они не уголовники, но проверяет на сыне свою «гипотезу» перед тем, как нести ее в милицию (где тоже, конечно, знают, что — гэбэшники, но — «ваше предположение, что они бандиты, обоснованно»).

Я не думаю, что у меня это невнятно, просто тебе так захотелось прочесть — тоже интересно. Равно, как и то, что ты выделил даму с погончиками, на которую я не обратил должного внимания (верно, оттого, что имел перед глазами прототип? Или — прототипку? прототипицу? Как нынче правильно?).

А самое интересное — фантазмагория, составленная из самых что ни есть реальностей! Это мое любимейшее в прозе. Как говорил Мандельштам: «Зачем выдумывать юмористику — и так все смешно». Прекрасно, что ты это выловил и донес!

Вот, в связи с Мандельштамом — вспомнил о Юре Карабчевском. Что, в самом деле — самоубийство? Нисколько в это не верится. Не тот тип души. Хотелось бы написать Свете, да мы ведь с ним, почитай, все эти лет десять были в ссоре. Все — расстрелятое КГБ!.. А что случилось с Жорой Семеновым? Случаем я напоролся на некролог (перу принадлежащий Васи Литвинова), но причина там не указана. Это уже — из нашего поколения, «четвертого», понемножку начинаем уходить.

Майское твое письмо тоже оптимизма не прибавляет. Если Аннинский себя чувствует никому не нужным («Потерялась жизнь, в которой я имел смысл»), это — почти беда. Я говорю «почти», потому что **вся** беда состоит в том, что тысячи других личностей, мелких сявок (иногда забредающих и залетающих в нашу германскую Тьмутаракань), чувствуют себя чрезвычайно необходимыми человечеству и весьма уверенно делают на нынешней ситуации свой гешефт.

Твоя постановка вопроса: «Что ожидает русских?.. Распад народа... или чудовищное распрямление пружины?» — не совсем корректна, мне кажется. Мы часто оказываемся в плену собственных ультиматумов. Или — или. Но возможно же что-то и третье? Медленное вытягивание «из всех сухожилий», как сказал поэт. Не знаю, что, не знаю, куда, но только медленное-медленное. И народ при этом — сохранится, не столь он податлив и к тому же хорошо проспиртован, чтобы не потерять драгоценных генов...

Мы действительно мучаемся тут — оттого, что **история** делается «без нас», оттого что мне изменило всегдашнее мое «счастье» — оказаться «в нужное время в нужном месте» (в 60-е годы — в и при «Новом мире», в 70-е — в диссидентуре), вот прозевал август, а мог бы приехать, был приглашен на конгресс русофобов, — но понимаем, что там бы мы, наверное, не выжили. Не та разворотливость, не тот «ЗИС» (знакомства и связи). И все же — тянет, тянет в гибельную Москву. «...И бездны мрачной на краю...»

Шуре — большой привет и благодарность за подробное, обстоятельное письмо. Обнимаю вас. *Жора.*

P.S. Наташа выражает вам свою любовь и заверяет, что между нами никогда ничего произойти не может: если нет вестей, значит, либо почта виновата, либо оказия подвела, либо еще какая накладка. Благодарит за подарки к 55-летию. С Диковым пришлет весточку. Жора.

Наташа:

Лев Александрович! Через оказию мы не рискуем послать более 200 дойчемарок. Вл.Дм. Малинкович, знающий оказию именно с этой стороны, сказал: «Не ищите».

«СИДИ И ПИШИ ТАМ»

16 августа 1992 г.

Дорогой Жора! Третьего дня отправил вам с Наташей письмо в ответ на привезенный Диковым чемоданище, а сегодня с утра, наконец-то — твое письмо, от 10 августа (там, где немецкий слон поздравляет кого-то с днем рождения — поскольку ты пишешь на открытках, то так мнемонически легче вспомнишь, что за письмо). Так что пишу вдогон, потому что хочется кое-какие затронутые тобой вещи обсудить.

Конечно, автор — одно, рассказчик — другое, а рассказчик «с фигурой» — третье. Так нас учили, и это совершенно правильно с профессиональной точки зрения. Однако, исходя из нынешней психологии (читательской прежде всего, но — и психологии критика тоже), художественный текст есть воссозданный на бумаге многомерный мир, где «все отвечают за всех». И перепады авторского присутствия тоже многомерны и в разных сценах чувствуются по-разному. Ты, конечно, можешь удалиться «за занавески», но все, что происходит по сю сторону занавесок, создал ты же...

Впрочем, что значит «ты»? Ты — как рассказчик, ты — как создатель образа рассказчика, ты — как писатель, беседующий с богом, ты — как эмпирическое лицо, попустившее в себе писателя беседовать с богом... Это все и лучится, и пестрит, как в клубке, — и так должно быть, это и есть магия художества.

Но и я, читатель, реагирую не на ту или иную «роль», не на то или иное условие твоего «я», а на **все вместе**: на твое присутствие в данном куске реальности. Ты — не можешь удалиться ни за какие занавески, потому что ты — демиург. И если папаша знает, что, конечно, «никакие они не уголовники», и в милиции знают, что они гэбэшники, — то только потому, что это ты им всем внушил, их же из самого себя создав.

Из текста выносишь ауру, а не то или иное сплетение осведомленностей, и, честно сказать, я текст беру тоже «через ауру», то есть интуитивно, а сплетения нужны — если требуется «доказать» что-

либо, и, конечно, сплошь и рядом ничего никому не докажешь. А может, и не надо. Сверхзадачу-то ты у меня уловил. Кошмар, составленный из «нормальностей». Хотя с традиционной точки зрения ты, наверное, прав.

А вот насчет того, что вовремя оказывался в нужном месте, — не прав, батенька мой, не прав! Хотя по-командирски формулируешь вполне хорошо. Но в «Новый мир» тебя вынесло талантом, чему я был очень рад, а в диссиденты — упрямством к потоку, чему я, как ты помнишь, был совсем не рад. И сейчас ничего не прибавилось бы тебе, если бы просидел ночь в обнимку с «музыкантом, которого звать Славой, фамилия Ростропович» (как он представлялся изумленным его появлением таможенникам Шереметьева), — хотя, скорее всего, тебя обцеловала бы Белла Куркова и прочие демократы. Писателя держат тексты, а не наличие в нужный момент в нужном месте. И тебя тексты держат! И будут держать... если останется на Руси читатель.

Ты абсолютно прав: нужно «медленное-медленное вытягивание». Но это значит, что ничего не решается «в данный час в данном месте». И гибельность Москвы вовсе не в том, что судьбы здесь и сейчас определяются, ничуть они не определяются, а гибельно нарастание хамства и бессилие духа в народе.

Юра-то Карабчиевский — из-за этого. Не знаю, слышал ли ты мой этюд о нем по «Свободе» (когда тридцатиднев справляли). Конечно, самоубийство — совершенно не в его образе. Если — по реальности. А если по сверхреальности, по запредельной безнадеге, — то вот и все о нем. И чего вы ссорились? Выходит, можно в ГБ вытянуть из одного какую-нибудь гадость и показать другому — и готово дело? А — **не поверить** гадостям? Даже если они и говорятся? Я ведь если не захочу — я не поверю, даже если меня носом сунут. Не поверю и очевидности. Потому что не захочу. Как это ты про меня любишь говорить: руки в стороны — и воспарил.

Жора, милый, если ты будешь здесь, ты помочь ничему не сможешь, только измучаешься, да еще втянут. Сиди там и пиши — так, может, и поможешь. Твое имя здесь — в определенных кругах еще не исчезнувших читателей — очень высоко, очень. И не только потому, что «хорошо пишешь». А потому, что в тебе кристаллическая структура. А у нас тут течет все, плавится, из сосуда в сосуд форму меняет. Мне-то легче, я лукавец. А тебя ломать начнут, упираться в тебя, и ты не отступишь. А ситуация — совсем не наша, и Россия другая, другая. Нет нашей страны. Так что сиди там, мучайся и пиши.

Умирают кругом. Грустно. Жора Семенов как-то тихо отошел, от бессилия доброты, от ненужности его хорошего русского языка и от ощущения, что никакая водка не спасает.

А которые гешефт делают — пусть.

Ну, вот, связь и восстановилась. Хотя, судя по всему, одно твое письмо (на двух открытках и, наверное, с французской картинкой?) и Наташин чемодан Шура — пропали, увы. Жаль. И пропавшего жаль, и добрых чувств, опоганенных кем-то.

Обнимаю. Л. А.

Наташенька, Вам самые лучшие чувства! От меня и от Шуры. Если приедете погостить, будем очень рады.

ОТ АВГУСТА ДО АВГУСТА

31 августа 1992 г.

Дорогие друзья!

Все про вас знаю! Ю. Диков с огро-омным чемоданом в руках явился и все нам рассказал. И про Гладилина, и про Малинковича, и про общую ситуацию. Из чего мне стало ясно, наконец-то, что дело в происках почты, а не в вашем настроении. Не ясно, правда, что из моих отправлений (почтовых) вы получили и все ли получили. Меня, собственно, волнует только моя английская книжка, где есть перевод Жориного письма и моей статьи о «Руслане». По-английски все-таки, интересно же Владимову! Через редакцию «Огонька» послал, в июле. Дошло ли? Пошлю, пожалуй, повторно, когда в сентябре Аля Федосеева поедет.

Наташенька, про содержимое чемодана Шура напишет подробнее, а я просто благодарю Вас за тепло и хлопоты. Я думаю, что все там в самую точку. Насчет марок: двести, посланные Алей (как ее отчество? неудобно как-то) с Соломоновым, — дошли благополучно. А жалеть о том, что потеряно, не приходится. Я никогда не жалею. Что пропало, то пропало. Ладно. Единственное, что я все время пытаюсь рассчитать, так это: хватит ли моих марок на билеты нам с Шурой туда-обратно. Поездом, подешевле. Как только хватит, — тогда можно и о поездке подумать: о каких-то лекциях в университете Майнца (или еще где — если захотят), о радио и прочем.

Шура с Катей (средненькой) сплавали тут до Астрахани в некоей плавучей школе, и голландцы, Шурины ученики, покоренные

ее светским обаянием, пообещали ее с Катей пригласить в Голландию на некоторое число дней. Вот тут-то и встает вопрос: а что, если мы трогаемся втроем: Шура, Катя и я — доезжаем до Франкфурта, и я остаюсь их ждать и читаю эти самые лекции (или делаю радиопередачи, впрочем, уже в Мюнхене), а присные мои едут дальше в Гаагу или куда там их пригласят, гостят себе, а на обратном пути подхватывают меня и забирают домой. Вообще говоря, план фантастический. Но ведь и тот мой план, который в 1990 году так лихо вытанцевался (Испания — Германия), был совершенно невероятен. Мы — страна чудес. На том висим.

Висим мы сейчас славно. Просто зажмурились и ждем, что дальше. К концу года хлеб будет стоить рублей 30—40 буханка, спички — червонец. Журнал наш «Литобоз» обанкротится через месяц. Гонорары платят так: звонок: «Бегом!!» — промедлишь — и «наличности» уж нет. Недавно получил в «Культуре» за две приличного объема статьи. Пошел в магазин напротив, купил 600 г сыра. Пляжу, четверти гонорара нет. Несу сыр, думаю, чего с ним делать: есть или хранить?

И при том — как-то все живут и не мрут. Страна чудес. Вчера Шуру с Катей встречал в Северном порту. Поймали такси. До дому — четыре сотни, без счетчика, естественно. Но самое интересное, что пока я стоял в столбняке, не зная, садиться или нет, моя жена спокойно вынула из кармана эти четыре сотни. Да еще и посмотрела на меня со значением: сейчас, мол, надо не в столбняке стоять, а зарабатывать и тратить. За-ра-ба-ты-вать, понятно?

В общем, если из родного журнала полечу и никуда не прилечу, моя профессорша меня прокормит.

Наташенька! Я Вам уже говорил: классика в Россию не пускать! Ни под каким видом! На неделю-другую — можно. Насовсем — упаси бог. У нас тут **кончается читатель**. Жора, ты понимаешь? Мы оголтело, через ступеньку, стремительно вываливаемся из дикости и вваливаемся в цивилизацию. Читать и думать над книгами людям больше некогда.

Это для нашего брата главное. Остальное следствия.

Иду недавно по Пушкинской площади и вижу анонс: Владимов о путче. Ищу, нахожу, читаю — густота, плотность письма отменная. Знаешь, есть такие старинные стенки, каменные, их так кладут, что ножа не всунуть. Вот у тебя такая кладка. И военная косточка чувствуется: танки в городе, скорость поворота и т. д., и темы твои, и углы обстрела выдают суворовца. И вдруг дохожу до

цитаты из моего к тебе письма о Говорухине. Мать честная! Тут понял, что ты на меня не обиделся (я-то, за все лето ни строчки от тебя не получив, думал, не кошка ли пробежала, не статейка ли моя про «Маэстро» тебя задела (я ж там, как-никак, гэбэшников все-таки жалею, а ты не жалеешь). Ну, думаю, раз так, то все в порядке. И стал читать дальше, наслаждаясь кладкой и, однако, лелея в глубине подсознания фундаментально-эмоциональное с тобой несоответствие. Или даже несогласие, о котором ты составишь представление из моего ответа на анкету «Недели», каковая тебе, наверное, на глаза не попала, а я сейчас, пользуясь компьютеризацией, постигшей мой дом, не двигаясь с этого стула, попробую тебе вставить в письмо этот текст прямо из **памяти**. Или, по-военному говоря: стрельну из «Винчестера».

Вопрос был задан такой: как мы прожили этот год от августа до августа?

Ответ:

«— Откровенно говоря, сводит мне скулы от этой формулировки. Было: «от Октября до Октября». Теперь «от Августа до Августа». Не меняемся. Только фасады перекрашиваем: флаги, гербы, названия. А суть неизменна: кач между анархией и диктатурой. И средства заемные. Рынок. «Дикий капитализм». Что до «Августа», что после.

Я что-то не припомню, чтобы в своих манифестах «путчисты» обещали построить «коммунизм» или достроить «социализм». Обещали они то самое, что и подступало: рынок. Оно и наступило. Со всем сопутствующим: с ростом цен и преступности, с падением производства и нравов. Это не следствие «путча» или его «провала». Это было бы и при «путчистах», и при «демократах». Кстати, особой человеческой разницы между ними я пока не усматриваю: одного поля ягоды, а закон в том поле один: умный бессилен, а сильный неумен. В чем же разница? «Путчисты» хотели обезопасить наступление дикого рынка с помощью государства. Так сейчас эта проблема стоит и перед «демократами».

Если ход событий фатален, и мы обречены пройти дикую стадию, расплачиваясь за нее полной мерой, — так словесное оформление вопрос второй. Зажаты ли рты и лжет официоз, или задыхается от взаимной ругани пресса и царит порноразвал культуры, — так следствие же не может перемениться раньше причины. Глубинные духовные процессы развиваются не от августа до августа. Тут только терпеть и не терять надежды.

Единственное, что реально сделалось за этот год: распалась держава. Великий народ унижен и обессилен, отпавшие части кровоточат. Я все время слышу: лучше распад, чем империя: жить станет полегче. Может быть. Но что будет с культурой? Провинциализм — он тоже полегче, чем имперские культурные амбиции? Мы сильно облегчимся на этом пути.

Разумеется, национальные расколы — не только наш удел. Везде дерутся или готовы передрасться. При моей склонности к фатализму я готов признать неизбежность и такого исхода, как «конец империи». Будем учиться жить в новой геополитической ситуации.

Но отмечать годовщины такого эпохального события, как развал и позор собственной страны? Извините».

Надо же, получилось (это я про «винчестер»). Я его все-таки побаиваюсь, компьютера.

Ну, вот, засим крепко жму ваши руки и надеюсь, что почта все-таки поймет совесть. *Л. А.*

ГОНЦЫ И ВЕСТНИКИ

27 октября 1992 г.

Милые друзья!

Александр Ильич Гинзбург появляется регулярно и надежно, чередуя от вас сообщения, как полосы у зебры: радостные и озадачивающие. Радостно было получить сто долларов, хотя я не очень понял, за что, но обставлено это было весьма официально (то есть я поставил автограф на какой-то карточке), и потому лишних вопросов не задавал, а только просил передать вам благодарность, каковую теперь от души адресую напрямую. Но затем последовал от Александра же Ильича звонок из Парижа с просьбой разъяснить Вам, Наташенька, что за сушки пришли в Нидернхаузен при отсутствии сопровождения.

История такая. Явилась тут оказия — через министершу Веру, то есть оказия солидная, и мы немедленно сочинили пакет с письмами и вложениями. Я, помню, послал новые газетки и журналы, и письмо коротенькое, а Шура — письмо большое и подробное (если пропало, жалко, потому что, в отличие от меня, она копий в памяти персонального компьютера не оставляет, а письма у нее такие, что я бы никак не воспроизвел и не пересказал). Туда же, в пакет, Шура вложила некую красивую записку (или кален-

дарь, не помню, — она сама уточнит) Вам, Наташа, в подарок. После чего мы минут десять спорили, можно ли положить еще и сушки: больно уж громоздко. Решили — по обстоятельствам, и я эти сушки взял отдельно и повез по надлежащему адресу, где очаровательная женщина взяла вынутые мной сначала письма и бумаги, после чего я, мнясь и заикаясь, спросил, нельзя ли добавить туда же и такую безделицу, как эти московские сушки, — чтоб Владимовым в Германии, значит, легче перезимовать. Любезное согласие было получено, и я ушел окрыленный, хотя и боялся все-таки, что бумаги-то дойдут, а сушки — вдруг нет?

Выходит, сушки-то и дошли — а бумаги нет.

Ну, что ж делать. Может, за это время и бумаги объявились? Хорошо бы удостовериться. А то не знаешь, что услышано, что нет.

Во всяком случае, пишем вам теперь без оказии, посылаем привет и свидетельствуем любовь.

У меня новость: из «Литобоза» я перешел в журнал «Родина». Но еще суеверно помалкиваю об этом: надо закрепиться. Денег там побольше, проблематика хорошая: историософия. Это то, что меня интересует. Деньги, впрочем, тоже интересуют — для жизни, потому что перепавшие нам марки-доллары мы здесь не трогаем — в надежде потратить их когда-нибудь там. Хорошо бы в ходе общения с вами. Но и здесь пообщаться было бы хорошо, когда приедете.

Обнимаю. Л. А.

31 января 1993 г.

Дорогие ребята!

Ваше молчание, длящееся с октября месяца, в сочетании с некоторыми вестями, которые доносятся от вас через телефонные каналы и третьи лица, — заставляет думать, что письма пропадают регулярно. Я уже смирился с мыслью, что исчезают подарки и сувениры (из того, что мы передали через знакомую Веры Индурской, дошли, как насмех, одни сушки), но что исчезают письма — это ужасно жалко.

Попробую все-таки восстановить связь и рассказать о наших буднях.

Во-первых, из «Русской мысли» мне передали марки, среди которых была сотня, посланная вами. За какую огромную спасибо. Мы тут валюту не тратим — в надежде, что когда-нибудь удастся потратить там.

Во-вторых, Оля Мартыненко передала, что у вас все в порядке, и что ты, Жора, в работе. Договорились с нею, что когда твой «Генерал» еще раз дойдет до Москвы (если первый раз считать в 41 году), я его тут встречу (не как в 41 году), о чем в «Мос-Новости» напишу. Это было бы (для меня) замечательно, потому что хочется же пообщаться не только с «Жорой» но и с Г. Владимовым.

В-третьих... звонил Малинкович из Киева, звал в гости, в новую киевскую квартиру. Здоровенек був! То ж теперь заграница! Туда ж труднее попасть, чем в какой-нибудь Мюнхен! И то сказать: в Мюнхене я чувствовал, что я русский либеральный интеллигент, а в Киев иначе как москалем-империалистом и не пустят. Страшно.

Поздравил его с возвращением и порадовался за него.

А мы тут крутимся. Стреляный, конечно, над этой крутней иронизирует (опять же из Мюнхена), но действительно крутимся. Книжки я писать отказался, а пишу колонки в пять мест... вот перечислю для бухгалтерии: в «Дружбу народов», «АиФ», «Согласие», «Родину» и «Первое сентября». Это регулярно. Нерегулярно еще куда придется. Не считая прочих программ вроде литкритики, кинокритики, театральной критики и прочего. Словом, никогда я столько и так не работал. Не знаю, откуда берутся силы.

Теперь вот телесерия на меня упала. Про слабости характера согласился, думал, это эпизод: сделать диалог с Хуциевым о XX веке как целом; сделал; пошла в эфир часовая передача; ей придумали рубрику: «Уходящая натура»; сказали: теперь нельзя прерывать. Сделал диалог с Глазуновым на фоне его картины «XX век». Вышло в эфир. Теперь требуют с шестидесятниками, с Максимовым, с Гефтером, с Карякиным... одним словом, я спекся. Говорю: давайте я к Владимову поеду в Нидернхаузен, обсужу «XX век» с ним, или его сюда выпишите! Говорят: о, какая прекрасная идея; остается спонсора найти. Программа рассчитана на год (12 часовых передач, раз в месяц); после глазуновской вроде бы на ТВ позвонили японцы и предложили свое участие (материалами и собеседниками)... так вот: если в течение года вот так же клюнут немцы, вот тогда меня пошлют к Владимову или Владимова выпишут в Москву, и мы с ним сядем перед камерой и этот самый XX век раздраконим.

А? Как бы ты на это посмотрел? Вольный разговор, в который врезают кинохронику (или вообще что-то изобразительное), плюс мой закадровый комментарий, а тема — ну, на твой

выбор: Окоп и Зона как две ключевые реальности русской истории уходящего столетия...

Наташенька, а Вы что же молчите? И Шура Вам писала, и я — нет отклика. Напишите, как жизнь и настроение.

Ждем. Любим Вас. Откликнитесь! *Л. А.*

28 февраля 1993 г.

Милые друзья Наташа и Жора!

Неутомимый Алик Гинзбург явился из парижского далека и через два дня отбывает туда же. Говорит, что свезет вам письмо. Поскольку от вас уже полгода писем нет, а телефонные приветы через Олю Мартыненко долетают, и даже газетные — через «Русскую мысль», то я понял, что письмам каюк. И пользуюсь случаем послать через Алика хоть одно, которое наверняка получите.

...От всяких полемик президентской и парламентской стонрон уже так тошнит, что ни на кого не смотришь. Уже все демократы. Ну, и что дальше?

Дальше — старость наступает. От безнадёги, тщеты и бессмыслицы.

...Жору читаю в «Московских новостях», стараюсь не пропускать. Насчет этой пьянки: кто будет музыку заказывать. Я бы так этим музыкантам и артистам сказал: а нечего ходить на ихние пьянки. Нечего угощаться на ихние деньги. А раз пошли — терпите. Да и грани четкой нет: где «они», где уже «не они». Как начнешь растаскивать, так и запутают. Потому переступаешь чаще всего. Или, как забываемо определил Г. Владимов: руки расставишь — и полетел.

Хотя как полетишь: грипп, кашель. Тоска. Старость. Никогда не чувствовал возраста. А теперь — на-ка. Обнимаю вас, ребята! Шура вам пишет отдельно, но она в больнице, а Алик не ждет. *Л. А.*

5 апреля 1993 г.

Милые друзья, писем от вас нет, но вестники появляются по-прежнему регулярно.

Обязательнейший Владимир С. Тольц, явившись в наших палестинах, позвонил, передал от вас привет и объявил, что имеет миссию посетить нас и, окинув оком разведчика нашу юдоль, доложить тебе, Жора, как мы тут прозябаем. Я думаю, мы все это устроим, то есть он найдет время и посидит у нас ве-

черок, а тебе все доложит в лучшем виде, а пока возникла возможность доложить это тебе напрямую, потому что объявился еще один вестник — отсюда туда: Юрий Павлович Диков летит в Британию и на обратном пути грозит прыгнуть десантом в Нидернхаузене. Сегодня я ему отвезу письмо. И Шура что-то собирается послать Наташе; надеюсь, не объемное, чтобы Дикова не напугать.

...Мы живем тут без памяти. В смысле, что оглянуться некогда, такая крутя. За съездом уже и не следили, отчасти по отращиванию к политике, отчасти же именно потому, что — ни секунды нет. Впервые в жизни меня лимитируют не издания (то есть «где напечатать»), а мои собственные силы (то есть что ни сделай, все «идет», и делаешь — сколько хватает сил и времени сделать). Из-за этого спешка, ошибки, опечатки, ляпы, за один я уже извинялся перед «Русской мыслью», но чувство такое, что никто ничего не замечает, ни ошибок, ни поправок, и читать уже всем некогда, и пишешь из одного упрямства.

Впрочем, читатель, кажется, опять пробуждается от обморока. Новое издательство «Старт» затеяло шеститомник Лескова, хотели от меня «вступстатью», я предложил иную структуру: статью в каждый том, и тома составить каждый со сверхзадачей; на этом поладили; на меня навалилась огромная работа (в основе-то «Лесковское ожерелье», но уйму надо дописывать), так я вот о чем: эти издатели вдруг собрали 96 тысяч заявок, остолбенели, охренели от такого спроса, а потом кинулись печатать шеститомник с такой **предпринимательской** скоростью, что первый том уже вышел (за считанные недели) и теперь гонят, как бешеные. Прямо со стола хватают тексты и — в машину. Я из-за них в совершенном клинче. Хорошо, по природе трудоголик, но ведь просто физически не успеваешь.

Ну, так я к тому, что 96 тысяч заявок — это факт. Пробуждается читатель. И графоманы зашевелились — прощупывают, нельзя ли подкинуть рукопись. Три года в столбняке все было. Оживаем вроде?

Ну, ребята, обнимаю вас! Приезжайте, подышите нашим психозом. Жить тут трудно, но подышать — хорошо! Л. А.

(Вспомнится мне это лесковское издание пять лет спустя...)

Следующее письмо от Владимова мы получили только осенью; оно не сохранилось; помню только, что там был отчет о полученных и потраченных моих марках.

Открытка:

11 мая 1993 г.

Дорогие Аннинские, спасибо вам за подарки. Возиться не стоило, но получить приятно.

Лева, не сиди на валюте, как Плюшкин с Коробочкой, трать без зазрения совести и пиши, что посуущественней (то есть к чему душа лежит).

Алик Гинзбург должен был вам привезти 140 долларов. Но еще у тебя большой запас.

Дорогая Шура, мы узнали с большой радостью, что у вас все о-кей. Наташа чуть приболела и поручила мне отписать, что мы вам обоим желаем всех благ и надеемся на неотвратимую встречу.

Ваш Г. Владимов.

ВСЕ МЫ — УХОДЯЩАЯ НАТУРА?

20 сентября 1993 г.

Милые друзья, Наташа и Жора!

Получил переданное заботами Али письмо Наташи... Кстати. Наталья Евгеньевна! Если Вы пишете Шуре «Шура», то разрешите мне просить Вас опустить отчество и в моем случае. Все ж неохота ощущать себя таким стариком. «Шура», «Жора». «Наташа» и вдруг среди них — «Лев Александрович»... Жажду обронить этот хвост.

Но это мелочи ритуала. Теперь к делу. Мы очень рады были получить от Вас вести, очень. Узнали, что наше последнее наверняка дошедшее было — от 31 января. Получили Вы его в середине марта. В мокром виде. Ну, это понятно: наша почта шесть недель поливала письмо слезами. Непонятно другое: нынешнее Ваше письмо, дошедшее непочтовыми каналами, написано... 30 марта. А сегодня — 20 сентября. Кто поливал его столько времени? И чем?

Неужели все, что мы посылали после 31 января — пропало? А было писано Вам: 28 февраля, 5 апреля... Пропало, да? Ну, в принципе-то в компьютерную эпоху ничего не пропадает, но если уж мы обречены переписываться так, что ответ приходит в другую историческую эпоху, то поневоле начнешь писать «нетленку».

Ладно. Рады каждой строчке и каждой вести, спасибо Але Федосеевой — новости по телефону передавала.

Во-первых, признателен Вам, Наташенька, за отклик по части подзарядки критических аккумуляторов. Что Ваши статьи молва приписывает Г. Владимову, — это надо принять, как принимаешь погоду. Живя о бок с Г. Владимовым и пища тексты, надо к такой стихии быть готовой. Тем более, что Г. Владимов все-таки грешит, советы дает, а иногда, как я знаю, берет стило и в текст кое-что вписывает. А поскольку «кладка» у него заметная, то люди досужие и чуткие могут усечь. Я когда-то такую экстракцию проделал — из «чистого искусства». А потом сменил экстрактор и выделил «невладимовское» — то, чего он никогда бы не смог написать. Я об этом скажу так: если досужие парижские дамы с костистыми и злыми рожами считают, что статьи «Н. Кузнецовой» написаны Г. Владимовым, значит, статьи написаны на том уровне, что их можно приписать Г. Владимову. Неплохо для Страшного Суда, сударыня!

Во-вторых, насчет текстов самого Г.В. Аля говорила, да я и сам знаю, сколько нервов он вкладывает в каждое слово. Лучше пусть энергия идет в роман, нежели в письма. Мы все это прочтем в романе. А если за роман Г. Владимова запишут в патриоты, так пусть запишуют. Я его сам туда запишу, и с ним туда же запишусь.

Третье дело — Ваш сюда переезд. Я передавал через Алю: по моим понятиям надо бы, чтобы Г. Владимов написал письмо на имя мэра Москвы Юрия Лужкова, желательнее — с тем же мастерством, с каким во время оно было им написано письмо на имя генсека Юрия Андропова. Чтобы было вокруг чего строить. А добавить «голос общественности», собрать подписи литераторов и напечатать у Оли Мартыненко — за этим дело не станет. Но нужно то, «вокруг чего». Письмо мэру.

И потом, приехать бы если не обоим, то хоть Вам бы, Наташа, сюда. Чтобы практически продвигать вопрос жилья. Имея дружескую связь с министром культуры, можно многое сократить в этих мученических хождениях. Мы-то по-человечески просто рады будем повидаться...

Когда-то я Жору отговаривал переезжать — просто потому, что жалел его: тут очень трудно жить. Физически. Вы отвыкли. Тут хамство — норма поведения. Терпишь. Крутишься. Если вернетесь, будете терпеть и крутиться. Но жизнь-то все-таки — тут!

Хотя страну не узнать. Наше поколение сходит, провожаемое проклятиями и насмешками. Лакшин, Демин, Хлопьянкина... Один за другим.

Вот и Юлиан Семенов. Третьего дня отпевали. В гробу — не узнать, так обтянуло. Андрон из Штатов прилетел — несколько слов у гроба сказать. А Никита — нет, не прилетел, отсутствовал. Михалков старший, опираясь на костыль, и всю службу заупокойную выстоял. Восемьдесят лет.

Не знаю, каковы вы были с Юлианом; Гладиллин — тот на ножах.

Командировка моя в Мюнхен для беседы с Жорой вроде бы не отменена. Получится ли? И дойдет ли это письмо?

Сдублирую, pošлю двумя попытками из разных отделений. Обнимаю Вас, дорогие. *Л. А.*

9 ноября 1993 г.

Дорогие ребята!

Неожиданно Юрий Павлович Диков стартует в Германию, и я пользуюсь случаем послать вам дружеский привет и кое-что из чтения, надеюсь, интересное (про первую мировую войну Жоре как военному писателю должно пригодиться).

Не знаю, получили ли вы давешнее мое письмо (там про похороны Юлиана Семенова)... С тех пор произошло несколько малых и один крупный бунт со стрельбой и «пожаром рейхстага», а также несколько малых и больших повышений цен. Ну, про наши бунты вы знаете не меньше нас (я слушаю и читаю Жору), а цены у нас теперь такие, что пачка соли тянет под сотню, чтобы купить на два дня хлеба, несешь тысячу, а с января пообещали такие тарифы на жилплощадь, отопление и воду, что, наверное, мыться будем раз в месяц, как в горах Южной Америки (читал у Гачева).

Есть некоторые новости и специально для вас, не сказать, чтобы хорошие, но, видимо, неизбежные. Министр культуры (собственно говоря, Женя Сидоров) дошел... не до мэра Лужкова (который запросто обещает, но не делает), а до правительства Москвы и до того, кто делает. Ответ от них отрицательный: то есть квартиру не дадут. Могут только **продать**, но это теперь такие суммы, что на одни нули вся энергия уходит, а на другие цифры духу уже не остается. Это, в общем, миллионы. Кооператив ли это, госжилье ли — все равно миллионы: все приватизируется.

Выше министра культуры я уже ничего реального в нашем секторе вообразить не могу, однако есть Литфонд, и, как выяснилось, можно арендовать дачу в Переделкине. Пожизненно. Это уже деньги более или менее приемлемые. Если состоится, потом нач-

нется эпопея с паспортами и пропиской, и там «нужно будет что-то придумывать», как сказала мне сотрудница Сидорова Нонна Скегина, но придумать вполне можно. Главное — **оказаться здесь**, а это совершенно реально, достаточно послать заявление (она говорит, что образец у вас есть). Оказавшись здесь, все проблемы можно решить практически; оставаясь там — ничего не решить.

Наташа, Жора, милые, я боюсь вам определенно посоветовать: да или нет. В этом смысле я — «данетчик», как некогда заклеил подобную позицию Г. Владимов. Я когда-то отговаривал Жору возвращаться, имея в виду совершенно ясный аспект: физическую трудность жизни здесь, от которой отвыкнув, привыкать тяжело. Мы тут действительно крутимся как черти, сводя концы. Но это не отменяет того несдвигаемого факта, что жить здесь — безумно интересно (да мне и при Брежневе было интересно), и что писателю, живущему интересами России, здесь в каком-то смысле потеплее.

Ту аксиому, что писатель, составляющий национальную гордость своей культуры (Жора, это я про тебя), должен жить в своей стране, я оставляю без обсуждения. Это не аксиома, а софизм. Писатель, живущий интересами родины, может делать свою работу и тогда, когда его тело находится в двух часах лета от родины. Ничего фатального.

Понимаешь, если вы переедете сюда и начнете тут мучиться, то мне неудобно оказаться среди тех, кто склонил вас к этому. А мучения, так сказать, гарантированы. Физические. Жить среди русских — на большого любителя. Но для меня, например, жить среди русских — единственный смысл. Другим я не нужен. А этим нужен (хотя они этого не знают и никогда не узнают). Тут дело сугубо индивидуальное.

Оставляю за скобками: что мы вас любим, что от сознания, что вы близко, нам было бы хорошо, и виделись бы сколько хочешь, а не сколько раз границу пересекли, что Г. Владимов издал бы тут все, что захотел (было бы где), что Наташа при желании могла бы печататься здесь свободно и делала бы это с блеском. Только вот жить на это теперь трудно. И читать народ у нас перестает, что есть главная для меня беда: на Западе нашего брата, как ни странно, еще читают (слависты), а под родными осинами, как ни ужасно, уже не читают (ТВ смотрят, а потом спрашивают: а кроме «Уходящей натуры», вы еще чем занимаетесь?).

Ну, будь что будет.

Поездка наша в Германию, кажется, зависит. «Свободу» трясет, им вызвать бригаду не по средствам. Ну и ладно. Придерживали мы валюту, а теперь пускаем на расход, тем более, что припирает.

Обнимаю вас. Держитесь, дорогие. Как ни решите, в любом случае можно обернуть ситуацию к лучшему — только бы души не повредить и тела, в котором душа обретается. *Л. А.*

Ноябрь 1993 г.

Дорогие Шура и Лева, только что узнали, что едет Володя Толыц, которому мы доверяем всецело.

Ю.П. Диков передал Ваши письма, А. Федосеева и подарки от Шуры (2 ноября). Спасибо огромное, яшма — просто прелесть. А вот полынь наводит на полынные размышления.

По поводу квартиры: через Вас — это не отказ. Министр культуры прекрасно знает: такие вещи сообщать нужно **официально!!!** Кто именно, персонально отказал русскому писателю-изгнаннику, которому Россия вернула гражданство — с извинениями в посольстве? До этого — передайте, пожалуйста, Сидорову — я ничего не слышала, я слепая и глухая. От Вас не скрою — этот отказ возмутил здесь многих. Имеющий квартиру в Москве Володя Войнович обещал мне свое полное содействие, он будет в России в начале следующего года, да и Наталья Солженицына через Арину Гинзбург передавала свое возмущение. Правда, в отличие от Васеньки Аксенова, попавшего в лирические воспоминания полковника КГБ Карповича, Владимов попал всего лишь в мемуары А.Д. Сахарова, и я никогда не звонила Куда Следует по поводу верстки моего супруга и отказов ему в поездках за границу. Может быть, в этом вся закавыка?

Были в Мюнхене с 1-го по 8-е ноября на литчтениях, устроенных Баварской Академией изячных исхуйств. Из людей нормальных — там был один мой Жорик, который, никому не возражая, противостоял, да так, что многие подходили потом и спрашивали: «Как же Вас могли соединить с ними вместе?» А Майя Плисецкая просто от него не отходила, но я не ревную, потому как она есть «и божество, и вдохновенье», а к ним — не ревнуют. Из кикимор (помните статью, кажется, Воровского «Пейзаж после битвы») были...

(Опускаю несколько характеристик. — *Л.А.*)

...В общем, у меня, все выступления прослушавшей, было ощущение, что это — разгар литературной лысенковщины,

только вместо Вавилова — пока великая русская литература. Но и Вавилов — будет. Об этом я Вам напишу подробнее — через Дикова, сейчас спешу.

Кстати, он забыл передать Шуре за платок медную денежку, две монетки по 10 франков. А я ужасно суеверна, придется повторить.

Помнящая и любящая Вас Наталья.

P.S. Бегу отправлять письмо Володе Тольцу — он лишь утром сообщил, что едет.

P.P.S. Мы вроде совсем помирились с Володей и Ирой Войновичами, чему я рада. Все мы — уходящая натура, кроме А. Битова, предавшего шестидесятников.

Очень хочу прочесть его роман, статью Л.А. читала в «ЛГ». Наташа.

ДЕРЖИ МАРКУ!

17 декабря 1993 г.

Дорогие ребята!

Это письмо дойдет до вас уже в Новом Году — с наступившим!

Во первых строках: В.С. Тольц аккуратнейшим образом все исполнил; марки дошли; письмо Немзеру адресата. Жоре — моя дружеская благодарность за хлопоты. Честно сказать, мне так неловко за все это, что готов просить на будущее обойтись хотя бы без письменных отчетов. Ну, в самом деле: что мне делать с этой калькуляцией, подписанной именем Владимова? Спрятать от будущих разгребателей моего архива? Как они будут этот владимовский отчет читать? В какой том собрания сочинений сунут? Стыд мой. Жора, прошу тебя, делай все хотя бы с меньшей пунктуальностью: я все равно не помню, где у меня там что прошло на свободе (на «Свободе»); здесь я не на те деньги живу, и держу их единственно на тот вариант, если поеду в Германию, а поеду непременно с Шурой, — вот: ее оплатить.

Во вторых строках: звонили из Красноярска, из издательства «Протеск»: там хотят издать «Руслана»; договор перешлют через меня. Как это сделать технически, мы должны сговориться; может, через «Свободу» же, с оказией? Ежели гонорар, — тоже скажи, как быть. Открыть на твое имя счет? Переслать с оказией? Держать до встречи? И, гляди, пришлю тебе такой же финотчет!

В-третьих, виделся с министром (культуры, к другим меня не пускают). Передал возмущение общественности. Понял следующее: все, что можно сделать, делается и будет делаться, пока в конце концов не разрешится. А как? — мне, кувшинному рылу, не понять.

Понял, впрочем, что Лужков все «дает», то есть «дает добро»; но, кроме «добра», в нашей новой реальности появились такие вещи, как стоимость. Реально это выглядит так: когда лужковское «добро» спускается на районный уровень, местная власть выставляет цену. «Миллионов сорок» (услышав сумму, я, честно говоря, пошатнулся). У Лужкова ни денег нет, ни площади. При социализме все было. А теперь нет. «Так что не хрена было рушить социализм». На такой довод остается только бляеть.

Нонна Скегина еще раз сказала мне: надо брать Переделкино: это шанс, и совершенно реальный.

Наташенька, какой рельефный портрет нынешней российской словесности Вы прислали! У меня чувства сходные, хотя не такие резкие. Потому что я могу от них от всех дистанцироваться: Россия велика, отвернулся, и бог с ними. Не мешают.

Мне, честно говоря, и Жириновский не мешает, хотя интеллигенция кругом в страхе и трепете. Я его по ТВ наблюдал в предвыборную неделю. Это действительно оратор и игрок. Все, что он обещает, — блеф, и он это знает, и все, кто его слушает, это знают. Но он единственный, кто говорит русским об их унижении! Нашему импульсивному народу этого достаточно: за ним идут. Да и я думаю: почему о нашем унижении мне должен говорить «Шут»? Потому что умники об этом молчат. Умники велят быть счастливым при инфляции и развале государства. Делают они при этом все, что могут, для предотвращения развала (могут, увы, не много). И Жириновский будет делать то же самое, что они (что бы он при этом ни обещал). И тоже сможет не много.

Тут, однако, и начинается русская стилистика. Слушают юридического, который выкрикивает ту правду, которую серьезные люди произнести стесняются. Россия-мать.

Теперь передаю стило Шуре, которая говорила с Мариной Георгиевной. По голосу мне Марина Георгиевна очень понравилась.

Обнимаю вас, мои дорогие. *Ваш Л. А.*

(Марина Георгиевна — та самая двухмесячная девочка, которая в 1961 году пищала в соседней комнате владимовской квар-

тирки на «Пионерской», а мы сидели за столом, вели литературный разговор, и Лариса Исарова время от времени отбегала успокоить дочь. После разрыва родителей дочь выросла с матерью и узнала, кто ее отец, вот уже теперь. Мы с женой помогали им найти друг друга. Я чувствовал себя, почти как Игорь Кваша в телепередаче «Жди меня»).

Из следующего владимовского письма я убираю столбики цифр: от простого финотчета его отличает только юмор, ради которого и привожу:

Дорогой Лева,

пользуясь оказией, пересылаю через любезного Володю Тельца 200 нем. марок и финотчет, каковой по причине рэкета не отваживался доверить почте... Доллары США для великого русского критика считались по курсу 1,5 марки за штуку... Документацию Алик Гинзбург все никак не перешлет мне, но клянется, что она у него в ажуре.

С передачей нынешних 200-т марок еще остается у меня твоих <...>

Какие будут распоряжения, прошу передать через того же любезного В. Тольца, вполне заслужившего нашу благодарность.

Привет и поклон Шуре и дочкам. Обо всем остальном напишет лучший критик русского Зарубежья Н. Кузнецова. Обнимаю — твой Г. Владимов.

1 декабря 1993 г. (59-я годовщина злодейского убийства С.М. Кирова).

28 февраля 1994 г.

Дорогой Лев Александрович, подсчитала я количество марок на Вашей бандероли и пришла в ужас — почти 2500 рублей! Это же сумасшествие! Всегда можно передать через отделение «Свободы» по ул. Медведева на имя Тольца или через Ал. Глезера...

Марине Георгиевне письмо переслано через «Знамя», и опять нет ответа.

Целую Шуру и кланяюсь Вам. *Ваша (лишь Ваша) Наталья.*

20 марта 1994 г.

Милые Наташа и Жора!

Очень рады вашим открыткам: они шли месяц и пришли дружно.

Наташенька, хочу Вас успокоить: те тысячи, что наклеены на почтовых конвертах, — это совсем не те тысячи, к которым Вы привыкли в московские времена. 2500 рублей сегодня — это старых два с полтиной. Завтра они будут весить еще меньше.

Жора, прости, что я не подтвердил «правильность отчета»: все там абсолютно правильно. Но рад буду и сам отчитаться, когда мне пришлют деньги за твоего «Генерала». Что мне сделать с ними? Если они тебя будут «просто ждать», то при нынешней инфляции изрядно скукожатся, а это было бы обидно. Может, мне обменять их на валюту: на доллары или марки — это добро не скукоживается. Или так: я тебе сообщу, какая сумма, а ты там с моих марок скинь такую же, то есть потрать. Потому что жалко кидать все это инфляции под хвост.

Рад, что ты слышал меня по «Свободе». Я уж, правда, несколько потерял нить, что именно там когда шло, потому что сам себя в эфире не ловил и не слышал, а записал пару или тройку этюдов здесь, на Медведева, 13, и они отослали; что и как Аля Федосеева пускала в свет, не фиксировал. Судя по всему, тебе попала передача о «нанайских мальчиках». Если так, то отвечаю твоей украинской половинке, которая «не искрит». То, что твои родители произвели тебя на свет в Харькове, не более важно, наверное, чем то, что моя матушка разрешилась в Ростове, угодив туда на каникулы. Другое дело, если бы ты чувствовал себя человеком украинской культуры и ментальности. А то ведь русский!

Русский, но не Жириновский, как теперь говорят в ГУСландии.

Если фотографии в моей книжке* вызвали у тебя приступ ностальгии, то этого совершенно достаточно: вот оно и «искрит». Боюсь только, что текст тебя разочарует: издание как бы мемориальное: тексту четверть века. Его писал тридцатипятилетний либерал, а сейчас я шестидесятилетний консерватор. Как и полагается по логике возраста. С тоской жду «юбилея» (7 апреля). Не хочется стареть. Никогда не чувствовал возраста, и вдруг теперь скорее от ума, чем от чувств усвоил: я старик? Пытаюсь им быть и не умею. Хорошо еще, что при нынешней гонке просто нет времени на ностальгию. А то бы совсем захандрил.

Шуре несколько человек сообщили, что у Наташи по радио прошла цитата из ее письма: «мы не живем, а только существу-

* «Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не ставший историей».

ем». Я изумился, как Шура могла написать такое; вот уж в ком замечательная стойкость и здравомыслие: то есть даже в самом отчаянном положении — умение не просто существовать, а именно жить, находить смысл жизни. Меня всегда это в ней поражало, может быть, оттого, что сам я куда менее стоек и легко скисаю. Так что цитата, слава богу, не отражает ее состояния. Может, это и впрямь интриги А.Ф., следы коих попали в наши письма. Если так, то я постараюсь, чтобы больше никаких таких следов не было.

Милые друзья, рады будем и весточке от вас, и, еще более, повидать вас. Или тут, в Москве, а может, и там, на Западе. В июле у меня по букеровским делам кратковременный вояж в Лондон; на обратном пути попробую сделать остановку во Франкфурте на сутки-двое. Англичане мою дорогу оплачивают, а Шуру я возьму на свои. Кто знает, может, это вообще последняя возможность взглянуть на Германию.

Но вас мы надеемся увидеть раньше, и здесь.

Здесь нестойко, но весело. И вообще, после того, как моя жена нагнала на вас страху, скажу так: не бойтесь! Я совершенно уверен, Жора, что ты здесь задействуешься на всю катушку. И с ходу.

Ну, ждем. Обнимаем вас. Л. А.

27 марта 1994 г.

Дорогой Жора!

Наконец-то я имею возможность ответить тебе в жанре фанотчета и с удовольствием это делаю: третьего дня получился на мое имя перевод из Красноярска — «авторский гонорар Владимова Г.Н. за книгу «Верный Руслан». Из квитка видно, что начислено тебе 150 000 рублей, а к выплате (то ли после удержания налога, то ли после вычета оплаты почтового перевода: там написано «п/ст») установлено 136 364 руб.

Оные 136 364 я получил и стал думать, что с ними делать. Тратить, как ты советуешь, неохота; поскольку ты мои аналогичные советы отверг, то поймешь меня. Положить, чтобы лежали, — не улежат, потому что курс рубля штопором идет вниз, и от этих 136... через два месяца останется ...364. Посему я решил немедленно обменять их на дойчские марки, которые, во-первых, крепче доллара, а во-вторых, тебе в случае чего и в Германии послужат, когда возьмешь. А лучше — если тут у меня их возьмешь и тут потратишь.

Итак, по курсу конца марта эта сумма составляет 130 марок, и они лежат у меня в кубышке вместе с квитком и тебя ожидают.

Если будут от тебя распоряжения, с готовностью все сделаю. Пиши! А пока шлю тебе сей отчет и жду (мы с Шурой ждем) от вас писем.

Обнимаем вас!

P.S. Только что позвонил Тольц, прибывший в Москву. Передал от тебя привет и вопрос: почему я не отвечаю на твои письма?

Да как же не отвечаю?! Неделю назад пошло письмо! Или опять почта шутит? Будем с ней бороться с помощью учета и контроля; отправлено вам письмо 20 марта.

Ждем вестей! Л. А.

29 апреля 1994 г.

Дорогие ребята!

Открыточка Жорина дошла; надеюсь, Наташин палец выздоровел и по-прежнему находится на спусковом крючке.

Насчет радиопередачи: я вообще уверен, что там было все правильно и хорошо; думаю, что моя прекрасная половина разволновалась просто с непривычки.

У нас уточняются летние планы, и подтверждено, что по букеровским делам я буду в Лондоне 19 июля. Есть возможность взять Шуру. Есть также возможность на обратном пути оформить в авиабилетах остановку во Франкфурте на день-другой. Нечего и говорить, что хотелось бы повидаться. Но можете ли вы? Удобно ли это, не нарушит ли ваших планов? Дайте знать, и если это можно, то так и спланируем. Очевидно, это будет в районе 21—25 июля.

Из Красноярска больше не было ничего. Если надо, я отдержу корректуру. Или перешлю тебе, но это сроки.

Обнимаем! *Аннинские.*

Британский совет не подвел: летом мы с женой оказались в Лондоне — на целых два дня — и на обратном пути (на сей раз я уже не чувствовал себя авантюристом) сделали остановку во Франкфурте-на-Майне.

Владимовы встретили нас у выхода из аэропорта, и мы прогостили у них два замечательных дня, после чего отправились в Мюнхен и еще два дня прогостили — на радиостанции «Сво-

бода», у Али Федосеевой и Сергея Юрьенена, коих автором я стал с подачи тех же Владимовых.

Наконец-то они свозили нас в Висбаден и показали дом, где Достоевский просаживал свои гонорары. Поводили по окрестностям Нидернхаузена, и Наташечка демонстрировала нам полуручное зверье, водившееся в рощах. С Владимовым мы гуляли вокруг их «небоскреба», и он рассказывал мне о своей ленинградской юности, об аресте матери и как он поспевал: и носить ей передачи, и бегать в спортивные секции. Жены наши в это время стряпали, потом хозяйка кричала из окна: «Кушать подано!», Жора отвечал: «Идем, Ташечка!», — и мы разворачивались к лифту.

Наташа, как мне показалось, нервничала, словно прислушивалась к боли.

— Что болит?

— Пальчик, — и она со смехом показывала пустяковый порез.

Переписка после нашего возвращения в Москву восстановилась не сразу, и восстановилась не в прежнем формате: я продолжал писать письма, а Владимов все чаще отвечал телефонными звонками. К тому же и содержание отношений сдвинулось с проблем глобальных на прикладные. Мы обсуждали компьютерные дела (я уже обзавелся, Владимов присматривался), и переписка временами начинала походить на диалог «юзеров», то есть пользователей компьютера. Кроме того, я следил за владимовскими публикациями в России, получал его гонорары (весьма скромные) и раздавал его долги (почти равные гонорарам). А еще — сидел пару раз в многочасовых очередях за получением смотровых ордеров: Владимов сделал меня своим официальным представителем в жилищном вопросе. Он все еще надеялся получить квартиру в Москве взамен потерянной при отъезде (той самой, около метро «Пионерская»), а ему предлагали новую квартиру **купить**, потому что за утраченную он получил стоимость пая в тогдашнем кооперативном размере (можно представить себе, во что превратился пай 1983 года к 1993-му: никто же ничего не индексировал).

Однажды нас с женой попросили уговорить Владимовых согласиться взять дачу в Переделкине; Нонна Скегина вызвала нас в Министерство культуры, вызвонила Нидернхаузен, говорили жены: Наталья от Переделкина отказалась наотрез.

Годы спустя, уже после получения Премии Букера и окончательного утверждения в современной российской словесности, Владимов на Переделкино согласился. Наташечка уже не могла возразить.

Поскольку переписка наша в эти годы потеряла регулярность, объемность и глубину, — я кое-где ограничусь выдержками из писем...

«НЕУЖТО ОЧНУЛИСЬ?»

21 сентября 1994 г.

Два месяца прошло со времени нашего у вас гостеванья, дорогие ребята, а все живо помнится, хотя за два эти месяца полно всякого набежало — и отпуск мой (поход на Волгу), и поездка в Кустанай (дискуссия о евразийстве в новеньком казахском Пен-Центре — у Юрьенена даже что-то прошло в эфир на эту тему).

Не писал я, потому что ждал некоторых конкретных результатов, Жора, по твоим просьбам и теперь могу, наконец, отчитаться.

Для начала — о красноярской книге. Ты там в славной компании: в обществе Джека Лондона и Израйля Меттера, — «псиное трио». Но: наш мальчик лучше всех, то есть на обложке — твой Руслан, и на титуле тоже. Мне прислали для тебя десять экземпляров, и они лежат — ждут okazji. Такой пакет не с каждым передашь: тяжел. Один экземпляр я отправил на имя Сережи Юрьенена с Эммой Шимчук и Вернером Чоппе, моими университетскими старыми друзьями. Еще девять — лежат. Ждут. Может, переслать опять-таки через Сергея — «Свобода» имеет в Мюнхене что-то вроде фельдьегерской связи, но это надо с Сергеем сначала согласовать. Я думаю, он не откажет. Кстати, приняли они (Сережа и Эсперанца) нас с Шурой в Мюнхене очень сердечно.

...Прошу тебя все же подтвердить, что посланное дошло.

Обнимаю. Наташеньке — нежнейший привет. И от Шуры тоже.

30 октября 1994 г.

Дорогой Лева!

...Насчет красноярской книжицы, где я по рейтингу опережаю Джека Лондона с Израилем Меттером, я ею поигрался

в Мюнхене и подарил Юрьенену. А вторая, вкупе с посылочкой, о которой сообщала Шура, еще и по сей день ждет нас в отеле в Маннгайме, пока там была эта тетка из «Искусства кино», мы вылеживали свой грипп и так и не выбрались подъехать. Ужо доберемся — Наташа тогда напишет о своих впечатлениях, а покуда шлет вам обоим нежнейшие приветы и поклоны.

Я опять же выступил в российской прессе, в № 8 «Знамени», с как бы продолжением «Генерала», почитайте. И, коли услышите какие вопли и сопли по этому поводу, отпиши мне, Лева. При этом вся ответственность — на мне, «знаменосцы» не поправили ни слова, только две опечатки я нашел. Что у вас там делается, куда цензура смотрит! Ведь этот текст на всем говенном Западе (по крайней мере — эмигрантском) нельзя было напечатать, станция «Свобода» его зарубила, о вольной «Русской мысли» и заикаться не будем, Россия сегодня — самая свободная страна! Но — это же не может длиться до бесконечности!..

В надежде, что на наш век этого хватит, обнимаю Шуру и тебя. Целуй семью! *Твой Г. Владимов.*

16 ноября 1994 г.

Дорогой Жора,

ну, я едва взглянул на конверт — все понял! На таком громко-струйном принтере мне еще никто адреса не надписывал. И кириллица — дай боже. Неужто та самая, что я прислал?

Спасибо тебе за отчет о твоих борениях со сканером. Я тоже тут подумал-подумал и решил, что пока не потяну это дело. Мне основной капитал менять сейчас и не по деньгам, и не по настроению. Тем более, что потом «эта зараза» (я имею в виду ОСИ, то есть Очень Каверзный Рекогносцировщик) будет дымить и ничего не прочтет. У нас в «Дружбе народов» стоит такой: здоровый, белый. Мне однажды понадобилось перепечатать статью 1988 года. Статья старая; файла нет. Дай, думаю, наберут со сканера. Приношу им книгу, где эта статья тиснута крупно и ясно. Положили, прижали — запыхтел, и — ни черта (ни чОрта, прошу прощения). Говорят: а зато он может сделать графическую копию. На кой чОрт мне графическая копия, мне — файл!

Так что отложим это дело до тех времен, когда твоя спешпроставка хотя бы Максимова в «Правде» разберет. Но ты вообще-то должен был бы сначала ей предложить Новодворскую в «Столице». Или Минкина в «Московском комсомольце» (они, кстати,

переругались и друг друга в радиопередаче объявили предателями демократии). А я подумал твоими словами: нигде нет сейчас такой свободы писать, молотить и орать что угодно, как у нас в России.

До бесконечности это длиться, конечно, не может. Но вряд ли будет удушено новыми держимордами. Во-первых, при насыщенности общества «Матадорами» и «Ксероксами» удушить все это крапивное семя довольно-таки физически трудно. А, во-вторых, и не нужно: есть надежда, что сдохнет само: читать людям и сейчас некогда, и должно стать еще более некогда. Журналы влчат жалкое существование. Подписка журнальная фактически сошла на нет. Розница тоже. Есть только рассылка по каким-то узким спискам и продажа прямо в редакциях. Как во времена толстовского «Посредника»: графинечка, подобрав юбки, бежит через двор на склад и дает ходакам по копеечной брошпоре с текстами его сиятельства.

Впрочем, русские — читатели непредсказуемые, и логики тут искать не приходится. Недавно «Литгазета» объявила поэтический вечер. Все смеялись и пожимали плечами: кто же сейчас тратит время на такие глупости! А как раз из Штатов приехал Евтушенко и взвинтил всех в редакции: давайте, мол, бросим ключ к поэтам, и толпы придут слушать стихи. Ну, давай, организуй, если охота. И он закрутил это дело: сняли киноконцертный зал «Октябрьский», разослали приглашения всем сущим от Окуджавы до Иртеньева и от Матвеевой до Искренко. Билеты поначалу впахивали с мольбой; чтоб хоть родные-близкие пришли в пустой зал. Потом вдруг билеты исчезли. А потом гигантский зал оказался набит так, что стояли в проходах, и поэты заливались соловьями, и длилось все это под завязку, то есть под закрытие метро. Я просто рот раскрыл: неужто очнулись? Воистину наша самая свободная страна — самая непредсказуемая.

Теперь самое интересное (для меня, а может, и для тебя): я читал твой очерк в «Знамени» с неослабевающим интересом и сочувствием. Сочувствие — в том смысле, что и для меня власовцы — и не герои, и не злодеи, а попавшие в смертельный переплет люди. Ты это чувствуешь и показываешь. Со всем возможным тактом. Из твоих рук я и это принимаю.

Только в одном месте шевельнулось что-то вроде сомнения: там, где ты взвешиваешь нашу **возможную реакцию** на планы Гудериана сепаратно замирился с Западом против нас и против Гитлера. Мы бы вряд ли это стерпели. Хоть Отечественная война и осталась «позади», но страшное чувство мести так владело людьми,

и вал уже так мощно был разогнан и катился на Запад, что никто у нас не рискнул бы, наверное, пожелать народу такого замирения. И народ бы не остановился — попер бы «добивать зверя в берлоге». У меня, во всяком случае, такие воспоминания о тогдашнем состоянии умов и душ. Может, ошибаюсь.

Что у тебя просто поразительно — так это пластика действия. Сквозь все рассуждения «за» и «против». Вроде бы — статья, логика. Но факты так расставлены, что создается совершенно осязаемая драматургия реальности. Прага, Конев, восстание, дивизия Буняченко... «Вкатилась... выкатилась...» тогдашний Смирковский... (В ту же пору тогдашний Луиджи Лонго приказывает: добить Клару Петаччи). И психологически, и драматургически ты это майское дело 1945 года выправивал по металлу. И чехам правильно выместил, хотя и дипломатично. Я бы и покруче им отвалил.

Теперь такая новость, нас с тобой касающаяся. Позвонил московский литагент Станислава Лема и, насколько я понял (говорила с ним Шура и мне передала), сказал следующее: прочел Лем мою статью о «Генерале» (в «Новом мире», видимо) и понял, что Генерала, а также и его армию надо переводить на польский язык. Вообще, что Лем меня прочел, — дело вполне вероятное: я когда-то (в 1969, что ли, году) отрецензировал его «Высокий замок» в «Вопросах философии». И забыл (маленькая рецензия была, в конце номера). А когда попал в Америку двадцать лет спустя, мне показали высказывания Лема о критиках. И там было сказано, что о «Высоком замке» хорошо написали двое: австрияк такой-то и еще «один умный русский». Я понял, что это я, и одурел от счастья. Все-таки приятно, когда тебя, дурака, называют умным, да еще тебя, еврея, называют русским. Пана Станислава я никогда не видел (только читал и даже издавал немного в «ДН»), но такой привет было приятно получить. По праву половина его причитается тебе: прими.

Ну, вроде бы все новости.

Как здоровья ваши? Мы с Шурой малость запаниковали, когда Лена Стишова (наша однокашница по университету, теперь она в «Искусстве кино») сказала, что вы с Натальей в немобильном состоянии. Письмо твое успокоило: грипп дело привычное. Хорошо, если посылка в Маннгайме не пропала, а то обидно; вторая попытка срывается.

Надеюсь, теперь вы оба в форме.

Обнимаю обоих. Шура присоединяется. Л. А.

БИТВА ВОКРУГ «ГЕНЕРАЛА»

12 февраля 1995 г.

Дорогой Жора!

Во первых строках своего письма поздравляю тебя с «Триумфом» и надеюсь, что он не помешает тебе получить в наступившем году также и «Букера». Следил за процедурой с помощью радио и жалел, что ты не приехал, как обещал, в январе, за этим самым «Триумфом». Из-за сердца? Но в мае — получится?

Во вторых строках посылаю тебе наклейки на клавиатуру. Их два месяца не было в продаже (что означало: жди подорожания); теперь появились на три тысячи дороже (не пугайся: три тысячи — это старых копеек шестьдесят).

Ну, а в-третьх, я, как ты, может быть, знаешь из непрерывных реклам в «Литгазете», участвую в так наз. Гум-Академии, где, помимо «лекций» (кавычу, потому что это скорее этюды и импровизации, чем лекции), веду семинар эссеистов. Мы там упражняемся насчет живых и мраморных классиков. Ты — в числе живых, о чем было прочитано и обсуждено три «доклада», то есть три эссе. Одно я тебе посылаю, чтобы ты знал, как воспринимает тебя следующее за нами поколение.

Живем невесело; сплошная Чечня по телу. О душе не говорю: застыла от безнадежности и невменяемости. Работа — как наркотик: только бы не остановиться.

Попадались ли тебе «Московские новости» № 66? — Там я откликаюсь на твой «Суд-приговор». Я не видел: куда-то номер пропал, пока ездили в Малеевку, а за новым никак не соберусь: Оля Мартыненко обещала дать.

Наташенька, самый теплый привет Вам! Так и вижу Вас с пакетиком в руке — когда Вы нам покупали на дорогу всякие ветчины в лавке по пути во Франкфурт.

До чего же яркая была поездка.

До чего же быстро все проходит.

Обнимаю, мои дорогие. Шура присоединяется. Надемся на встречу.

Ваш Л. А.

14 октября 1995 г.

Дорогой Жора!

На стр. 58 прилагаемого журнала ты найдешь подтверждение того, сколь живо продолжается в Москве обсуждение твоего

«Генерала», — богомоловская статья явно дала этому делу, выражаясь в стиле последнего генсека, новый импульс.

Осенняя Букер-тусовка, вставившая тебя в «шорт-лист», показала, что пока (я суеверен) все в порядке, и шансы твои на Букера остаются непоколебленными. Тем более, что «шорт-лист» усок вдвое, и, кроме тебя, там не осталось имен значительных. Конечно, Рассадин малый капризный, но жюри у него сугубо провладимовское (или антибогомоловское, если учесть, что Анджей Дравич был автором единственной сильной статьи **против** «Августа сорок четвертого»); Наталья Евгеньевна (Горбаневская) Наталье Евгеньевне (Кузнецовой) дурного не сделает, Саша Чудаков уже в твою пользу высказывался, в Фазиль скорее всего присоединится к большинству.

Все эти (и подобные) расчеты, конечно, унизительны; вещь живет своим дыханием и от премий не зависит; но хочется, чтобы тебе перепало некоторое количество денег; кроме того, был бы прекрасный повод у вас с Наташей смотаться в Москву.

Насколько я понимаю, вопрос о капитальном переезде застрял — после того, как Нонна Скегина попросила нас с Шурой озвучить их с Сидоровым предложения? Не расстраивайся: если холодная война не возобновится, то связи будут множиться, и в этом случае «где проживать» — не очень важно; важно — где печататься и куда ездить на книжные ярмарки и читательские конференции. Если же холодная война возобновится (зимние выборы будут, наверное, за коммунистами, и возможно все, хотя — я предполагаю, что коммунисты, если придут к власти, будут делать не то, что хотят и обещают, а то, что нужно и возможно, как и жириновцы), — так если все-таки похолодает, то лучше быть — физически — там. А душою вы все равно тут.

Тут — мы как-то уж привыкли крутиться и решаем не столько глобальные проблемы (умирает или не умирает Россия и т. д.), а — крутимся. И это лучшая база для решения глобальных проблем. По моим интуитивным (то есть чисто звериным) впечатлениям, нижняя критическая точка пройдена, и если чеченский нарыв не отравит весь организм, — будем здороветь. На некоторое время, до следующего срыва. Срыв, конечно, дело нормальное, особенно если учесть, что живем на миру, а мир безумеет по кругу: не одно, так другое к нам залетит.

Да, в продолжение нашего спора (ну, не спора — обмена) насчет всемогущества твоего антигероя Светлоокова: недавно

я говорил с одним архивистом, имеющим доступ к секретам ГБ; говорит: из документов времен войны видно колоссальное превышение численности завербованных доносителей над численностью реально доносивших; люди поневоле поддавались вербовке, а потом отлынивали; сексоты же вербовкой «отчитывались», в том числе и липовой: вербовали побольше, не заботясь о том, будет ли от этого что реальное; так этот снежный ком, эта туфта, этот самоохмуреж ширился до умопомрачительных размеров, ибо самообман шел доверху.

Так что показав вербовочный раж майора Светлоокова, писатель Владимов, вряд ли знакомый с архивами ГБ и статистикой информаторов, проявил все то же самое звериное чутье.

В довершение разговора он мне говорит: Толстой, как проверено, в «Войне и мире» иногда ошибался в лычках-пуговичках. Потому что полагался на память очевидцев, которые все путали. Но он ни разу не ошибся в погоде. (Метеорологи-архивисты проверили. Потому что о погоде Лев Николаевич старожилов не расспрашивал, а исходил из военной реальности, которая состоялась — и могла состояться — только в такую-то и такую-то погоду. И подумай — все сошлось!)

Доставляю тебе этот материал для раздумий, а засим прощаюсь в надежде, что ты здоров и бодр.

Наташенька! Самый горячий привет Вам от меня и от Шуры! Ну, классик писем не пишет, ладно; однако Вы могли бы черкнуть нам: как жизнь, как настроение, что пишете? *Л. А.*

1 марта 1996 г.

Дорогой Лева,

получил, наконец, в Касьянов день твое послание с Norton Sottapder. Умилили твои картонные фортификации для защиты дискетки. Здесь продают специальные пухленькие конверты, но я посылал и в обычном в США, в «Бостонское время», где печатались новые главы из «Генерала». В принципе дискетка боится (кроме магнитов и всякого гнусного излучения) только удара штепелем — и то не очень. Надо ее поместить в другом углу конверта, завернуть в бумажку или в письмо так, чтоб не ерзала, а то и зафиксировать скотчем. А твоего толстяка, если б пришел из Доминиканской Республики, направили бы в полицейский спецотдел по обезвреживанию почтовых ВВ (взрывчатых веществ). К счастью, Россия и в этом отношении считается отсталой.

Обе статьи в «Независимой» попросту не на тему. У Юрия Щеглова — сплошной упрек, почему роман не о Власове. Это он позаимствовал у Климонтовича, который свою рецензию так и назвал: «Ждали про одного генерала, получили про другого». А с какого потолка это взял Климонтович? В интервью Саше Глезеру (в «Вечерней Москве») я рассказывал, откуда взялась эта легенда и сколько она мне крови попортила. Как я ни отпихивался, что во все не о Власове, все только ухмылялись: «Знаем, как вы не пишете о Власове».

Про Бабий Яр это чушь, будто все знали, что там расстреливают евреев, и Гудериан «не мог не знать», поскольку весь генералитет знал. Если бы знали генералы, то знали бы офицеры, а за ними солдаты, а там и кто-то из местных, из полицаяв и, наконец, сами евреи. Но вся штука, что работала зондер-команда, с немецким умением хранить тайну, потому как огласка «verboten» и за нее «erschossen». И евреи шли туда добровольно, им было сказано, что немцы их спасают от антисемитизма русских и украинцев.

Месяца два спустя то же повторилось в Харькове, на Тракторном заводе. 30 тысяч евреев там находились почти месяц, их навещали друзья и этнически «чистые» супруги, приносили еду, охрана была жиденская, и никто не убежал: ничего не донеслось о Бабьем Яре! Да вспомнить хотя бы про Освенцим или Трешлинку: мы не знали, покуда войска туда не вошли.

Насчет религиозности Власова путает критик веру и суеверие, которое противоположно ей. И никто в то время не опасался стука на сей счет, церкви были открыты, и батюшки проклинали «Гитлерище поганое», а офицеры и генералы бросали деньги на жертвователные подносы; главный хирург Красной Армии оперировал в халате, накинутом на рясу.

Орловский расстрел Плетнева, Бессонова, Марии Спиридоновой и еще нескольких — 11-го сентября по приговору он путает с массовым расстрелом перед бегством тюремщиков, когда были сотни трупов и «ни один из казненных не имел смертного приговора».

При любой идеосинкразии на Букера такая малограмотность все же непозволительна. Я даже возгордился, вспомнив соответствующую сентенцию из «Большой руды»: «Он (Пронякин) знал правила этикета. Если тебя упрекнули в том, в чем ты не виноват, значит, ты безупречен».

Вторая статья, Олега Давыдова, малость поинтереснее. Он пытается вывести из текста характер пишущего (как и ты иной раз), но действительно ученически. Исходя из теории «бессознательного», Кобрисов, для компенсации моей неполноценности, именно и взял бы Предславль! Я бы тогда утверждался хотя бы в тексте. Увы, характер Г. Владимирова О. Давыдов так и не постиг. При всех его (Г. Владимирова) начинаниях он не испытывает никакого внутреннего сопротивления, ибо замахивается на что-то значительное, зачастую превышающее его возможности, — никогда на Мырятин, а всегда на Предславль, но всякий раз что-то не дает ему достичь пятого горизонта: неосторожный поворот руля, вмешательство чужих интересов, неожиданный и непреодолимый барьер этический и т. п. Вот такой рок.

А с гомосексуальными наклонностями Светлоокова это уже пошла «парамоновщина». Да неужто критик всерьез думает, что майор Светлооков *видел* этот сон, который он рассказывает вербуемым в порядке теста? Ну, а если и видел, — он же рассказывает едва не с ужасом. Или теория «бессознательного» велит все понимать наоборот? А срезание веточки — это как понять? Как оскопление? Или же — самооскопление? Вот так, боясь словечко обронить, чтоб тебя в чем-то не заподозрили, и вовсе сочинять разучишься.

Словом, статьи меня позабавили, хотя и удручили интеллектуальным уровнем нынешней критики. Что делать, Лева? Я понимаю, что ты устал сражаться, аки царь Леонид при Фермопилах, но ведь «родина велит»!

Сердечный привет Шуре. Целуй семью. Наташа всем кланяется. Обнимаю. *Твой Г. Владимов.*

P.S. Наверно, потому так долго шло твое послание, что ты пишешь старый индекс 6272, а у нашего Нидернхаузена после воссоединения Германии — 65527. Г. В.

Наклонности сексота Светловидова, а также Пражское восстание и весь ход Второй мировой войны мы с Владимовым вскоре обсудили лично, причем под телезапись: Владимов прибыл в Москву, если не ошибаюсь, получать премию Букера, Наталья Приходько, руководитель моей программы «Уходящая натура», не упустила шанса: усадила нас за диалог..

...в ходе которого Владимов опять-таки упрекнул нашу армию, что в 1944-м не остановилась на советских границах, не ос-

тавила Европу западным демократам, а я мучился от того, что не могу возразить ему: разговор записывался у нас дома, я играл роль «хозяина» и — вежливо отмалчивался.

Телепередача вышла в эфир в 1997 году.

Шесть лет спустя ее повторили — уже в память о Владимове. Я вновь испытал стыд за тогдашнее мое молчание.

Но возвращаюсь к нашей переписке.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

13 марта 1996 г. — по факсу и письмом — официальная доверенность на переговоры по жилищному вопросу.

Записка:

Дорогие Шура и Лева, это в дополнение к факсу, на всякий случай. Надеюсь, выберете квартиру самую лучшую в Москве, ежели отнесетесь к этим выборам с той же серьезностью, что и к президентским.

Наташа кланяется и шлет молодежный привет.

Обнимаю. *Ваш Г. Владимов.*

БИТВА ВОКРУГ «ГЕНЕРАЛА». ПРОДОЛЖЕНИЕ

27 апреля 1996 г.

Дорогой Жора!

Посылаю тебе газету «Завтра», из которой ты увидишь, сколь серьезное место твой «Генерал» занимает в думах нашего левого крыла (по старому правого). Честно говоря, я, когда писал о романе, не предполагал, какую роль он станет играть в нынешних безумиях. То, что ты «гудерианец», уже, так сказать, аксиома. Утешение одно: это все-таки паблисити. Но — по-русски, с говнецом, как сказал бы Лесков.

Видел Щуплова, говорю: «Вы что на Владимова бревно катите дубовое? Это — ваш текст? Это вы — в таком стиле изъясняетесь: «гнушенные измышления» и т. д.?». — Он возмутился: «Я? Да разве это мой стиль? Вы что, не почувствовали, чей?»

Каюсь, не почувствовал. Теперь почувствовал. Грустно. Не верится.

Ну, ладно.

Приедете в мае? Может, к тому времени уже и телефильм наш про тебя выйдет. Вместе и посмотрим.

Наталье — нежнейший привет. Пусть не берет в голову всех этих глупостей! Перемелется — мука будет. То есть пепел от столкновений. Лучший фундамент для писателя.

Обнимаю тебя. Л. А.

19 мая 1996 г.

Дорогой Лева,

от лица службы объявляю благодарность за письмишко и газетку «Завтра».

Это упоительное чтение — вся, от корки до корки, где особняком торчит, этаким стройным кипарисом, статья некоего Аннинского, которому, видать, больше печататься негде. Но для меня, разумеется, особый интерес представило определение моей (или — твоей?) позиции: «Либеральная ненависть». Чувствую, как автор, придумавши название, хлопывает себя по плечу. Нет для него эпитета позорнее (и ненавистнее), чем «либеральный»!

Сколько мне Ланшиков мозги буравил: «Миша Лобанов! Ах, Миша Лобанов!» Ну что же Миша Лобанов? Я думал — мозговой трест правого крыла (по-новому левого), а он — жалкий плагиатор, ничего своего, переписывает Богомолова почти дословно, включая изумительную байку про командарма, которого так допек капитан из «Смерша», что он пожаловался аж самому Верховному, и все устроилось наилучше, даже повысился в звании! «Так обстояло дело в действительности с мнимым всевластием смершевцев». И ни тот, ни другой, т. е. Богомолов с Лобановым, не ображают, что ведь эта байка не опровергает, а подтверждает «мнимое всевластие»! Это, конечно, «безумие», как ты говоришь, только уже не литературное, а клиническое.

«Гудерианец» — не аксиома, а нормальная «подлянка», выражаясь слогом того же Богомолова, и совершенно в его «жанре политического доноса». Тут же, очень кстати, и язвительный критический ухор, что живу в Германии, где имеются — правильно, дети, — «бюргеры» и «пивные кружки». Равным же образом в России — морозы и медведи, все на тройках и водка из самовара...

Почитавши этих зюганцев, одно мне стало ясно — голосовать надо за Ельцина. Уж какой ни есть, а они — изначально хуже. Ну, и то приятно, что все хулители увидят, кому они единомышленники. Или, думаешь, их это не колышет?

Насчет авторства «От редакции» «Книжного обозрения» легко и сразу же догадался Чупринин: «Это, наверное, сам Богомоллов и писал». А кто ж еще мог так темпераментно — и так тепло о себе? Профессионалов из «Русской мысли» поразила «плотность рутани». А и умеет же браниться русский народ! На половине газетной полосы употреблено ругательств:

«клевета» — 7 раз,

«ложь» — 4 раза,

«поклепы» — 3,

«небылицы» — 3,

«наветы» — 3,

«измышления» — 3,

по разику — «фальсификация», «передержки», «подтасовки», «бредятина», «отсутствие совести».

Итого — 28.

Летчик Хромушин, обозвавший меня «пещерным человеком», еще подбавил: «побасенки», «дурная небыль», «абсурдность», «бред сивой кобылы» и «чушь собачья». А ведь, поди, и за Хромушина он же писал — почему бы нет?

Не кажется ли Вам, сэр, что налицо — утрата литературной квалификации? Либо — шизофрения с паранойей...

Жалкое впечатление производит это вымогание у покойного гения знаков дружелюбия и симпатии. Воротясь из Венеции с «Золотым Львом», пригласил в «Арагви» отобедать в узкой компании. Приводится список приглашенных — будто и без свидетелей я не знаю, что Андрей Арсеньевич был человек воспитанный и не мог не пригласить автора, оператора, художника. Даже, я бы сказал, старомодно воспитанный — новогодние открытки и приветы «дорогому Володе» можно не предъявлять факсимильно, не стану разубеждать. У Хемингуэя та шлюха, «пергидрольная», тоже верила, что Стэнли Кэтчел, чемпион по боксу, любил ее, ведь сказал же: «Ты славная баба, Алиса!» Но самое смешное — в «узком кругу» едва три часа высидели, пришлось — «по предложению Тарковского» — позвать Хуциева со Шпаликовым. Не тот случай, когда: «Хорошо сидим!»

В годы 1975—77 мы довольно часто общались с Тарковским, и ни разу я не слышал об его желании экранизировать «В августе сорок четвертого». Хотел — «Идиота». Может быть, соглашался написать сценарий «Августа»? Это он делал — для узбекской или таджикской студий, потому что жить надо было. И всегда это бы-

ли какие-нибудь вестерны, какие-то славные чекисты ловили (обычно в барханах) каких-нибудь басмачей с маузерами.

С читателями Богомолов встречался — в закрытом НИИ (и там рассказывал, что в войну был авиадесантником), и в ЦДЛ его видели — правда, не в ресторане, а в кинозале. И по гостям любил ходить, не такой он «анахорет». В своей статье я не утверждал, что он служил в «Смерше», — изобразить себя можно и в человеке иной профессии, даже иного пола («Эмма — это я») и не обязательно в человеке, можно в животном (мы со Львом Николаевичем). Ничего постыдного нет, что пришлось там служить. Только зачем было это ведомство героизировать? И зачем оправдываться, что беспартийность была помехой? Не помешала же закончить в 1958 году ВПШ по отделению журналистики. Это еще более странно. Как известно о Богомоллове, он избегает заполнять анкеты. Из-за этого не вступил ни в союз писателей, ни кинематографистов.

Впрочем, Бог с ним. Я могу быть доволен: ни одно мое возражение не опровергнуто. Сказано лишь с упорством маньяка, со ссылкой на безвестных «специалистов», что аргументы его «безупречны». И тот безупречен, что Власов в Московской битве не участвовал? И что рябой был и окал? Самое большое мое достижение — я его поставил в положение оправдывающегося. Я оправдываю, он — оправдывается. И в газетке Проханова тоже подарок мне: долгое время мы думали, что он единомышленник Тарковского. Оказалось — единомышленник Лобанова.

Другое худо: что поле битвы вокруг «Генерала» осталось за ними. Как всегда. Последнее слово — почему-то они говорят. Неужто из-за Букера перемена позиции? Что же, лучше было не получить? Или в самом деле нет у нас критики? Вместо нее — Курицын-сын, «малолетка», и мать-наставница Латынина? Есть, правда, Лев Аннинский — только что же он может один? В таком случае — открой шампанского бутылку да перечти «Женитьбу Фигаро».

А еще, если сохранилась у тебя «Литературка», где Алла Николаевна обзирает февральское «Знамя» и что-то Бакланов говорит про меня теплое, не откажи прислать. И узнай все же у Щуплова, будут они платить за мое «письмо» или нет.

В мае, как видишь, не вышло приехать. Наталья что-то приболела, проходит обследование, оставить ее и на день не могу.

Обнимаю тебя.

Шуре букерианский привет.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

30 декабря 1996 г.

Дорогие друзья, с Новым Годом!

Пишу в надежде, что письмо поспеет хотя бы к старому Новому Году, а не в феврале, когда пора будет поздравлять Жору с личным юбилеем.

Есть, однако, новости: воскресла и объявилась наконец муниципальная служба Москвы, та, что с концами исчезла весной. Меня предупредили: будет ремонт, реорганизация и прочее. Их телефон закозлил наглухо. Я было стал собирать тебе, Жора, бюллетени стоимости квартир, но без выяснения оных цен с ними, т. е. муниципалами, сообщать не решался. Теперь, поскольку они прорезались, посылаю вырезки для предварительной ориентации.

Сейчас я отбуду в Малеевку до 20 января, а там вернусь и отправлюсь в муниципалитет на прием, а ты за это время прикинь свои возможности и подготовь позиции.

На всякий случай сообщаю новый телефон и имя новой чиновницы в муниципалитете, которая получила от Беляковой твое дело: 229—77—97 — Галина Сергеевна Мовисоколян (во как).

Будьте здоровы, активны и успешны оба в Новом Году!

Видел последнюю «Литгазету» старого года? На вопрос о самом значительном событии в литературе Чупринин ответил: то, что Владимов прислал в Россию дискету с «Генералом». Во как!

Обнимаем вас. *Шура — Лева.*

27 января, 1997 г.

Дорогой Жора!

Муниципальная служба, очнувшаяся от очередной перестройки, как я уже тебе писал, заработала с новой силой. Тебе предлагается (за деньги) трехкомнатная квартира площадью 64,1 кв. м по адресу Большая Переяславская ул., дом 15. Квартира № 96 — в середине длинного многосекционного девятиэтажного дома на верхнем (девятом) этаже. Рядом со входом — лаз на чердак. Дом — панельный, вибропрокатный, 60-х годов застройки — почти точная копия нашего, что на улице Удальцова. Этот стоит вдоль Переяславской улицы. Улица довольно большая, но сравнительно тихая, потому что параллельно идет проспект Мира, куда вся выхлопная мерзость отсосана.

Десять минут хорошего хода от метро «Рижская», от Рижского вокзала, Рижского базара и храма иконы св. Богородицы, что близ путепровода. Но ходит и троллейбус — 5—7 минут.

Со смотровым ордером в руках я туда явился. На звонок мне никто не открыл. В муниципалитете мне объяснили, что делать в этом случае: звонить выше или ниже этажом. Выше было некуда, и я пошел вниз «по столбу». Естественно, мне нигде не открыли. Женские голоса отвечали, что не понимают, чего мне надо, мужские же, все понимая, посылали прямо к е. матери. Что вполне понятно, потому что по квартирам таким образом ходят только наводчики и бандиты, и никто в Москве сейчас дверей незнакомым просителям не открывает.

Ладно. Я устроил засаду около лифта и отловил бабушку-старожилку, которая про эти квартиры «знает все». Выяснил следующее. Квартира 96 имеет прихожую метров 7—8, из нее коридор с дверями: направо — в две комнаты окнами на улицу и в кухню, налево — еще в одну комнату окном на двор. Двор зеленый и тихий, про улицу я сказал. Все комнаты несмежные. Маленькая скошенная лоджия — из той комнаты, что на улицу. Санузел — раздельный. Кухня маленькая — 5,5 м. Решай и сообщай: да или нет.

Я пока что сообщаю муниципалитету: «да». Потому что если «да», они начнут выяснять стоимость. Ориентировочно: от десяти миллионов рублей. После чего ты это дело покупаешь, если у тебя в паспорте есть российское гражданство.

Я говорю в муниципалитете, что ты согласен, по следующей причине. Ответ надо дать в течение двух дней. Если «нет», они немедленно эту квартиру передают другому заявителю. А мне (то есть тебе) предлагают очередной смотровой ордер, и все начинается сначала. А если «да», то потом можно и передумать.

Помимо этого конкретного варианта — в зависимости от твоих финансовых возможностей — сориентируйся стратегически. Может, сразу просить двухкомнатную? Она, естественно, дешевле.

Еще для ориентации: все новостройки дороже. А «за выездом» — дешевле. Та, про которую я тебе написал, — «за выездом», дешевая.

Жду указаний.

Надеюсь, ты в порядке. И Наталья тоже, надеюсь. Самые теплые приветы ей и тебе от нас с Шурой!

«БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА»

Больше я по квартирам не ходил. Ждал «указаний».

Через некоторое время Жора позвонил мне и сказал, что они передумали: трехкомнатная квартира не понадобится. Может быть, двухкомнатная... Сказал, что Наташа нездорова.

Потом позвонил и сказал, что Наташа в больнице на обследовании. Что надо будет остановиться на однокомнатной.

Потом позвонил еще раз. Я не узнал его голоса. Он сказал: «Ташечка...» и, как я думал, закашлялся. Вдруг я понял, что он пытается остановить рыдания. «Не сдерживайся!» — закричал я. Он отключился.

Наташу схоронили в Висбадене.

Довольно скоро он позвонил и сказал, что хочет собрать ее статьи и издать, а меня просит написать предисловие. Я попросил биографическую канву. Он ответил... все письмо не привожу: слишком больно.

А о Наташе:

Родилась 26 мая 1937-го в Ленинграде, в 41-м эвакуировалась в Омск, вернулась в 44-м, 45—55 гг. — школа, потом факультет журналистики МГУ (в связи с переводом отца в Москву), окончила в 60-ом. Работала в журналах «Советская эстрада и цирк» и «Огонек», писала небольшие очерки для АПН и репризы для цирка. Замужем была как будто три раза (я никогда не уточнял): за Марком Эрмлером, Владимиром Симоновым и Леонидом Енгибаровым. В октябре 1964-го познакомилась с брандахлыстом Ж. Владимовым, жить вместе стали с 6-го марта 1965-го и прожили в любви и согласии 32 года (без восьми дней). Участвовала в правозащитном движении, хотя формально ни в какую группу не входила, но выполняла многие тайные поручения (и довольно опасные), дважды пережила обыски, несколько допросов — по делам З. Крахмальниковой и Л. Бородина. Выехала в эмиграцию 26 мая (в день своего рождения) 1983-его. Литературной критикой прежде не занималась, первая рецензия — в моих «Гранях», затем был двухлетний перерыв — тянула журнал в должности ответственного секретаря, под псевдонимом Денисьева. В июне 86-го уволена энтээсовцами вместе со мной, после чего занялась критикой всерьез. В 1996-м почувствовала равнодушие к писанию и к славе — поди, уже серьезно была больна. Умерла от рака пече-

ни 26 февраля сего года, в 10 утра, в госпитале св. Иосифа, Висбаден. Похоронена в Оберносбах, в 2 км от нашего дома. Остальное — найдешь в ее писаниях, она много вкладывала личного.

Обнимаю тебя. Привет и поцелуй Шуре.

Берегите друг друга!

Вступительную статью я написал. Книга вышла:

Наталья Кузнецова. Что с нами происходит? Литературная критика, публицистика, выступления по радио. М.: «Текст», 1998.

На портрете Наташа — как и в жизни — красавица. Только грустная.

Статьи ее, которые я читал и оценивал в вырезках, — все там.

ПЯТОЕ КОЛЕСО

Не помню уже, кто позвонил мне: издатель Гольдман или редактор Дворецкая. Задумано собрание сочинений Владимова в четырех томах, мне предлагают написать вступительную статью.

Я мгновенно согласился, но попросил расшифровать состав каждого тома: в ходе разговора я выгадывал время, соображая, как мне обосновать встречное предложение.

Состояло оно в том, чтобы не предварять собрание сочинений общей статьей в первом томе, а сопроводить вступительными статьями каждый из четырех. У меня уже был опыт такого рода: те самые шесть томов Лескова пять лет назад. Каждый том — не просто часть наследия, а композиционно слаженное целое, со своим содержательным прицелом и автономной вступительной статьей; все же статьи вместе складываются в очерк об авторе...

На этом мы поладили, и я с наслаждением сел перечитывать Владимова.

Через какое-то время мое четырехчастное произведение было отослано издателю.

Ответный звонок раздался довольно скоро:

— Вы знаете, такое массивное сопровождение кажется нам... и слишком громоздким...

«Нам»? Наверняка ведь связались с ним, и решение, передаваемое мне, — его.

— ...и слишком перегружает читателя...

Ясно. Тяну одеяло на себя. Сажусь не в свои сани. Приделываю пятое колесо к телеге... Ах, да, у саней нет колес...

— ...и несколько неожиданно для нашей книгоиздательской традиции...

Я перехватил инициативу:

— Запишите телефон человека, который, я уверен, напишет то, что вам нужно. Это замечательный критик, к тому же близкий мне по духу.

Телефон издатель записал, статью критик написал (я позднее прочел ее в какой-то газете: крепкая, яркая статья).

Звонок:

— Вы знаете, мы прочитали то, что написал рекомендованный вами критик, и решили отказаться от его услуг. Хотим вернуться к вашему тексту..

— Но он же вам не подошел.

— Ну, почему же? Немного сократив, можно соединить четыре ваших части в одну..

— Что значит «немного»? Вчетверо?

— Нет, только вдвое! — голос на том конце провода взлетел от ликования, а потом упал до задушевности: — Георгий Николаевич просит вас...

— Хорошо! — ответил я поспешно, чтобы погасить эту интонацию.

Я текст сократил. Четырехтомник Владимова с моей вступительной статьей вышел. Десятитысячным тиражом. Осенью 1997 года.

Была грандиозная презентация.

Жаль, что не увидела этого Наташечка. Для меня это была презентация и ее книги.

КРАСАВИЦЫ

Квартиру в Переделкине Владимов наконец согласился взять. Сам он жил в Германии, но наезжал в Москву довольно часто и как-то позвал меня посмотреть готовившееся жилье.

Жилье было в двухэтажном четырехквартирном особнячке, прямо около патриарших владений, недалеко от церкви.

Было оно еще совершенно необжитое.

На голой стене я засек портрет черноглазой молодой женщины, вырезанный из какого-то театрального журнала.

— Что это за артистка? — спросил я.

— Это Женя, — ответил он. — Артистка. И моя невеста. Как бы ты отнесся к такому моему решению?

— Все это очень индивидуально, — проговорил я, голосом давая ему почувствовать, что одобряю.

Через полгода он позвал нас с Шурой в гости. Жилье было уже почти обжито; за столом сидела статная темноглазая хозяйка. «Ценишь же ты женскую красоту», — подумал я о бывшем суворовце, представив себе и двух его первых жен... но из тактичности вслух не брякнул.

Я это брякнул еще через полгода, когда Владимов пришел получать литературную премию журнала «Дружба народов», — я на этом торжестве присутствовал как работник редакции.

Лауреат сидел между двумя женщинами, которые выглядели ровесницами. Справа — темноглазая Женя. Слева — дочь Владимова Марина — с лучающимися исаровскими глазами.

Тут я наконец озвучил:

— Георгий Владимов, как всегда, в окружении красавиц!

Красавицы улыбнулись. Владимов покосился на меня, загнал усмешку в угол рта и мысленно ответил мне ударом шпаги.

РАЗМИНУЛИСЬ

С болью приступаю к последней части воспоминаний.

Владимов — в Германии. По слухам, то ли в Нидернхаузене, то ли где-то под Мюнхеном, в доме Жени. Ни звонков, ни писем. Но я уверен, что, как только он появится в Москве, по обыкновению скажется. И у меня есть чем встретить его.

Дело в следующем.

Издательство родного Московского университета обратилось ко мне с предложением написать книгу в серию «Перечитывая классиков» — для студентов — о каком-нибудь крупном современном писателе.

Я ответил, что книга у меня уже готова, о писателе, которого я могу с полным основанием назвать классиком: о Георгии Владимове.

Со мной согласились. Я достал текст, предназначавшийся в свое время для четырехтомника, прошелся по нему, отве-з.

Книга выходила убопомрачительно долго, но в конце 2001 года я получил наконец авторские экземпляры.

Послать ему?

Но куда? Я не знаю его нынешнего германского адреса. И неизвестно, как он еще отнесется к тексту, который когда-то велел урезать вдвое. Если что не так, то лучше отрегулировать ситуацию в ходе личной встречи. И наконец, что это я ему пош-лю свою книгу о нем — как верноподданный отчет, что ли? При-едет — подарю.

О, господи... если б я знал, что в эту пору он уже лег под нож хирургов, и роковой диагноз ему объявили сразу и по-немецки прямо, и срок отмерили: полтора года...

Я ничего не знаю. Просто жду его. В уверенности, что он, как всегда, объявится. (А он, кажется, и побывал в Москве, но не объявился. **Теперь** я понимаю, почему: не хотел, чтобы его виде-ли в слабости.)

Минул год, потек другой. Книга моя лежит, я жду: придет же! Год подходит к осени.

В начале октября — звонок из Праги.

Петр Вайль:

— Вы не согласитесь поучаствовать в радиопередаче «Свобо-ды» по поводу владимовского «Верного Руслана»?

— Соглашусь. Но почему именно «Руслана»?

— Тут круглая дата его появления... Мы не хотим отклады-вать. Надо Владимова поддержать...

— А что, он не сам ходит? — хотел я брякнуть в духе идиот-ского анекдота, но анекдот застрял у меня в горле, потому что Петр договорил:

— Владимов плох.

— Что?!

— Не могу сказать точно, — повторил Петр, — но я слышал, что он очень плох...

Далее я все делал в прыгающем темпе. Надписывал ему кни-гу, обыгрывая слово «классик» на обложке. Обдумывал каждое слово в сопроводительной записке, чтобы он не почувствовал, что я знаю, как он плох.

8 октября 2003 г.

Дорогой Жора!

Посылаю тебе книжицу, тексты которой тебе знакомы, но, может быть, факт издания такого студенческого волюма доставит тебе удовольствие.

Не так давно я был в Перми, и корреспондент местного радио пришел ко мне брать интервью с этой книжицей в руках. Заслуга не моя, но твоя, потому что вопросы он мне задавал исключительно по творчеству Владимова.

Я тебе сей труд не посылал, думая, что при встрече вручу лично, но уж третий учебный год ты не появляешься ни на московском, ни на переделкинском горизонтах, и я решил отдалиться почтой.

Как только ты появишься, мы выпьем с тобой по-соседски, но уже не на задах патриаршего подворья, а на улице украинского классика Довженко, где мне наконец дали «творческую мастерскую».

Мы с Шурой будем рады видеть тебя и твою милую жену в наших скрипучих хорамах. Любим тебя, ждем.

На почту я бежал бегом.

...А он в это время в Нидернхаузене загружал багажник своей машины, чтобы ехать... не в Москву даже, а именно — в Переделкино. Загружал вещи и книги. Собирался надолго. Может быть, насовсем.

Он не доехал: немецкая полиция обнаружила его за рулем без сил. Медицинской машиной его отправили обратно в Нидернхаузен. Вызвали Женю, и он тихо умер, держа ее за руки, глядя в залитые слезами ее глаза.

Схоронили — в Переделкине.

В тесной церковке я с трудом протиснулся к гробу.

Последнее, что я запомнил: огромные руки на белом покрывале.

* * *

Все, что я хотел сказать о нем, я сказал ему при жизни. И написал. И обнародовал. Кроме одного. Есть вещи, которые нельзя говорить человеку в глаза.

Я ни разу не сказал ему, что он великий писатель.

Я говорю это теперь, когда он не может этого услышать.

ВДОГОН

Моя бандероль вернулась из Германии как неполученная — в ноябре 2003 года. Воспроизвожу надпись на титуле книги:

Георгию Владимову от автора. Дорогой Жара, не я придумал эту рубрику и поставил слово «классика» на обложку, но я с уверенностью подтверждаю, что применительно к твоим текстам это определение абсолютно неопровержимо. Обнимаю. Твой Л. Аннинский. Октябрь 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЛОГ ПУТЬ ДО ТИППЕРЭРИ

Роман

Часть первая

Преступление

7

Лев Аннинский

ОБРЕЧЕННОЕ РЫЦАРСТВО

Вертится, окаянная

Эпизод, оказавшийся прологом

79

Крепости и плацдармы

Путь Владимова-писателя

88

Удары шпагой

Воспоминания. Переписка

180

Георгий Николаевич Владимов

Сочинения

ДОЛОГ ПУТЬ ДО ТИППЕРЭРИ

роман

Выпускающий редактор

А.В. Чубрикова

Мл. редактор

Е.А. Моргунова

Художественный редактор

С.А. Виноградова

Технический редактор

С.С. Басилова

Оператор компьютерной верстки переплета

В.М. Драновский

Оператор компьютерной верстки

Л.Г. Иванова

Корректоры

Р.Ф. Зайнуллина, Е.В. Мартынова,

Л.А. Станкевич

П. корректоры

В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Подписано в печать 20.07.2005

Формат 84x108/32

Тираж 3000

Заказ № 3717

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

e-mail: vagrius@vagrius.com

Отпечатано во ФГУП ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14